





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 24

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» МОСКВА 1981

НРАВСТВЕННЫЙ ПОИСК ФАНТАСТИКИ

Однажды где-то в конце 1979 года телевидение снимало весьма представительную встречу космонавтов с фантастами. Все чинно расположились перед микрофонами, но вскоре разговор так увлек участников, что все забыли не только о стесняющем глазе телекамеры, но и о времени. Три часа без малейшей паузы! Естественно, снятое пришлось сокращать, отчего за бортом передачи, которая появилась на экране под названием «Фантастика в чертежах», остался один любопытный эпизод.

Вот какой.

— Послушайте, — вдруг сказал космонавт Георгий Гречко. — Интересно, на сколько бы задержалось освоение космоса, если бы не существовало фантастики, которая нас, инженеров, исследователей, летчиков, сплотила и увлекла этой мечтой? Уверен, что без фантастики выход в космос задержался бы лет на пятнадцать...

Он выжидающе посмотрел на нас. Казалось, уж кому-кому, только не фантасту следовало возражать против столь лестного мнения о жанре. Не тут-то было!

— Ни на секунду не задержался бы! — с ходу выпалил Аркадий Стругацкий. — Ни на секунду!

Космонавты сдержанно удивились, писатели слегка растерялись, Гречко тут же ринулся в бой, его дружно поддержали, однако Стругацкий упорно стоял на своем...

Перевес в споре, по-моему, оказался на стороне Гречко. И не случайно. Теперь мало кто сомневается, что научная фантастика порождена всем ходом научно-технического и социального прогресса. Но жизнь невозможна без обратной связи, в данном случае без влияния фантастики на тот же прогресс. Вот что, в частности, отметил известный физик Д. Блохинцев: «Несколько слов о роли писателей-фантастов. Насколько я могу судить, большая часть их предсказаний попросту ошибочна. Однако они создают модели, которые могут иметь и на самом деле имеют влияние на людей, занятых в науке и технике. Я уверен, например, в таком влиянии «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина» А. Н. Толстого, увлекших многих идеями космических полетов и лазера».

Но можно понять и позицию Стругацкого. В центре внимания научной фантастики, как всякой художественной литературы, находится человек, а вовсе не научно-техническая идея, не прогноз, не модель неких свершений. Трудно назвать фантастику и «литературой мечты», потому что, во-первых, мечтать умел и Манилов, а во-вторых, какая такая, спрашивается, мечта содержится, например, в «Борьбе миров» Уэллса? Человек перед лицом небывалых вероятностей и возможностей развития, человек перед лицом неизвестного — вот что мы находим в лучших образцах фантастики, хотя, разумеется, не только это — всякое подлинное произведение литературы многомерно. Причем в советской фантастике двух последних десятилетий явственно усилился нравственный поиск, что, видимо, связано и с таким обстоятельством: плоды научно-технической революции перестают восприниматься как нечто феноменальное и обособленное от всего остального. Отчетливей стал круг других забот и интересов: как распорядиться тем, что сыплется из научно-технического «рога изобилия»? Как учесть и осмыслить умножаемые НТР возможности и последствия? Чем они обернутся в жизни, как отразятся на человеке? Короче, киберы будут, подумаем лучше о человеке, который их создает.

Но если так, если речь идет о духовных в связи с НТР трансформациях, о нравственной перед лицом нового и небывалого позиции, о психологической адаптации к еще недавно, казалось бы, фантастическим переменам, то вопрос, как и насколько фантастика способствует ускорению научно-технического прогресса, уже не представляется писателю наиглавнейшим. Не это устремляет его перо! Отсюда, возможно, и та полемика, которая вспыхнула перед глазом телекамеры. А впрочем, кто знает, что более и что менее важно. К тому же, говорят, со стороны виднее...

Поставим здесь многоточие, поскольку для размышлений на эту тему куда лучшую пищу дают публикуемые в данном сборнике очерки Е. Брандиса и Е. Парнова о творчестве выдающегося фантаста двадцатого века И. А. Ефремова.

И другие произведения сборника.

Содержит ли увлекательно написанная повесть Кира Булычева «Похищение чародея» какие-то сверхоригинальные идеи, ошеломляет ли она своей фантастичностью? Нет. Не в этом ее достоинство. Используя традиционный прием, автор соприкоснул наш сегодняшний день с далеким прошлым и одновременно с весьма отдаленным будущим. Здесь, в повести, и проблема ответственности человека перед историей, и проблема зависимости творца от конкретных социально-экономических условий, и многое другое. Но дело не в проблематике; если к проблематике свести, предположим, «Войну и мир», то даже это великое произведение потускнеет; го-

воря о повести, я коснулся этого лишь затем, чтобы выделить главное в ее содержании — тот напряженный нравственный поиск, который ведут люди прошлого, настоящего, будущего и который составляет пружину сюжета.

В совершенно иной художественной манере написана повесть молодого новосибирского литератора Г. Пращкевича «Соавтор». Но как перекликается ее внутреннее содержание с предыдущим произведением! Те же непростые проблемы ответственности человека перед своим талантом, перед временем и обществом, тот же нравственный поиск личности, оказавшейся в невероятных условиях. В невероятных и вроде бы начисто выдуманных, фантастических, но... Сколько прежде также фантастических ситуаций (достаточно вспомнить выход в космос или внезапную угрозу экологического кризиса) стали действительностью!

Тему ответственности творческой личности перед обществом и самим собой, столь важную и многосложную в бурный период НТР, равно как и тему развития в этих обстоятельствах интеллекта, морали продолжают рассказы сборника. Здесь имя Р. Подольного хорошо знакомо читателям фантастики, тогда как о молодых авторах стоит сказать особо.

Г. Панизовская работает интересно и публикуется уже не первый год; живет она в Ленинграде, городе, который всегда был крупнейшим центром советской фантастики. В последнее время фантастика стала быстро развиваться в Армении, Молдавии и других республиках. Движение охватывает все новые регионы. В этом сборнике выступает молодой фантаст из Якутии Г. Угаров — для него это первое появление перед всесоюзной аудиторией. Советская культура синтезирует все лучшее, что есть в национальных традициях, и тот же процесс, естественно, протекает в фантастике, думаю, читатели рассказа Г. Угарова согласятся с этой мыслью.

В разделе «Зарубежная фантастика» публикуются рассказы таких мастеров, как П. Андерсон «Бесконечная игра», Р. Брэдбери «Ветер из Геттисберга», Р. Силверберг «Конец света». Говорят, что литература приоткрывает сокровенное не только в людях. Если это справедливо, то со страстью, яростью и незаурядным мастерством написанная новелла Р. Силверберга звучит похоронным колоколом по сытой, обывательской Америке. Буржуазной, столь нищей духовно, разобщенной и равнодушно эгоистичной, что гибель ее миропорядка под обвалом катастрофических сдвигов прогресса представляется американскому писателю неизбежной.

Да, «человека вообще» не существует, над его изменчивым ликом трудятся время и общество. Много веков назад в воображении древних греков сложился образ мифического Атланта, который держит на своих плечах небесный свод. И что же? Таков, в

сущности, современный человек, ибо в его руках теперь будущее самой природы Земли. Трудно и ответственно быть Атлантом, но это следствие научно-технического могущества двадцатого столетия. Готовность людей к новым титаническим бораниям и победам закономерно стала предметом художественного осмысления. Разумеется, небольшой по объему сборник не в состоянии охватить тему целиком, но о нравственных исканиях научной фантастики он, надеюсь, даст некоторое представление.

ДМ. БИЛЕНКИН

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

КИР БУЛЫЧЕВ

Похищение чародея

1.

Дом понравился Анне еще издали, когда она устало шла пыльной тропинкой вдоль забора, в тени коренастых лип, мимо серебряного от старости колодезного сруба, — от сильного порыва ветра цепь звякнула по мятому боку ведра... куры суетливо уступали дорогу, сета на человеческую наглость... петух отошел строевым шагом, сохраняя мужское достоинство... бабушки, сидевшие в ряд на завалинке, одинаково поздоровались и долго смотрели вслед... улица была широкой, разъезженная грузовиками дорога вилась посреди нее, как речка по долине, поросшей подорожником и мягкой короткой травой.

Дом был крепкий, под железной, когда-то красной крышей.

Он стоял отдельно от деревни, по ту сторону почти пересохшего ручья.

Анна остановилась на мостике через ручей: два бревна, на них набиты поперек доски. Рядом брод — мелкая лужа. Дорога пересекала лужу и упиралась в распахнутые двери пустого серого бревенчатого сарая. От мостика начиналась тропка, пробегала мимо дома и вилась по зеленому склону холма, к плоской вершине, укрытой плотной шапкой темных деревьев.

Тетя Магда описала дорогу точно, да и сама Анна шаг за шагом узнавала деревню, где пятилетней девочкой двадцать лет назад провела лето. К ней возвращалось забытое ощущение покоя, отрешенности, гармонии ржаного поля, лопухов и пышного облака над рощей, звона цепи в колодце и силуэта лошади на зеленом склоне.

Забор покосился, несколько планок выпало, сквозь них проросла крапива. Смородиновые кусты под фасадом в три окна, обрамленных некогда голубыми наличниками и прикрытых ставнями, разрослись и одичали. Дом был одинок, он скучал без людей.

Анна отодвинула ржавый засов калитки и поднялась на крыльцо. Поглядела на деревню, которую только что миновала. Деревня

тянулась вдоль реки, и лес, отделявший ее от железнодорожного разъезда, отступал от реки широкой дугой, освободив место для полей. Зато с другого берега он подходил к самой воде, словно в лесу елям было тесно. Оттуда тянуло прохладным ветром, и видно было, как он перебегает Вятлу, тысячей крошечных ног взрывая зеркало реки и раскачивая полосу прибрежного тростника. Рев лодочного мотора вырвался из-за угла дома, и низко сидящая кормой лодка распливила хвостом пены буколические следы ветра. В лодке сидел белобородый дед в дождевике и синей шляпе. Словно почувствовав взгляд Аины, он обернулся, и хоть его лицо с такого расстояния казалось лишь бурым пятном, Аине почудилось, что старик осуждает ее появление в пустом доме, которому положено одиноко доживать свой сиротливый век.

Пустое жилище всегда печально. Бочка для воды у порога рассохлась, из нее торчали забытые грабли, у собачьей конуры с провалившейся крышей лежал на ржавой цепочке полусгнивший ошейник.

Анна долго возилась с ключом, и когда замок сделся, дужка сердито выскочила из круглого тела и дверь открылась туго, словно кто-то придерживал ее изнутри. В сенях царила нежилая затхлость, луч солнца из окошка под потолком пронзал застоявшийся воздух, и в луче мельтешили вспугнутые пылинки.

Анна открыла дверь в теплую половину. Дверь была обита рыжей клеенкой, внизу в ней было прикрытое фанеркой отверстие, чтобы кошка могла выйти, когда ей вздумается. Анна вспомнила, как сидела на корточках, завидуя черной теткиной кошке, которой разрешалось гулять даже ночью. Воспоминание оборвалось, как звон колокольчика, быстро прижатого ладонью. На подоконнике в молочной бутылке стоял букет бумажных цветов. Из-под продавленного дивана выскочила мышь-полевка.

Отогнув гвозди, Анна открыла окна, распахнула ставни, потом перешла на кухню, отделенную от жилой комнаты перегородкой, не доходившей до потолка, растворила окно там. При свете запускание стало еще очевидней. В черной пасти русской печи Анна нашла таз, в углу под темными образами — тряпку.

Натаскав из речки воды — одичавшие яблони в саду разрослись так, что приходилось продирается сквозь ветки, — и вымыв полы, Анна поставила в бутылку букет ромашек, а бумажные цветы отнесла к божнице. Она совсем не устала — эта простая работа несла приятное удовлетворение, а свежий запах мокрых полов сразу изгнал из дома сладковатый запах пыли.

Одну из привезенных с собой простынь Анна постелила на стол в большой комнате и разложила там книги, бумагу и туалетные принадлежности.

Теперь можно сходить за молоком в деревню, заодно навес-
тить деда Геннадия и его жену Дарью.

Анна отыскала на кухне крынку, вышла из дома, заперла по
городской привычке дверь, постояла у калитки и пошла не вниз,
к деревне, а наверх, к роще на вершине, потому что с тем местом
была связана какая-то жуткая детская тайна, забытая за двадцать
лет.

Тропинка вилась среди редких кустов, у которых розовела зем-
ляника, и неожиданно Анна оказалась на вершине холма, в тени
деревьев, разросшихся на старом, заброшенном кладбище. Серые
плиты и каменные кресты утонули в земле, скрылись в орешнике,
в углублениях между ними буйно цвели ландыши. Одна из плит
почему-то стояла торчком, и Анна предположила, что здесь был
похоронен колдун, который потом проснулся и выкарабкался на-
ружу.

Вдруг Анна почувствовала, что за ней кто-то следит. В роще
было очень тихо — ветер не смел заглянуть туда, и древний клад-
бищенский страх вдруг овладел Анной; не оглядываясь, она быстро
пошла вперед...

2.

— Ты, конечно, прости, Аннушка, — сказал белобородый дед в
дождевике и синей шляпе, — если я тебя испугал.

— Здравствуйте, дедушка Геннадий, — сказала Анна. Вряд ли
кто-нибудь еще в деревне мог сразу признать ее.

Они стояли у каменной церкви с обвалившимся куполом. Боль-
шая стрекоза спланировала на край крынки, которую Анна прижи-
мала к груди, и заглянула внутрь.

— За молоком собралась? — спросил дед.

— К вам.

— Молочка дадим. А я за лошадей пошел, она сюда забрела.
Откуда-то у нее стремление к покою и наблюдениям. Клеопатрой
ее зовут, городская, с ипподрома выбракованная.

— Тетя Магда вам письмо написала?

— Она мне всегда пишет. Ко всем праздникам. Я в Прудники
ездил, возвращаюсь, а ты на крыльце стоишь. Выросла, похороше-
ла. В аспирантуру, значит, собираешься?

— Тетя и об этом написала?

— А как же.

Гнедая кобыла Клеопатра стояла по другую сторону церкви,
грелась на солнце. Она вежливо поцеловала Анну в вытянутую
ладонь. Ее блестящая шкура пахла потом.

— Обрати внимание,— сказал дед Геннадий,— храм семнадцатого века, воздвигнут при Алексее Михайловиче, а фундамент значительно старше. Смекаешь? Сюда реставратор из Ленинграда приезжал. Васильев, Терентий Иванович, не знакома?

— Нет.

— Ведущий специалист. Может, будут реставрировать. Или раскопки начнут. Тут на холме город стоял в средневековые времена. Земля буквально полна загадок и тайн. Ну, Клепа!

Дед торжественно вздохнул, сдвинул шляпу на глаза, хлопнул Клеопатру по шее, и та пошла вперед. Анна поняла, что реставратор Васильев внес в душу Геннадия благородное смятение, открыв перед ним манящую даль веков.

Впереди шла Клепа, затем, жестикулируя, дед — дождевик его колыхался, как покрывало привидения. Он говорил, не оборачиваясь, иногда его голос пропадал, заглухнув в кустах, его долгий монолог был о горькой участи рек и лесов, о том, что некий купец еще до революции возил с холма камень в Полоцк, чем обкрадывал культурное наследие; о том, что население этих мест смешанное, потому что сюда все ходили воевать кому не лень; что каждой деревне нужен музей... Темы были многообразны и неожиданны.

Спустились с пологой, дальней от реки стороны холма и побрели вдоль ржаного поля, по краю которого цвели васильки. Дед говорил о том, что над Миорами летающая тарелка два дня висела, а на Луне возможна жизнь в подлунных вулканах... У ручья дед обернулся.

— Может, у нас поживешь? Чего одной в доме? Мы с Дарьей тебя горячей пищей снабдим, беседовать будем.

— Я лучше побуду одна. Спасибо.

— Я и не надеялся,— сказал дед.

В доме деда Геннадия пришлось задержаться. Бабушка Дарья вскипятила чай, достала конфеты, а хозяин вынул из обувной коробки и разложил на столе свой музей, который он начал собирать после встречи с реставратором Васильевым. Здесь была фотография деда двадцатых годов, банка из-под чая с черепками разной формы и возраста, несколько открыток с видами Полоцка и курорта Монте-Карло, покрытая древней патиной львиная голова с кольцом в носу — должно быть, ручка от двери, а также кремневый наконечник копья, бутылочка от старинных духов, подкова, оброненная Клеопатрой, и еще что-то. Бабушка Дарья отозвала Анну на кухню покалякать о родственниках, шепнула:

— Ты не смейся, пускай балуется. А то пить начнет.

Бабушка Дарья прожила с Геннадием полвека и все боялась, что он запыет.

Сумерки были наполнены звуками, возникшими от тишины и прозрачности воздуха. Голоса от колодца, женский смех, воркование телевизора, далекий гудок грузовика и даже перестук колес поезда в неимоверной залесной дали — все это было нужно, чтобы как можно глубже осознать необъятность неба, блеск отраженной луны в реке, молчание леса, всплеск рыбы и звон комаров.

Анна поднялась к дому и, не спеша, улыбаясь воспоминанию о дедушкиной болтовне, открыла на этот раз покорную дверь. Держа в руках замок и крынку с парным молоком, она вошла в темные сени, сделала шаг и неожиданно налетела на что-то твердое и тяжелое. Крынка грохнулась об пол, замок упал и ударил ее по ноге. Анна вскрикнула, охватила руками лодыжку, и тут же из-за перегородки, отделявшей сени от холодной горницы, резкий мужской голос спросил:

— Ты что, Кин?

С чердака откликнулся другой голос, низкий:

— Я наверху.

Анна, несмотря на жуткую боль, замерла. Ее на мгновение посетила дикая мысль: она попала в чужой дом. Но по эту сторону ручья только один дом. И она минуту назад отперла его.

Часто заскрипели ступеньки узкой чердачной лестницы.

Скрипнула дверь в холодную комнату.

Два фонаря вспыхнули одновременно. Она зажмурилась.

Когда открыла глаза, щурясь, увидела: в сенях стоят двое, а на полу посреди сеней — большой желтый чемодан, забрызганный молоком. Молочная лужа растеклась по полу, рыжими корабликами покачивались черепки.

Один был молод, чуть старше Анны, элегантен, в синем костюме, галстук-бабочке, с вьющимися черными волосами, с гусарскими наглыми глазами. Второй, спустившийся с чердака, — постарше и помассивней. Лицо скуластое, коричневое, светлыми точками горели на нем небольшие глаза. Он был одет в черный свитер и потертые джинсы.

Анна выпрямилась, морщась от боли, и спросила:

— Вы через окно влезли?

Мужчины держали наготове, как пистолеты, яркие фонарики.

— Что вы здесь делаете? — спросил скуластый.

— Я живу здесь. Временно. — И, как бы желая сразить их наповал, Анна добавила: — Вот видите, я и пол вымыла.

— Пол? — спросил скуластый и посмотрел на лужу молока.

Анна была так зла, да и нога болела, что забыла об испуге.

— Если вам нигде переночевать,— сказала она,— перейдите через ручей, в крайний дом. Там комната пустая.
— Почему это мы должны уходить? — спросил молодой гусар.
— Вы что, хотите, чтобы я ушла?
— Разумеется,— сказал молодой.— Вам здесь нечего делать.
— Но ведь это дом моей тетки, Магды Иванкевич.
— Это черт знает что,— сказал молодой гусар.— Никакой тетки здесь быть не должно.

— Правильно! — воскликнула Анна, преисполняясь справедливым гневом.— Тетки быть здесь не должно. Вас тоже.

— Мне кажется,— заявил скуластый,— нам следует поговорить. Не сообразовали ли вы пройти в комнату?

Анна обратила внимание на некоторую старомодность его речи, словно он учился в дореволюционной гимназии.

Не дожидаясь ответа, скуластый толкнул дверь в горницу. Там было уютно. Диван был застелен, на столе лежали книги, частью английские, что сразу убеждало: в комнате обитает интеллигентный человек — то есть Анна Иванкевич.

Видно, эта мысль пришла в голову и взломщику, потому что его следующие слова относились не к Анне, а к спутнику.

— Жюль! — сказал он.— Кто-то проморгал.

Жюль подошел, взял со стола английскую книжку, пошевелил губами, разбирая название, и заметил:

— Не читал.

Видно, хотел показать свою образованность. Возможно, торговал иконами с иностранцами, занимался контрабандой и не остановится ни перед чем, чтобы избавиться от свидетеля.

— Хорошо,— сказал скуластый бандит.— Не будем ссориться. Вы полагали, что дом пуст, и решили в нем пожить. Так?

— Совершенно верно. Я знала, что он пуст.

— Но вы не знали, что хозяйка этого дома сдала нам его на две недели. И получилось недоразумение.

— Недоразумение,— сказала Анна.— Я и есть хозяйка.

Гусар уселся на диван и принялся быстро листать книжку.

Вдали забрежала собака, протудела машина. В полуоткрытое окно влетел крупный мотылек и ударился о фонарик. Анна, прихрамывая, подошла к столу и зажгла керосиновую лампу.

— Магда Федоровна Иванкевич,— сказал скуластый бандит начальственным голосом,— сдала нам этот дом на две недели.

— Когда вы видели тетю? — спросила Анна.

— Вчера,— ответил молодой человек, не отрываясь от книги.— В Минске.

«Вранье,— поняла Анна. Вчера утром она проводила тетку в Крым. Полжизни прожив в деревне, тетка полагала, что деревня —

не место для отдыха. Экзотическая толкотня на ялтинской набережной куда более по душе ее романтической натуре...— Они здесь не случайно. Их привела сюда продуманная цель. Но что им делать в этом доме? Чем серьезнее намерения у бандитов, тем безжалостнее они к своим жертвам — цель оправдывает средства. Надо вырваться отсюда и добежать до деда».

— Судя по всему,— задумчиво сказал большой бандит, до-
тронувшись пальцем до кончика носа,— вы нам не поверили.

— Поверила.— Анна сжалась под его холодным взглядом. Чем себя и выдала окончательно. И теперь ей оставалось только бе-
жать. Тем более что молодой человек отложил книгу, легко под-
нялся с дивана и оказался у нее за спиной. Или сейчас, или ни-
когда. И Анна быстро сказала: — Мне надо выйти. На улицу.

— Зачем? — спросил большой бандит.

Анна бросилась к полуоткрытому окну, нырнула в него головой
вперед, навстречу ночной прохладе, аромату лугов и запаху дыма
от лесного костра. Правда, эту симфонию она не успела оценить,
потому что гусар втащил ее за ноги обратно в комнату. Анна
стукнулась подбородком о подоконник, чуть не вышибла свои
прекрасные жемчужные зубы и повисла — руками за подоконник,
ноги на весу.

— Пусти,— простила Анна.

В голосе был такой заряд ненависти и унижения, что скуластый
бандит сказал:

— Отпусти ее, Жюль.

Анна сказала, приводя себя в порядок:

— Этого я вам никогда не прощу.

— Вы подвергали себя риску. Там под окном крапива.

— Смородина,— сказала Анна.

— Почему не кричали? — деловито спросил скуластый бандит.—

Тут далеко слышно.

— Я еще закричу,— сказала Анна, стараясь не заплакать.

— Сударыня,— сказал большой бандит.— Успокойтесь. Мы не
причиним вам зла.

— Тогда убирайтесь! — крикнула Анна неожиданно визгливым,
кухонным голосом.— Немедленно убирайтесь из моего дома! —
Она схватила за челюсть и добавила сквозь зубы: — Теперь у ме-
ня рот не будет открываться.

Скуластый бандит поглядел поверх ее головы и сказал:

— Жюль, взгляни, пожалуйста, нельзя ли снять боль?

Анна поняла, что убивать ее не будут, а Жюль осторожно и
твердо взял ее за подбородок сухими тонкими пальцами и сказал,
глядя в глаза своими синими, окаймленными тростником ресниц,
гусарскими озерами:

— Неужели мы производим такое удручающее впечатление?

— Производите,— сказала Анна упрямо.— И вам придется вытереть пол в сенях. Понаставили чемоданов...

— Это мы сделаем,— сказал Кин, он же старший бандит, подойдя к окну.— И наверно, придется перенести решение на завтра. Сегодня все взволнованы, более того, раздражены. Встанем пораньше...

— Вы все-таки намерены здесь ночевать? — сказала Анна,

— А куда же мы денемся?

Анна поняла, что он прав.

— Тогда будете спать в холодной комнате. Только простынь у меня для вас нет.

— Обойдемся,— сказал Жюль.— Я возьму книжку с собой. Очень интересно. Утром верну.

Анна только отмахнулась.

— Где половая тряпка? — спросил Кин.

— Я сейчас дам,— сказала Анна и прошла на кухню.

Кин следом. Принимая тряпку, он спросил:

— Может быть, вас устроит денежная компенсация?

— Чтобы я уехала из своего дома?

— Скажем, тысяча рублей?

— Ого, я столько получаю за полгода работы.

— Значит, согласны?

— Послушайте, в деревне есть другие дома. В них живут одинокие бабушки. Это вам обойдется дешевле.

— К сожалению,— сказал Кин,— нас устраивает этот дом.

— Неужели под ним клад?

— Клад? Вряд ли. А две тысячи?

— За эти деньги вы можете купить здесь три дома. Не швыряйтесь деньгами. Или они государственные?

— Ирония неуместна,— строго сказал Кин, словно Анна училась у него в классе.— Деньги государственные.

— Слушайте,— сказала Анна.— Мойте пол и идите спать.

4.

Анне не спалось. За стеной незваные гости бурчали, может, собирались начать раскопки клада до рассвета? В конце концов она не выдержала и выглянула в сени. Фонарик лежал на полке — матовый апельсин свечей на сто. «Импортная вещь», — подумала Анна.— Очень удобна в туристских походах». Чемоданов прибавилось. Их было три. Может, бандиты уже вселили подруг?

И в этот момент с легким стуком посреди прихожей возник блестящий металлический ящик, метр на метр. За перегородкой послышался голос гусара:

— Приехали.

Дверь в холодную комнату дрогнула, приоткрылась, и Анна, оробев, мгновенно нырнула к себе.

Это было похоже на мистику и ей не понравилось. Вещи так просто не возникают. Они возникают, пожалуй, только в научно-фантастических романах, которые Анна не терпела, но читала, потому что они дефицитны.

Бандиты еще долго передвигали что-то в прихожей, бормотали и уgomонились только часа в три. Тогда и Анна заснула.

Пробудилась она не так, как мечтала о том последние недели. То есть: слышны отдаленные крики петухов, мычит стадо, бредущее мимо окон, утренние птицы гомонят в деревьях, солнечные зайчики пляшут на занавеске. Анна сбегает к речке и окунается в холодную, свежую, прозрачную воду. Сосны взмахивают ветвями, она плывет, распуская серебряных мальков.

За стенкой звучали голоса, и сразу вспомнилась глупая вечерняя история. Анна расстроилась раньше, чем услышала пение петухов, мычание стада и веселый шорох листьев. Чтобы выбраться, нужно пройти через сени, где уже сустились непрошеные соседи. И купаться раскотелось. Следовало поступить иначе: распахнуть дверь и — хозяйским голосом: «Вы еще здесь? Сколько это будет продолжаться? Я пошла за милицией!» Но ничего такого Анна не сделала, потому что была не причесана и не умыта. Тихо, стесняясь, что ее услышат, Анна пробралась на кухню, налила холодной воды из ведра в таз и совершила скромный туалет. Причесываясь, она поглядела украдкой в кухонное окно. Удрать? Глупо. А они будут бежать за мной по улице? Лучше подожду, пока зайдет дед Геннадий.

Находиться на кухне до бесконечности она не могла. Поэтому Анна разожгла плиту, поставила чайник и, подтянутая, строгая и холодная, вышла в сени.

Там стояло шесть ящиков и чемоданов, один чемодан был открыт, и гусар Жюль в нем копался. Услышав ее шаги, он захлопнул крышку, буркнул: «Доброе утро». Очевидно, неприязнь была взаимной, и это ее даже обрадовало.

— Доброе утро, — согласилась Анна. — Вы еще здесь?

Кин вошел с улицы. Мокрые волосы приклеились ко лбу.

— Отличная вода, — сообщил он. — Давно так хорошо не купался. Вы намерены окунуться?

С чего это у него хорошее настроение?

— Нет, — сказала она. — Лучше я за молоком схожу.

— Сходите, Аня,— сказал Кин миролюбиво.

Он вел себя неправильно.

— Вы собрались уезжать? — спросила она недоверчиво.

— Нет,— сказал Кин.— Мы остаемся.

— Вы не боитесь, что я позову на помощь?

— Вы этого не сделаете,— улынулся Кин.

— Еще как сделаю! — возмутилась Анна. И пошла к выходу.

— Посуду возьмите,— сказал ей вслед гусар.— У вас деньги есть?

— Не нужны мне деньги.— Анна хлопнула дверью, вышла на крыльцо. Посуда ей тоже была не нужна. Она шла не за молоком.

По реке гуляли солнечные блески, в низине у ручья зацепилось пятно тумана, солнце было таким теплым и пушистым, что можно было взять его в ладони и погладить.

Дверь сзади хлопнула, вышел Кин с кастрюлей и письмом.

— Аня,— сказал он отеческим голосом,— письмо вам.

— От кого? — спросила Анна, покорно принимая кастрюлю.

— От вашей тети,— сказал Кин.— Она высказала желание передать...

— Почему вы не показали его вчера?

— Мы его получили сегодня,— сказал Кин.

— Сегодня? Где же ваш вертолет?

— Ваша тетушка,— не обратил внимания на сарказм Кин,— отдыхающая в Крыму, просила передать вам большой привет.

Анна прижала кастрюлю к боку и развернула записку.

«Аннушка! — было написано там.— Кин Владимирович и Жюль обо всем со мной договорились. Ты их не обижай. Я им очень обязана. Пускай поживут в доме. А ты, если хочешь, у деда Геннадия. Он не откажет. Мы с Миленой доехали хорошо. Прутиков встретил. Погода теплая. Магда».

Кин стоял, склонив голову, и наблюдал за Анной.

— Чепуха,— сказала она.— Это вы сами написали.

— И про Милену мы написали? И про Прутикова?

— Сколько вы ей заплатили?

— Сколько она просила.

Тетя была корыстолюбива, и если перед ее носом они помахали пачкой сторублевых... Но как они это устроили?

— Сегодня утром? — переспросила Анна.

— Да. Мы телеграфировали нашему другу в Крым вчера ночью. На рассвете письмо прибыло сюда самолетом.

Письмо как письмо, с маркой, но без штампа.

— У вас и рация есть? — спросила Анна.

— Вам помочь перенести вещи? — спросил Кин.

— Не надейтесь,— сказала она.— Я не сдамся. Мне плевать, сколько еще писем вы притащите от моей тетушки. Если вы попытаете меня убить или выгнать силой, я буду сопротивляться.

— Ну зачем так,— скорбно сказал Кин.— Наша работа, к сожалению, не терпит отлагательства. Мы просим вас освободить этот дом, а вы ведете себя как ребенок.

— Потому что я оскорблена,— сказала Анна.— И упряма.

— Мы стараемся не привлекать к себе внимания,— объяснил Кин.

Глаза у него были печальными; если он был притворщиком, то великолепным.

— Вы уже привлекли,— сказала Анна.— Мое внимание. Вам ничего не остается, как поведать мне, чем вы намерены заниматься.

— Быть может, вы все же уедете? Поверьте, так всем будет лучше.

— Нет,— сказала Анна.— поразмышляйте, а я пошла купаться. И не вздумайте выкидывать мои вещи или запирайте дверь.

Вода оказалась в меру прохладной, и если бы не шипевшее в Анне раздражение, она бы наслаждалась купанием. Анна доплыла до середины реки, увидела, как далеко отнесло ее вниз течением, повернула обратно и потратила минут пятнадцать, чтобы выплыть к тому месту, где оставила полотенце и книгу.

Анна выбралась на траву и улеглась на полотенце. Как нагло, ничего хорошего из этого не вышло — несколько нахальных слепней налетели, как истребители, и Анна вконец расстроилась.

— Простите,— сказал Кин, присаживаясь рядом на траву.

— Я вас не звала,— буркнула Анна.

— Мы посоветовались и решили вам кое-что рассказать.

— Только не врать,— сказала Анна, насторожившись.

— Нет смысла. Вы все равно не поверите.

— Великолепное начало.

Кин с размаху трахнул себя по шее.

— Слепни,— сказала Анна.— Здесь, видно, коровы пасутся.— Она села и накрыла плечи полотенцем.

— Мы должны начать сегодня,— сказал Кин.— Каждая минута стоит бешеных средств.

— Так не тратьте их понапрасну.

— Меня утешает лишь то, что вы неглупы. И отзывы о вас в институте весьма положительные. Правда, вы строптивы...

— Вы и в институт успели?

— А что делать? Вы — неучтенный фактор. Наша вина. Так вот, мы живем не здесь.

— Можно догадаться. На Марсе? В Америке?

— Мы живем в будущем.

— Как трогательно. А в чемоданах — машина времени?

— Не иронизируйте. Это ретрансляционный пункт. Нас сейчас интересует не двадцатый век, а тринадцатый. Но чтобы попасть туда, мы вынуждены сделать остановку здесь.

— Я всегда думала, что путешественники во времени — народ скрытный.

— Попробуйте поделиться этой тайной с друзьями. Полагаю, что они вам не поверят.

Кин отмахнулся от слепня. Пышное облако наполнило на солнце, и сразу стало прохладно.

— А почему я должна вам поверить? — спросила Анна.

— Потому что я расскажу, что нам нужно в тринадцатом веке. Это достаточно невероятно, чтобы заставить вас хотя бы задуматься.

Анна вдруг захотелось поверить. Порой в невозможное верить легче, чем в обыкновенные объяснения.

— И в каком вы живете веке?

— Логичный вопрос. В двадцать седьмом. Я продолжу? В тринадцатом веке на этом вот холме стоял небольшой город Замошь. Лоскуток в пестром одеяле России. К востоку лежали земли Полоцкого княжества, с запада и юга жили литовцы, летты, самогиты, ятвяги и другие племена и народы. А еще дальше на запад начинались владения немецкого ордена меченосцев.

— И вы археологи?

— Нет. Мы имеем намерение спасти человека. А вы нам мешаете.

— Неправда. Спасайте. И учтите, что я вам пока не верю.

Зачем забираться в средневековье? Это тоже путешественник?

— Нет, он гений.

— А вы откуда знаете?

— Это наша специальность — искать гениев.

— А как его звали?

— Его имя — Роман. Боярин Роман.

— Никогда не слышала.

— Он рано погиб. Так говорят летописи.

— Может, летописцы все придумали?

— Летописцы многого не понимали. И не могли придумать.

— Что, например?

— Например, то, что он использовал порох при защите города. Что у него была типография... Это был универсальный гений, который обогнал свое время.

— И вы хотите, чтобы он не погиб, а продолжал работать и изобрел еще и микроскоп? А разве можно вмешиваться в прошлое?

— Мы не будем вмешиваться. И не будем менять его судьбу.

— Так что же?

— Мы возьмем его к себе. Возьмем в момент смерти. Это не окажет влияния на ход дальнейших исторических событий. Понятно?

— Н-не очень. Да и зачем это вам?

— Самое ценное на свете — мозг человека. Гении так редки, моя дорогая Анна...

— Так ведь он жил тысячу лет назад! Сегодня любой школьник может изобрести порох.

— Заблуждение. Человеческий мозг был и остается одинаковым уже тридцать тысяч лет. Меняется лишь уровень образования. Сегодня изобретение пороха не может быть уделом гения. Сегодняшний гений должен изобрести...

— Машину времени?

— Скажем, машину времени... Но это не значит, что его мозг совершенней, чем мозг изобретателя колеса или пороха.

— А зачем вам изобретатель пороха?

— Чтобы он изобрел что-то новое.

5.

Облака, высокие, темные с изнанки, освободили солнце, и оно снова осветило берег. Но цвет его изменился — стал тревожным и белым. И тут же хлынул дождь, захлестал по тростнику, по траве. Анна подхватила книгу и, закрывая голову полотенцем, бросилась к яблоням. Кин в два прыжка догнал ее, и они прижались спинами к корявому стволу. Капли щелкали по листьям.

— А если он не захочет? — спросила Анна.

Кин вдруг засмеялся.

— Вы мне почти поверили, дорогая Анна, — сказал он.

— Значит, не надо было верить? — Ее треугольное, сходящееся к ямке на крепком остром подбородке лицо порозовело, обгорело за утро, от этого волосы казались еще светлее.

— Это замечательно, что вы поверили. Мало кто может похвастаться таким непредвзятым восприятием.

— Такая я, видно, дура.

— Наоборот.

— Ладно, спасибо. Вы все-таки лучше скажите, зачем вам лезть за гением в тринадцатый век? Что, поближе не нашлось?

— Во-первых, гениев мало. Очень мало. Во-вторых, не каждого мы можем взять к себе. Он должен быть не стар, потому что

с возрастом усложняется проблема адаптации, и, главное, он должен погибнуть случайно или трагически... без следа. На похоронах Леонардо да Винчи присутствовало много людей.

— И все-таки — тринадцатый век!

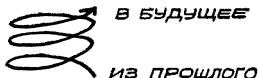
Дождь иссякал, капли все реже били по листьям.

— Вы, очевидно, не представляете себе, что такое перемещение во времени...

— Совершенно не представляю.

— Постараюсь объяснить. В двух словах, разумеется. Время — объективная физическая реальность, оно находится в постоянном поступательном движении. Движение это, как и движение некоторых иных физических процессов, осуществляется спиралеобразно.

Кин опустил на корточки, подобрал сухой сучок и нарисовал на влажной земле спираль времени.



— Мы с вами — частички, плывущие в спиральном потоке, и ничто в мире не в силах замедлить или ускорить это движение. Но существует другая возможность — двигаться прямо, вне потока, как бы пересекая виток за витком.

Кин, не вставая, нарисовал стрелку рядом со спиралью.

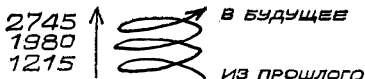


Затем он поднял голову, взглянул на Анну, чтобы убедиться, поняла ли она. Анна кивнула.

Кин выпрямился и задел ветку яблони — посыпались брызги. Он мотнул головой и продолжал:

— Трудность заключается в том, что из любого конкретного момента в потоке времени вы можете попасть только в соответствующий момент предыдущего временного витка. А продолжительность витка около восьмисот лет. Очутившись в предыдущем или последующем витке, мы тут же вновь попадаем в поток времени и начинаем двигаться вместе с ним. Допустим, что двадцато-

му июля 2745 года приблизительно соответствует двадцатое июля 1980 года. Или, берем следующий виток, двадцатое июля 1215 года, или, еще один виток, двадцатое июля 540 года. Взгляните.— Кин дополнил рисунок деталями.



— Теперь вы понимаете, почему мы не имеем возможности отложить нашу работу? — спросил он.

Анна не ответила.

— Мы несколько лет готовились к переходу в 1215 год, ждали, когда момент смерти боярина Романа совпадет с моментом на нашем витке времени. Город Замосье падет через два дня в 1215 году. И через два дня погибнет неизвестный гениальный ученый тринадцатого века. Если мы не совершим задуманное за два дня, обо всем нашем предприятии придется забыть. Навсегда. А тут возникает вы.

— Я же не знала, что вам помешаю.

— Никто вас не винит, дорогая девушка.

— А почему нельзя прямо туда?

— К сожалению, невозможно пересечь сразу два витка времени. На это не хватит всей энергии Земли. Мы вынуждены остановиться и сделать промежуточный пункт здесь, в двадцатом веке.

— Пошли домой,— сказала Анна.— Дождь кончился.

Она посмотрела на спираль времени, нарисованную на влажной бурой земле. Простенький рисунок. Но он был сделан рукой человека, который еще не родился.

Они пошли к дому. Облака уползли за лес. Парило.

— Значит, нас разделяет восемьсот лет,— сказала Анна.

— Охоло этого.— Кин отвел ветку яблони, пропуская Анну.— Это хорошо, потому что такая пропасть времени делает наше с вами общение эфемерным. Даже если бы вы захотели узнать, когда вы умрете, а это естественный вопрос, я бы ответить на него не смог. Слишком давно.

— Вам задавали такие вопросы?

— Мы не должны говорить об этом. Но такие случаи уже были. И обычно не нарушали течение эксперимента. Временная

система стабильна и инерционна. Она подобна морю, поглощающему смерчи...

— Я жила давно...— подумала Анна вслух.— Для вас я ископаемое. Ископаемое, которое жило давным-давно. Мамонт.

— В определенной степени, да.— Кин не хотел щадить чувств девушки.— Для меня вы скончались семьсот лет назад.

— Вы в этом уверены?

— Уверен. Хотя и не видел вашей могилы.

— Спасибо за прямоту... Я была вчера на кладбище. Там, на холме. Я могу оценить величину этой пропасти.

— Мы хотим преодолеть ее.

— И забрать оттуда человека? А если он будет несчастен?

— Он гениален. Гений адаптабелен. У нас есть опыт.

— Вы категоричны.

— Ни в коем случае. Я всегда и все подвергаю сомнению. Категоричен Жюль. Может быть, потому, что молод. И не историк, а физик-хронист.

— Вы историк?

— У нас нет строгого деления на специальности. Мы умеем многое.

— Хотя в общем вы не изменились.

— Антропологический тип человека остался прежним. Мы далеко не все красивы и даже не все умны.

— Во мне просыпаются вопросы,— сказала Анна, остановившись у крыльца.

Кин вынул грабли из бочки и приставил к стене.

— Разумеется,— сказал он.— Об обитаемости миров, о социальном устройстве, о войнах и мире... Увольте, Анна. Я ничего не могу вам ответить. Хотя, надеюсь, сам факт моего прилета сюда уже оптимистичен. И то, что мы можем заниматься таким странным делом, как поиски древних мудрецов...

— Это ничего не доказывает. Может, вы занимаетесь поисками мозгов не от хорошей жизни.

— При плохой жизни не хватает энергии и времени для таких занятий. А что касается нехватки гениев...

В калитке возник дед Геннадий с крынкой в руке.

— Здравствуй,— сказал он, будто не замечая Кина, который стоял к нему спиной,— ты чего за молоком не пришла?

— Познакомьтесь,— сказала Анна.— Это мои знакомые приехали.

Кин медленно обернулся.

Лицо Кина удивительным образом изменилось. Оно вытянулось, обвисло кожей, собралось в морщины и сразу постарело лет на двадцать.

— Геннадий... простите, запоматовав.

— Просто Геннадий, дед Геннадий. Какими судьбами? А я вот вчера еще Анне говорил: реставратор. Васильев, человек известный, обещал мне, что не оставит без внимания наши места, по причине исторического интереса. Но не ожидал, что так скоро.

— Ага,— тихо сказала Анна.— Разумеется. Васильев. Известный реставратор из Ленинграда.

И в этом, если вдуматься, не было ничего странного: конечно, они бывали здесь раньше, вынюхивали, искали место для своей машины. Серьезные люди, большие ставки. А вот недооценили дедушкиной страсти к истории.

— И надолго? — спросил дед Геннадий.— Сейчас ко мне пойдем, чаю попьем, а? Как семья, как сотрудники? А я ведь небольшой музей уже собрал, некоторые предметы, имеющие научный интерес.

— Обязательно,— улыбнулся Кин очаровательной гримасой уставшего от постоянной реставрации, от поисков и находок великого человека.— Но мы ненадолго, проездом Аню навестили.

— Навестили,— злом откликнулась Анна.

— Правильно,— согласился дед, влюбленно глядя на своего кумира,— я сейчас мой музей сюда принесу. Вместе посмотрим и выслушаем ваши советы.

Кин вдруг обратил на Анну умоляющий взгляд: спасайте!

— Не бесплатно,— сказала Анна одними губами, отвернувшись от зоркого деда.

— Мы погодя зайдем,— сказала она.— Вместе зайдем, не надо музей сюда нести, можно помять что-нибудь, сломать...

— Я осторожно,— сказал дед.— Вы, конечно, понимаете, что мой музей пока не очень велик. Я некоторые кандидатуры на местах оставляю. Отмечаю и оставляю. Мы с вами должны на холм сходить, там удивительной формы крест я нашел, весь буквально кружевной резьбы, принадлежал купцу второй гильдии Сумарокову, супруга и чада его сильно скорбели в стихах.

Анна поняла, что и она бессильна перед напором деда. Спасение пришло неожиданно. В сенях скрипнуло, дверь отворилась. Обнаружился Жюль в кожанке. Лицо изуродовано полосоцкими усами.

— Терентий Иванович,— сказал он шоферским голосом.— Через пятнадцать минут едем. Нас ждать не будут.— Он снисходи-

тельно живнул деду Геннадию, и дед оробел, потому что от Жюля исходили уверенность и небрежность занятого человека.

— Да, конечно,— согласился Кин.— Пятнадцать минут.

— Успеем,— сказал дед быстро.— Успеем. Поглядим. А машина пускай ко мне подъедет. Где она?

— Там,— туманно взмахнул рукой Жюль.

— Ясно. Значит, ждем.— И дед с отчаянным вдохновением потащил к калитке реставратора Васильева, сомнительного человека, которому Анна имела неосторожность почти поверить.

«Интересно, как вы теперь выпутаетесь?» Анна смотрела им вслед. Две фигурки — маленькая, в шляпе, дождевике, и высокая, в джинсах и черном свитере,— спешили под откос. Дед махал руками, и Анна представила, с какой страстью дед излагает исторические сведения, коими начинен сверх меры.

Она обернулась к крыльцу. Жюль держал в руке длинные усы.

— Я убежден, что все провалится,— сообщил он.— Вторая накладка за два дня. Я разнесу группу подготовки. По нашим сведениям, дед Геннадий должен был на две недели уехать к сыну.

— Могли у меня спросить.

— Кин вел себя как мальчишка. Не заметить старика. Не успеть принять мер! Теряет хватку. Он вам рассказал?

— Частично, мой отдаленный потомок.

— Исключено,— сказал Жюль.— Я тщательно подбирал предков.

— Брезгуете?

— Опасаюсь настойчивых девиц.

— Что же будет дальше?

— Будем выручать,— сказал Жюль и нырнул в дверь.

Анна присела на порог, отпила из крынки — молоко было парное, душистое. Появился Жюль.

— Не забудьте приклеить усы,— сказала Анна.

— Останетесь здесь,— сказал Жюль.— Никого не пускать.

— Слушаюсь, мой генерал. Молока хотите?

— Некогда,— сказал Жюль.

Анне было видно, как он остановился перед калиткой, раскрыл ладонь — на ней лежал крошечный компьютер — и пальцем левой руки начал нажимать на нем кнопки.

Склон холма и лес, на фоне которых стоял Жюль, заколебались и начали расплываться, их словно заволакивало дымом. Дым сгущался, принимая форму куба. Вдруг Анна увидела, что перед калиткой на улице возникло объемное изображение газика. Анна отставила крынку. Газик казался настоящим, бока его поблескивали, а к радиатору приклеился березовый листок.

— Убедительно,— сказала Анна, направляясь к калитке.— А зачем вам эта голография? Деда этим не проведешь.

Жюль отворил дверцу и влез в кабину.

— Так это не голография? — тупо спросила Анна.

— И не гипноз,— сказал Жюль.

Вспомнив о чем-то, он высунулся из машины, провел рукой вдоль борта. Появились белые буквы: «Экспедиционная».

— Вот так,— сказал Жюль и достал ключи из кармана. Включил зажигание. Машина заурчала и заглохла.

— А, чтоб тебя,— проворчал шофер.— Придется толкать.

— Я вам не помощница,— сказала Анна.— У вас колеса земли не касаются.

— А я что говорил,— согласился Жюль.

Машина чуть осела, покачнулась и на этот раз завелась. Набирая скорость, газик покатился по зеленому откосу вниз, к броду.

Анна вышла из калитки. На земле были видны рубчатые следы шин.

— Очевидно, они из будущего,— сказала Анна сама себе.— Пойду приготовлю обед.

Лжереставраторы вернулись только через час. Пришли пешком с реки. Анна уже сварила лапшу с мясными консервами.

Она услышала их голоса в прихожей. Через минуту Кин заглянул на кухню, потянул носом и сказал:

— Прекрасно, что сообразила. Я смертельно проголодался.

— Кстати,— сказала Анна.— Моих продуктов надолго не хватит. Или привозите из будущего, или доставайте где хотите.

— Жюль,— сказал Кин,— будь любезен, занеси сюда продукты.

Явился мрачный Жюль, водрузил на стол объемистую сумку.

— Мы их приобрели на станции,— сказал Кин.— Дед полагает, что мы уехали.

— А если он придет ко мне в гости?

— Будем готовы и к этому. К сожалению, он преклоняется перед эрудицией реставратора Васильева.

— Ты сам виноват,— сказал Жюль.

— Ничего. Когда Аня уйдет, она запрет дом снаружи. И никто не догадается, что мы остались здесь.

— Не уйду,— сказала Анна.— Жюль, вымой тарелки, они на полке. Я в состоянии вас шантажировать.

— Вы на это неспособны,— сказал Кин без убежденности.

— Любой человек способен. Если соблазн велик. Вы меня поманили приключением. Может, именно об этом я мечтала всю жизнь. Если вам нужно посоветоваться со старшими товарищами, валяйте. Вы и так мне слишком много рассказали.

— Это немыслимо,— возмутился Кин.

— Вы плохой психолог.

— Я предупреждал,— сказал Жюль.

Обед прошел в молчании. Все трое мрачно жевали лапшу, запивали молоком и не смотрели друг на друга, словно перессорившиеся наследники в доме богатой бабушки.

Анна мучилась раскаянием. Она понимала, что и в самом деле ведет себя глупо. Сама ведь не выносишь, когда невежды суют нос в твою работу, и если в тебе есть хоть капля благородства, ты сейчас встанешь и уйдешь... Впрочем, нет, не сейчас. Чуть попозже, часов в шесть, ближе к поезду. Надо незаметно ускользнуть из дома, не признавая открыто своего поражения... И всю жизнь мучаться, что отказалась от уникального шанса?

Кин отложил ложку, молча поднялся из-за стола, вышел в сени, что-то там уронил. Жюль поморщился. Наступила пауза.

Кин вернулся со стопкой желтоватых листков. Положил их на стол возле Анны. Потом взял тарелку и отправился на кухню за новой порцией лапши.

— Что это? — спросила Анна.

— Кое-какие документы. Вы ничего в них не поймете.

— Зачем тогда они мне?

— Чем черт не шутит. Раз уж вы остаетесь...

Анна чуть было не созналась, что уже решила уехать. Но нечаянно ее взгляд встретился со злыми глазами гусара. Жюль не скрывал своей неприязни.

— Спасибо,— сказала Анна небрежно.— Я почитаю.

7.

Гости занимались своими железками. Было душно. Собиралась гроза. Анна забралась на диван, поджала ноги. Желтые листочки были невелики, и текст напечатан убористо, четко, чуть выпуклыми буквами.

Сначала латинское название.

*Bertholdi Chronicon Lyvoniae, pag. 29,
Monumenta Lyvoniae antiquae, VIII, Rigae, 1292.*

...Рыцарь Фридрих и пробст Иоганн подали мнение: необходимо, сказали они, сделать приступ и, взявши город Замош, жестоко наказать жителей для примера другим. Ранее при взятии крепостей оставляли гражданам жизнь и свободу, и оттого у остальных нет должного страха. Порешим же: кто из наших первым взойдет на стену, того превознесем почестями, дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника. Вероломного князя, врага христианской церкви, мы вознесем выше всех на самом высоком дереве. И казним жестоко его слугу, исчадие ада, породителя огня.

И русы выкатили из ворот раскаленные колеса, которые разбрасывали по сторонам обжигающий огонь, чтобы зажечь осадную башню от пламени. Между тем ландмейстер Готфрид фон Гольм, неся стяг в руке, первым взобрался на вал, а за ним последовал Вильгельм Оге, и, увидев это, остальные ратники и братья спешили взойти на стену первыми, одни поднимали друг друга на руки, а другие бились у ворот...

Рядом с этим текстом Анна прочла небрежно, наискось от руки приписанное: «Перевод с первой публикации. Рукопись Бертольда Рижского найдена в отрывках, в конволюте XIV в. в Мадридской биб-ке. Запись отн. к лету 1215. Горский ошибочно идентифицировал Замосье с Изборском. См. В. И. 12.1990, стр. 36. Без сомнения, единственное упоминание о Замосье в орденских источниках. Генрих Лата. молчит. Псковский летописец под 1215 кратко: «Того же лета убиша многих немцы в Литве и Замосье, а город взяша». Татищев, за ним Соловьев, сочли Замосье литовской волостью. Янин выражал сомнения в 80-х гг.».

На другом листке было что-то непонятное:

Дорога дорог

Ab majorem Dei gloriam. Во имя Гермия Трижды Величайшего. Если хочешь добывать Меркурий из Луны, сделай наперед крепкую воду из купороса и селитры, взявши их поровну, сольвируй Луну обыкновенным способом, дай осесть в простой воде, вымой известь в чистых водах, высуши, опусти в сосуд плоскодонный, поставь в печь кальцинироваться в умеренную теплоту, какая потребна для Сатурна, чтобы расплавиться, и по прошествии трех недель Луна взойдет, и Меркурий будет разлучен с Землею.

Тем же быстрым почерком сбоку было написано: «За полвека до Альберта и Бэкона». Что же сделали через полвека Альберт и Бэкон, Анне осталось неизвестно.

Зря она тратит время. Наугад Анна вытянула из пачки третий листок.

Из отчета западнодвинского отряда

Городище под названием Замосье расположено в 0,4 км к северо-западу от дер. Полуденки (Миорский р-н) на высоком и крутом (до 20 м) холме на левом берегу р. Вятла (левый приток Западной Двины). Площадка в плане неправильной овальной формы, ориентирована по линии север—юг с небольшим отклонением к востоку. Длина площадки 136 м, ширина в северной половине 90 м, в южной — 85 м. Раскопом в 340 кв. м вскрыт

культурный слой черного, местами темно-серого цвета мощностью 3,2 м ближе к центру и 0,3 м у края. Насыщенность культурного слоя находками довольно значительная. Обнаружено много фрагментов лепных сосудов: около 90% слабопрофилированных и баночных форм, характерных для днепродвинской культуры, и штрихованная керамика (около 10%), а также несколько обломков керамики XII в. Предварительно выявлены три нижних горизонта: ранний этап днепродвинской культуры, поздний этап той же культуры и горизонт третьей четверти I тысячелетия нашей эры (культура типа верхнего слоя банцеровского городища).

В конце XII — начале XIII в. здесь возводится каменный одностолпный храм и ряд жилых сооружений, которые погибли в результате пожара. Исследования фундамента храма, на котором в XVIII в. была построена кладбищенская церковь, будут продолжены в следующем сезоне. Раскопки затруднены вследствие нарушения верхних слоев кладбищем XVI—XVIII вв.

(«Археологические открытия 1986 г.», стр. 221)

Отчет был понятен. Копали — то есть будут копать — на холме. Анна положила листки на стол. Ей захотелось снова подняться на холм. В сенях был один Жюль.

— Хотите взглянуть на машину времени? — спросил он.

— Вы на ней приехали?

— Нет, установка нужна только на вводе. Она бы здесь не поместилась.

Жюль провел Анну в холодную комнату. Рядом с кроватью стоял металлический ящик. Над ним висел черный шар. Еще там было два пульта. Один стоял на стуле, второй — на кровати. В углу — тонкая высокая рама.

— И это все? — спросила Анна.

— Почти. — Жюль был доволен эффектом. — Вам хочется, чтобы установка была на что-то похожа? Люди не изобретательны. Во всех демонах и ведьмах угадывается все тот же человек. А вот кенгуру европейская фантазия придумать не смогла.

— А спать вы здесь будете? — спросила Анна.

— Да, — ответил невинно Жюль. — Чтобы вы не забрались сюда ночью и не отправились в прошлое или будущее. А то ищи вас потом в татарском гареме.

— Придется разыскивать, — сказала Анна. — Хуже будет, если я убью своего прадедушку.

— Банальный парадокс, — сказал Жюль, — витки времени так велики, что эффект нивелируется.

— А где Кин?

— На холме.

— Не боится деда?

— Больше он не попадется.

— Я тоже пойду погляжу. Заодно спрошу кое о чем.

Анна поднималась по тропинке, стараясь понять, где стояла крепостная стена. Вершина холма почти плоская, к лесу и ручью идут пологие склоны, лишь над рекой берег обрывается круто. Значит, стена пройдет по обрыву над рекой, а потом примерно на той же высоте вокруг холма.

Еще вчера город был абстракцией, потонувшей в бездне времени. А теперь? Если я, размышляла Анна, давно умершая для Кина с Жюлем, все-таки весьма жива, даже малость вспотела от липкой предгрозовой жары, то, значит, и гениальный Роман тоже сейчас жив. Он умрет через два дня и об этом пока не подозревает.

Анна увидела неглубокую ложину, огибавшую холм. Настолько неглубокую, что если бы Анна не искала следов города, то и не догадалась бы, что это остатки рва. Анна нашла во рву ровный валежник и консерваную банку, еле увернулась от осы и решила подняться в тень, на кладбище, потому что через полчаса из этого пекла должна созреть настоящая гроза.

В редкой тени крайних деревьев было лишь чуть прохладней, чем в поле. Стоило Анне остановиться, как из кустов вылетели отряды комариных камикадзе. В кустах зашуршало.

— Это вы, Кин?

Кин вылез из чащи. На груди у него висела фотокамера, недорогая, современная.

— Ах, какие вы осторожные! — сказала Анна, глядя на камеру.

— Старемся. Прочли документы?

— Не все. Кто такой Гермий Трижды Величайший?

— Покровитель алхимии. Этот отчет об опыте — липа. Его написал наш Роман.

— А чего там интересного?

— Этого метода выделения ртути тогда еще не знали. Он описывает довольно сложную химическую реакцию.

Налетел порыв ветра. Гроза предупреждала о своем приближении.

— С чего начнем? — спросила Анна.

— Поглядим на город. Просто поглядим.

— Вы знаете Романа в лицо?

— Конечно, нет. Но он строил машины и делал порох.

Кин заглянул в полумрак церкви. Анна вошла за ним. В куполе была дыра, и сквозь нее Анна увидела клоч лиловой тучи. В церкви пахло пыльным подвалом, на стене сохранились фрески. Святые

старцы равнодушно смотрели на людей. От колен вниз фрески были стерты. Казалось, что старцы стоят в облаках.

Первые капли ударили по крыше. Они падали сквозь отверстие в куполе и выбивали на полу фонтанчики пыли. Анна выглянула наружу. Листва и камни казались неестественно светлыми.

— Справа, где двойной дуб, были княжеские хоромы. От них ничего не сохранилось, — сказал Кин.

Дождь рухнул с яростью, словно злился, что люди не попались ему в чистом поле.

— Это были необычайные княжества, — сказал Кин. — Форпосты России, управлявшиеся демографическими излишками княжеских семей. Народ-то здесь был большей частью не русский. Вот и приходилось лавировать, искать союзников, избегать врагов. И главного врага — немецкий орден меченосцев. Их центр был в Риге, а замки — по всей Прибалтике.

Из зарослей вышла Клеопатра и уверенно зашагала к церкви, видно, надеясь укрыться. Увидев людей, она понурилась.

— Отойдем, — сказала Анна. — У нас целая церковь на двоих.

— Правильно, — согласился Кин. — Она догадается?

Лошадь догадалась. Кин и Анна сели на камень в дальнем углу, а Клепа вежливо остановилась у входа, подрагивая всей кожей, чтобы стряхнуть воду. Посреди церкви, куда теперь лился из дырявого купола неширокий водопад, темное пятно воды превратилось в лужу, которая, как чернильная клякса, выпускала щупальца. Один ручеек добрался до ног Анны.

— А вам не страшно? — спросила она. — Разговаривать с ископаемой женщиной?

— Опять? Впрочем, нет, не страшно. Я привык.

— А кто из гениев живет у вас?

— Вы их не знаете. Это неизвестные гении.

— Мертвые души?

— Милая моя, подумайте трезво. Гений — понятие статистическое. В истории человечества они появляются регулярно, хотя и редко. Но еще двести лет назад средняя продолжительность жизни была не более тридцати лет даже в самых развитых странах, большинство детей умирало в младенчестве. Умирили и будущие гении. Эпидемии опустошали целые континенты — умирили и гении. Общественный строй обрекал людей, имевших несчастье родиться с рабским ошейником, на такое существование, что гений не мог проявить себя... В войнах, в эпидемиях, в массовых казнях, в темницах гении погибали чаще, чем обыкновенные люди. Они отличались от обыкновенных людей, а это было опасно. Гении становились еретиками, бунтовщиками... Гений — очень хрупкое

создание природы. Его надо беречь и лелеять. Но никто этим не занимался. Даже признанный гений не был застрахован от ранней смерти. Привычно говорить о гениальности Пушкина. На поведение Дантеса это соображение никоим образом не влияло.

— Я знаю,— сказала Анна.— Даже друзья Пушкина Карамзины осуждали его. Многие считали, что Дантес был прав.

Клепа подошла поближе, потому что подул ветер и стрелы дождя полетели в раскрытую дверь. Клепа нервно шевелила ноздрыми. Гроыхнул гром, потом еще. Анна увидела, как проем купола высветился молнией. Кин тоже посмотрел вверх.

— Но почему вы тогда не выкрадываете гениев в младенчестве?

— А как догадаться, что младенец гениален? Он ведь должен проявить себя. И проявить так, чтобы мы могли отважиться на экспедицию в прошлое, а такая экспедиция требует столько энергии, сколько сегодня вырабатывают все электростанции Земли за год. А это не так уж мало. Даже для нас.

Лошадь, прядая ушами, переступала с ноги на ногу. Молнии врезались в траву прямо у входа. Церковь была надежна и тверда.

— Нет,— пробормотал Кин,— мы многого не можем.

— Значит, получается заколдованный круг. Гений должен быть безвестен. И в то же время уже успеть что-то сделать.

— Бывали сомнительные случаи. Когда мы почти уверены, что в прошлом жил великий ум, и можно бы его достать, но... есть сомнения. А иногда мы знаем наверняка, но виток не соответствует. И ничего не поделаешь.

— Тогда вы обращаетесь в будущее?

— Нет. У нас нет связи со следующим витком.

— Там что-нибудь случится?

— Не знаю. Там барьер. Искусственный барьер.

— Наверное, кто-то что-то натворил.

— Может быть. Не знаю.

8.

Анна вдруг расстроилась. Кажется, какое тебе дело до того, что случится через тысячу лет? И ведь ей никогда не узнать, что там произошло...

Ветер стих, дождь утихомирился, лил спокойно, выполняя свой долг, помогая сельскому хозяйству.

— А в наше время,— спросила Анна,— есть кандидатуры?

— Разумеется,— сказал Кин. Видно, не подумав, что делает, он провел в воздухе рукой, и ручеек, совсем было добравшийся

до ног Анны, остановился, словно натолкнувшись на стеклянную заперуду.— Двадцатый век, милая Аня,— такой же убийца, как и прочие века. Если хотите, я вам зачитаю несколько коротких справок. По некоторым из них мы не решились принимать мер...

«А по некоторым?» — хотела спросить Анна. Но промолчала. Вернее всего, он не ответит. И будет прав.

— Это только сухие справки. Разумеется, в переводе на ваш язык...

— По-моему, вы изъясняетесь на языке двадцатого века. А... большая разница?

— Нет, не настолько, чтобы совсем не понять. Но много новых слов. И язык лаконичнее. Мы живем быстрее. Но когда попадаем в прошлое, мы свой язык забываем. Так удобнее. Хотите услышать о гениях, которых нет?

— Хочу.

Кин коротко вздохнул и заговорил, глядя себе под ноги. Голос его изменился, стал суше. Кин читал текст, не видимый его слушательнице. Дождь моросил под стать голосу.

— «Дело 12-а-56. Маун Маун Ко, Родился 18 мая 1889 года в деревне Швезандаун севернее города Пегу в Бирме. В возрасте 6 лет поступил в монастырскую школу, где удивлял монахов умением заучивать главы из Типитаки. К десяти годам знал наизусть весь канон Хиньяны, и его как ребенка, отмеченного кармой, возили в Мандалай, где с ним разговаривал сам татанабайн и подарил ему зонт и горшок для подаяний. В Мандалае ему попалась книга о христианстве, и путем сравнения религиозных систем, а также разговоров с учеными-мусульманами мальчик создал философскую систему, в которой применил начала диалектики, близкой к гегелевской. Был наказан заточением в келье. В 1901 году бежал из монастыря и добрался до Рангуна, надеясь убедить в своей правоте английского епископа Эндрю Джонсона. К епископу мальчика не пустили, но несколько дней он прожил в доме миссионера Г. Стоунуэлла, который был удивлен тем, что подошедший к нему на улице бирманский оборвыш читает наизусть Евангелие на английском языке. Миссионер демонстрировал мальчика своим друзьям и оставил в дневнике запись о том, что Маун Маун Ко свободно излагает свои мысли на нескольких языках. Попытки Маун Маун Ко изложить миссионеру свою теорию не увенчались успехом, потому что миссионер решил, что мальчик пересказывает крамольную книгу. На четвертый день, несмотря на то что мальчика в доме миссионера кормили, Маун Маун Ко убежал. Его труп в крайней степени истощения, с колотыми ранами в груди был найден портовым полицейским А. Банерджи 6 января 1902 года у склада № 16. Причина смерти неизвестна».

Кин замолчал. Словно его выключили. Потом посмотрел на Анну. Дождь еще накрапывал. Лошадь стояла у дверей.

— Тут мы были уверены,— сказал Кин,— Но опоздали.

— Почему же никто его не понял?

— Еще удивительно, как он добрался до того миссионера,— сказал Кин.— Прочсть еще?

— Да.

— «Дело 23-Ов-76. Кособурд Мордко Лейбович. Родился 23 октября 1900 года в г. Липовец Киевской губернии. Научился говорить и петь в 8 месяцев. 4 января 1904 года тетя Шейна подарила ему скрипку, оставшуюся от мужа. К этому времени в памяти ребенка жили все мелодии, услышанные дома и в Киеве, куда его два раза возили родители. Один раз мальчик выступал с концертом в доме предводителя дворянства камер-юнкера Павла Михайловича Гудим-Левковича. После этого концерта, на котором Мордко исполнил, в частности, пьесу собственного сочинения, уездный врач д-р Колядко подарил мальчику три рубля. Летом 1905 года аптекарь С. Я. Сойфертис, списавшись со знакомыми в Петербурге, продал свое дело, ибо, по его словам, бог на старости лет сподобил его увидеть чудо и поручил о нем заботу. На вокзал их провожали все соседи. Скрипку нес Сойфертис, а мальчик — баул с игрушками, сладями в дорогу и нотной бумагой, на которой сам записал первую часть концерта для скрипки. На углу Винницкой и Николаевской улиц провожавшие встретились с шествием членов союза Михаила Архангела. Произошло нечаянное столкновение, провожавшие испугались за мальчика и хотели его спрятать. Тете Шейне удалось унести его в соседний двор, но он вырвался и с криком «моя скрипка!» выбежал на улицу. Мальчик был убит ударом сапога бывшего податного инспектора Никифора Быкова. Смерть была мгновенной». Еще? — спросил Кин.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— «Дело 22-5-а-4. Алихманова Салима. Родилась в 1905 году в г. Хиве. За красоту и белизну лица была в 1917 году взята в гарем Алим-хана Кутайсы, приближенного лица последнего хана Хивинского. В 1918 году родила мертвого ребенка. Будучи еще неграмотной, пришла к выводу о бесконечности Вселенной и множественности миров. Самостоятельно научилась читать, писать и считать, изобрела таблицу логарифмов. Интуитивно использовала способность предвидения некоторых событий. В частности, предсказала землетрясение 1920 года, объяснив его напряжениями в земной коре. Этим предсказанием вызвала недовольство духовенства Хивы, и лишь любовь мужа спасла Салиму от наказания. Страстно стремилась к знаниям. Увидев в доме случайно попавшую

туда ташкентскую газету, научилась читать по-русски. В августе 1924 года убежала из дома, переплыла Аму-дарью и поступила в школу в Турткуле. Способности девушки обратили на себя внимание русской учительницы Галины Крановой, которая занималась с ней алгеброй. За несколько недель Салима освоила курс семилетней школы. Было решено, что после октябрьских праздников Галина отвезет девушку в Ташкент, чтобы показать специалистам. Во время демонстрации 7 Ноября в Турткуле Салима шла в группе женщин, снявших паранджу, и была опознана родственниками Алим-хана. Ночью была похищена из школы и задушена в Хиве 18 ноября 1924 года».

— Хватит,— сказала Анна.— Большое спасибо. Хватит.

9.

На дворе стемнело. Небольшой квадрат окошка, выходившего из холодной комнаты в сад, был густо-синим, и в нем умудрилась поместиться полная луна. Тесную, загроможденную приборами комнату наполняло тихое жужжание, казавшееся Анне голосом времени — физически ощутимой нитью, по которой бежали минуты.

Жюль настраивал установку, изредка выходя на связь со своим временем, для чего служил круглый голубой экран, на котором дрожали узоры желтых и белых точек, а Кин готовил съемочную аппаратуру.

Висевший над головой Жюля черный шар размером с большой надувной мяч стал медленно вращаться.

— Сейчас, Аня, вы получите возможность заглянуть в тринадцатый век,— сказал Кин.

Ее охватило щекотное детское чувство ожидания театра. Вот-вот раздвинется занавес, и начнется действие...

Замельтешил желтыми и белыми огоньками круглый экран связи. Жюль склонился к нему и начал быстро водить перед ним пальцами, точно разговаривал с глухонемым. Огни на экранчике замерли.

Жужжание времени заполнило весь дом, такое громкое, что Анне казалось: сейчас его услышит вся деревня. И тут в шаре поплыли какие-то цветные пятна, было такое впечатление, как будто смотришь на речку сквозь круглый иллюминатор парохода.

Кин скрипнул табуретом. Руки его были в черных перчатках почти по локоть. Он коснулся кромки ящика, над которым висел шар, и пальцы его погрузились в твердый металл.

— Поехали,— сказал Кин.

Цветные пятна побежали быстрее, они смещались у края иллюминатора и уплывали. Послышался резкий щелчок. И сейчас же кто-то как будто провел рукой по запотевшему стеклу иллюминатора, и мир в шаре обрел четкие формы и границы. Это было зеленое поле, окруженное березами.

Шаром управлял Кин. Руки в черных перчатках были спрятаны в столе, он сидел выпрямившись, напряженно, как за рулем.

Изображение в шаре резко пошло в сторону, березы наклонились, как в медном кинофильме. Анна на миг зажмурилась. Роща пропала, показался крутой склон холма с деревянным тыном наверху, широкая разбитая дорога и, наконец, нечто знакомое — речка Вятла. За ней густой еловый лес.

И тут же Анна увидела свой дом. Он стоял в ряду других домов, по эту сторону ручья. Хотя его скорее можно было назвать хижинкой — приземистой, подслеповатой, под соломенной крышей. Зато ручей был много шире, над ним склонялись ивы, дорога пересекала его по деревянному мосту, возле которого стояло несколько всадников.

— Я стабилизируюсь, — сказал Жюль.

— Это тринадцатый век? — спросила Анна.

— Двенадцатое июня.

— Вы уверены?

— У нас нет альтернативы.

— А там, у ручья, люди.

— Божьи дворяне, — сказал Кин.

— Они видят наш шар?

— Нет. Они нас не видят.

— А в домах кто живет?

— Сейчас никто. Люди ушли в стены. Город осажден.

Кин развернул шар, и Анна увидела, что за ручьем, там, где должна начинаться деревня, а теперь была опушка леса, стояли шалаши и шатры. Между ними горели костры, ходили люди.

— Кто это? Враги? — спросила Анна.

— Да. Это меченосцы, орден святой Марии, божьи дворяне.

— Это они возьмут город?

— В ночь на послезавтра, Жюль, ты готов?

— Можно начинать.

Шар поднялся и полетел к ручью. Слева Анна заметила высокое деревянное сооружение, стоявшее в пологой ложбине на полдороге между откосом холма и ручьем, где она бродила всего два часа назад. Сооружение напомнило ей геодезический знак — деревянную шкалу, какие порой встречаются в поле.

— Видели? — спросила Анна.

— Осадная башня,— сказал Кин.

Шар спустился к лагерю рыцарей.

Там обедали. Поэтому их было не видно. Шикарные рыцари, вроде тех, что сражаются на турнирах и снимаются в фильмах, сидели в своих шатрах и не знали, что к ним пожаловали посетители из будущего. Народ же, уплетавший какую-то снедь на свежем воздухе, никаких кинематографических эмоций не вызывал. Это были плохо одетые люди, в суконных или кожаных рубахах и портах, некоторые из них босые. Они были похожи на бедных крестьян из недалекого прошлого.

— Посмотрите, а вот и рыцарь,— сказал Кин, бросив шар к одному из шатров. На грязной поношенной холщовой ткани шатра были нашиты красные матерчатые мечи. Из шатра вышел человек, одетый в грубый свитер до колен. Вязаная шапка плотно облегла голову, оставляя открытым овал лица, и спадала на плечи. Ноги были в вязаных чулках. Свитер был перепоясан черным ремнем, на котором висел длинный прямой меч в кожаных ножнах.

— Жарко ему, наверно,— сказала Анна и уже поняла, что рыцарь не в свитере — это кольчуга, мелкая кольчуга. Рыцарь поднял руку в кольчужной перчатке, и от костра поднялся бородатый мужик в кожаной куртке, короткой юбке и в лаптях, примотанных ремнями к икрам ног. Он не спеша затрусил к конюязи и принялся отвязывать лошадь.

— Пошли в город? — спросил Жюль.

— Пошли,— сказал Кин.— Аня разочарована. Рыцари должны быть в перьях, в сверкающих латах...

— Не знаю,— сказала Анна.— Все здесь не так.

— Если бы мы пришли лет на двести попозже, вы бы все увидели. Расцвет рыцарства впереди.

Шар поднимался по склону, пролетел неподалеку от осадной башни, возле которой возились люди в полукруглых шлемах и кожаных куртках.

— В отряде, по моим подсчетам,— сказал Кин,— около десятка божьих братьев, с полсотни слуг и сотни четыре немецких ратников.

— Четыреста двадцать. А там, за сосняком,— сказал Жюль,— союзный отряд. По-моему, летты. Около ста пятидесяти.

— Десять братьев? — спросила Анна.

— Божий брат — это полноправный рыцарь, редкая птица. У каждого свой отряд.

Шар взмыл вверх, перелетел через широкий неглубокий ров, в котором не было воды. Дорога оканчивалась у рва, и мост через ров был разобран. Но, видно, его не успели унести — несколько

ко бревен лежало у вала. На валу, поросшем травой, стояла стена из торчком поставленных бревен. Две невысокие башни с площадками наверху возвышались по обе стороны обитых железными полосами закрытых ворот. На площадках стояли люди.

Шар поднялся на уровень площадки и завис. Потом медленно двинулся вдоль площадок. И Анна могла вблизи разглядеть людей, которые жили в ее краях семьсот лет назад.

10.

На башенной площадке тоже все было неправильно.

Там должны были стоять суровые воины в высоких русских шлемах, их красные щиты должны были грозно блистать на солнце. А на самом деле публика на башнях Замощья вела себя, как на стадионе. Люди совершенно не желали понять всей серьезности положения, в котором оказались. Они переговаривались, смеялись, размахивали руками, разглядывали осадную башню. Круглолицая молодая женщина с младенцем на руках болтала с простоволосой старухой, потом развязала тесемку на груди своего свободного, в складках, серого платья с вышивкой по вороту и принялась кормить грудью младенца. Еще один ребенок, лет семи, сидел на плече у монаха в черном клобуке и колотил старика по голове деревянным мечом. Рядом с монахом стоял коренастый мужчина в меховой куртке, надетой на голое тело, с длинными, по плечи, волосами, пережаченными веревкой. Он с увлечением жевал ломоть серого хлеба.

Вдруг в толпе произошло движение. Слово людей подталкивали сзади обладатели билетов на занятые в первом ряду места. Толпа нехотя раздалась.

Появились два воина, первые настоящие воины, которых увидела Анна. Они, правда, разительно не соответствовали привычному облику дружинников из учебника. На них были черные плащи, скрывавшие тускло блестевшие кольчуги, и высокие красные колпаки, отороченные бурым мехом. Воины были смуглые, черноглазые, с длинными висячими усами. В руках держали короткие копыя.

— Это кто такие? — прошептала Анна, словно боясь, что они ее услышат.

— Половцы, — сказал Жюль. — Или берендей.

— Нет, — возразил Кин. — Я думаю, что ятвяги.

— Сами не знаете, — сказала Анна. — Кстати Берендей — лицо не историческое, это сказочный царь.

— Берендеи — народ, — сказал Жюль строго. — Это проходят в школе.

Спор тут же заглох, потому что ятвяги освободили место для знатных зрителей. А знатные зрители представляли особый интерес.

Сначала к перилам вышла пожилая дама царственного вида в синем платье, белом платке, с белым, сильно напудренным лицом; над глазами были грубо нарисованы высокие брови, а на щеках, словно свеклой, намалеваны круглые пятна. Рядом с ней появился мужчина средних лет с длинным, скучным, но неглупым лицом. Он был богато одет. На зеленый кафтан накинута короткая синяя плащ-корзно с золотой каймой и пряжкой из золота на левом плече в виде львиной морды. На голове у него сидела надвинутая на лоб невысокая меховая шапка, хотя было совсем не холодно. Анна решила, что это и есть князь. Между ними проскользнул странный мальчик со злым, мятым лицом. Он положил подбородок на перила. У мальчика на правом глазу было бельмо и на одной из рук, вцепившихся в брус, не хватало двух пальцев.

Затем появились еще двое. Эти Анне понравились.

Они вошли одновременно и остановились за спинами царственной дамы и князя, но так как оба были высоки, то Анна могла их рассмотреть. Мужчина был сравнительно молод, лет тридцати. Он был очень хорош собой, разумеется, если вы не имеете ничего против огненно-рыжих красавцев с белым, слегка усыпанным веснушками лицом и зелеными глазами. Под простым красным плащом виднелась кольчуга. Анне очень захотелось, чтобы красавца звали Романом, о чем она тут же сообщила Кину, но Кин лишь хмыкнул и сказал что-то о последствиях эмоционального подхода к истории. Рядом с зеленоглазым красавцем стояла девушка, кого-то напоминавшая Анне. Девушка была высока... тонка — все в ней было тонкое, готическое. Выпуклый чистый лоб пересекала бирюзовая повязка, украшенная золотым обручем, такой же бирюзовый платок плотно облегал голову и спускался на шею. Тонкими пальцами она придерживала свободный широкий плащ, будто ей было жалько. Рыжий красавец говорил ей что-то, но девушка не отвечала, она смотрела на поле перед крепостью.

— Где-то я ее видала, — произнесла Анна. — Но где? Не помню.

— Не знаю, — сказал Кин.

— В зеркале. Она чертовски похожа на вас, — сказал Жюль.

— Спасибо. Вы мне льстите.

Еще один человек втиснулся в эту группу. Он был одет почти так же, как смуглые воины, пожалуй, чуть побогаче. На груди его была приколата большая серебряная брошь.

— Ну как, Жюль, мы сегодня их услышим? — спросил Кин.

— Что я могу поделать? Это же всегда так бывает!

Анна подумала, что самый факт технических неполадок как-то роднит ее с далеким будущим. Но говорить об этом потомкам не стоит.

Вдруг мальчишка у барьера что-то крикнул, царственная дама ахнула, рыжий красавец нахмурился. Снаружи что-то произошло.

11.

Кин развернул шар.

Из леса, с дальней от реки стороны, мирно вышло стадо коров, которых гнали к городу три пастуха в серых портах и длинных, до колен, рубахах. Почему-то пастухи не знали, что рыцари уже рядом. Их одновременно заметили с крепостной стены и от ручья. Пастухи слышали крики со стены и крики рыцарей. Они засуетились, подгоняя коров, а коровы никак не могли взять в толк, куда и почему им нужно торопиться, стадо сбилось в кучу, и пастухи бестолково стегали несчастную скотину кнутами.

В рыцарском стане также царила суматоха, божьим дворянам очень хотелось перехватить стадо. Но лошади меченосцев были расседланы, и потому к ручью побежали пехотинцы, размахивая мечами и топориками. Звука не было, но Анна представила себе, какой гомон стоит над склоном холма. Кин повернул шар к стене города. Народ на башнях раздался в стороны, уступив место лучникам. Рыжего красавца не было видно, длиннотылицый князь был так мрачен, что Анна предположила: он боится, как бы во время осады его народ не остался без молока.

Лучники стреляли по бегущим от ручья и от осадной башни ратникам, но большинство стрел не долетало до цели, хотя одна из них попала в корову. Та вдруг вырвалась из стада и понеслась, подпрыгивая, по лугу. Оперенная стрела покачивалась у нее в загривке, словно бандерилья у быка во время корриды.

Тем временем немцы добежали до пастухов. Все произошло так быстро, что Анна чуть было не попросила Кина прокрутить сцену еще раз. Один из пастухов упал на землю и замер. Второй повис на дюжине ратнике, но другой немец крутился вокруг них, занес топор, но не опуская его, — боялся угодить по товарищу. Третий пастух бежал к воротам, и за ним гнались сразу человек десять. Он добежал до рва, прыгнул вниз. Немцы — за ним. Анна видела, как в отчаянии — только тут до нее докатилось отчаяние, гнавшее пастуха, — маленькая фигурка карабкалась, распластавшись по отлогому склону рва, чтобы выбраться к стене, а ратники уже дотягивались до него.

Вдруг один из преследователей рухнул на дно рва. Это не остановило остальных. Стрелы впились в траву, отлетали от кольчуг, еще один немец опустился на колени, прижимая ладонью рану в руке. И тут передний кнехт догнал пастуха и рубанул его топориком по ноге. Боль — Анна ощутила ее так, будто ударили ее, — заставила пастуха прыгнуть вперед и на четвереньках метнуться к стене. Яркая красная кровь хлестала из разрубленной ноги, оставляя след, по которому, словно волки, карабкались преследователи.

— Откройте ворота! — кричала Анна.

Жюль вздрогнул.

Еще один немец упал, пытаясь вырвать из груди стрелу, и, как будто послушавшись Анну, ворота начали медленно растекаться наружу. Но пастуху уже было все равно, потому что он снова упал у ворот и настигший его кнехт всадил ему в спину боевой топор и тут же сам упал рядом, потому что по крайней мере пять стрел прошли его, приколов к земле, как жука.

В раскрывшихся воротах возникла мгновенная толкучка — легкие всадники в черных штанах, стеганых куртках и красных колпаках с саблями в руках мешали друг другу, спеша наружу.

— Ну вот, — сказала Анна, — могли бы на две минуты раньше выскочить. Стадо-то они вернут, а пастухов уже убили.

Пастух лежал на груди в луже быстро темнеющей крови, и лошади перескакивали через него. Вслед за ятвягами, только медленнее, выехали еще несколько воинов, одетых в кольчуги со стальными пластинами на груди и в конические железные шлемы с приваренными спереди стальными полосами, прикрывающими нос. Анна сразу узнала в одном из всадников рыжего красавца.

— Смотрите, — сказала она, — Если он сейчас погибнет...

Кин бросил шар вниз, ближе к всадникам.

Почему-то, когда из ворот выскочили ятвяги, Анна решила, что защитники крепости уже победили. Наверное, потому, что не могла отделаться от подсознательной убежденности, что смотрит кино. А в кино после ряда драматических или даже трагических событий обязательно появляются Наши — в тачанках, верхом или даже на танках. После этого враг, зализывая раны, откатывается в свою берлогу.

Стадо к этому времени уже удалилось от стен. Те ратники, что не стали гнаться за пастухом, умело направляли его к ручью, оглядываясь на крепость, — знали, что русские отдавать стадо не захотят. Навстречу им к ручью спускались рыцари.

Ятвяги, словно не видя опасности, закрутились вокруг запуганных коров, рубясь с загонщиками, и когда на них напали тяжелые

вооруженные рыцари, сразу легко и как-то весело откатились обратно к крепости, навстречу дружинникам.

Немцы преследовали их, и Анна поняла, что стадо потеряно.

Но рыжий воин и дружинники рассудили иначе. Захватывая мчащихся навстречу ятвягов, как магнит захватывает металлические опилки, они скатились к рыцарскому отряду и слились с меченосцами в густую, плотную массу.

— Если бы стада не было,— заметил вдруг Кин, возвращая Анну в полумрак комнаты,— рыцарям надо было его придумать.

К этому моменту Анна потеряла смысл боя, его логику — словно ее внимания хватило лишь на отдельные фрагменты, на блеск меча, открытый от боли рот всадника, раздутые ноздри коня... Рыжий красавец поднимал меч двумя руками, словно рубил дрова, и Анне были видны искры от удара о треугольный белый с красным крестом щит могучего рыцаря в белом плаще. Сбоку в поле зрения Анны попал конец копья, которое ударило рыжего в бок, и он начал медленно, не выпуская меча, валиться с коня.

— Ой! — Анна привстала: еще мгновение — и рыжий погибнет.

Что-то черное мелькнуло рядом, и удар рыцаря пришелся по черному кафтану ятвяга, закрывшего собой витязя, а тот, склонившись к высокой луке седла, уже скакал к крепости.

— Все,— сказал Жюль,— проверка аппаратуры. Перерыв.

— Ладно,— сказал Кин.— А нам следует осознать увиденное.

Шар начал тускнеть, Кин выпростал руки. Устало, словно сам сражался на берегу ручья, снял перчатки и бросил на постель.

Последнее, что показал шар,— закрывающиеся ворота и возле них пастух и его убийца, лежащие рядом, мирно, словно решили отдохнуть на зеленом косогоре.

12.

В комнате было душно. Квадратик окошка почернел. Анна поднялась с табуретки.

— И никто не придет к ним на помощь? — спросила она.

— Русским князьям не до маленького Замощья. Русь раздроблена, каждый сам за себя. Даже полоцкий князь, которому формально подчиняется эта земля, слишком занят своими проблемами.

Кин открыл сбоку шара шестигранное отверстие и засунул руку в чуть мерцающее зеленым его чрево.

— Это был странный мир,— сказал он.— Неустойчивый, но по своему гармоничный. Здесь жили литовцы, летты, самогиты, эсты, русские, ливы, ятвяги, семигалы... Некоторые давно исчезли,

другие живут здесь и поныне. Русские князья по Даугаве — Западной Двине собирали дань с окрестных племен, воевали с ними, часто рождались с литовцами и ливами... И неизвестно, как бы сложилась дальше судьба Прибалтики, если бы здесь, в устье Даугавы, не высадились немецкие миссионеры, за которыми пришли рыцари. В 1201 году энергичный епископ Альберт основал город Ригу, возник орден святой Марии, или меченосцев, который планомерно покорял племена и народы, крестил язычников — кто не хотел креститься, погибал, кто соглашался, становился рабом. Все очень просто...

— А русские города?

— А русские города — Кукоернойс, Герсике, Замосье, потом Юрьев — один за другим были взяты немцами. Они не смогли объединиться. Лишь литовцы устояли. Именно в эти годы они создали единое государство. А через несколько лет на Руси появились монголы. Раздробленность ее оказалась роковой.

Кин извлек из шара горсть шариков размером с грецкие орехи.

— Пошли в большую комнату, — сказал он. — Мы здесь мешаем. Жюлю. К тому же воздуха на троих не хватает.

В большой комнате было прохладно и просторно. Анна задернула выцветшие занавески. Кин включил свою лампу. Горсть шариков раскатилась по скатерти.

— Вот и наши подозреваемые, — сказал Кин. Он поднял первый шарик, чуть сдавил его пальцами, шарик щелкнул и развернулся в плоскую упругую пластинку — портрет пожилой дамы с набеленным лицом и черными бровями.

— Кто же она? — спросил Кин, кладя портрет на стол.

— Княгиня, — быстро сказала Анна.

— Не спешите, — улыбнулся Кин. — Нет ничего опаснее в истории, чем очевидные ходы.

Кин отложил портрет в сторону и взял следующий шарик.

Шарик превратился в изображение длиннолицего человека с поджатыми капризными губами и очень умными, усталыми глазами под высоким, с залысинами, лбом.

— Я бы сказала, что это князь, — ответила Анна вопросительному взгляду Кина.

— Почему же?

— Он пришел первым, он стоит рядом с княгиней, он роскошно одет. И вид у него гордый.

— Все вторично, субъективно.

Следующим оказался портрет тонкой девушки в синем плаще.

— Можно предложить? — спросила Анна.

— Разумеется. Возьмите. Я догадался.

Кин протянул Анне портрет рыжего красавца, и она положила его рядом с готической девушкой.

— Получается? — спросила она.

— Что получается?

— Наш Роман был в западных землях. Оттуда он привез жену.

— Значит, вы все-таки убеждены, что нам нужен этот отважный воин, которого чуть было не убили в стычке?

— А почему ученому не быть воином?

— Разумно. Но ничего не доказывает.

Кин отвел ладонью портреты и положил на освободившееся место изображение одноглазого мальчика. И тут же Анна поняла, что это не мальчик, а взрослый человек.

— Это карлик?

— Карлик.

— А что он тут делает? Тоже родственник?

— А если шут?

— Он слишком просто одет для этого. И злой.

— Шут не должен был веселиться. Само уродство было достаточным основанием для смеха.

— Хорошо, не спорю, — сказала Анна. — Но мы все равно ничего не знаем.

— К сожалению, пока вы правы, Анна.

Анна снова подвинула к себе портрет своего любимца: огненные кудри, соколиный взор, плечи — косая сажень, меховая шапка стиснута в нервно-сильном кулаке...

— Конечно, соблазнительный вариант, — сказал Кин.

— Вам не нравится, что он красив? Леонардо да Винчи тоже занимался спортом, а Александр Македонский вообще с коня не слезал.

Портреты лежали в ряд, совсем живые, и трудно было поверить, что все эти люди умерли много сот лет назад. «Хотя, — подумала Анна, — я ведь тоже умерла много сот лет назад...»

— Может быть, — согласился Кин и выбрал из стопки два портрета: князя в синем плаще и рыжего красавца.

— Коллеги, — заглянул в большую комнату Жюль. — Продолжение следует. У нас еще полчаса. А там кто-то приехал.

13.

Шар был включен и обращен на рыцарский лагерь в тринадцатом веке. Вечерело. Небо над лесом обесцветилось, на его фоне лес стал почти черным, а закатные лучи солнца, повисшего над крепостной стеной, высвечивали на этом темном занавесе фигуры процессии, выползшей на берег.

Впереди ехали верхами несколько рыцарей в белых и красных плащах, два монаха в черных, подоткнутых за пояс рясах, за ними восемь усталых носильщиков волокли крытые носилки. Затем из леса показались пехотинцы и, наконец, странное сооружение: шестерка быков тащила деревянную платформу, на которой было укреплено нечто вроде столовой ложки для великана.

— Что это? — спросила Анна.

— Катапульта, — сказал Кин.

— А кто в носилках?

В полутьме было видно, как Жюль пожал плечами.

Носильщики с облегчением опустили свою ношу на пригорке, и вокруг сразу собралась толпа.

Крепкие пальцы схватились изнутри за края полога, резко раздвинули его и на землю выскочил грузный пожилой мужчина в сиреневой рясе и маленькой черной шапочке. На груди у него блестел большой серебряный крест. Коротко постриженная черная борода окаймляла краснощекое круглое лицо. Рыцари окружили мужчину и повели к шатру.

— Подозреваю, — сказал Кин, — что к нам пожаловал его преосвященство, епископ Риги Альберт. Большая честь.

— Это начальник меченосцев? — спросила Анна.

— Формально — нет. На самом деле — правитель немецкой Прибалтики. Значит, к штурму Замошья орден относится серьезно.

Епископ задержался на склоне, приставил ладонь лопаткой к глазам и глядел на город. Рыцари что-то объясняли ему. Носильщики, бросив поклажу, уселись на траву.

Ратники погнали платформу с катапультой к мосту через ручей. От группы рыцарей, окружавших епископа, отделился рыцарь, тот, который чуть не убил рыжего красавца. За ним в черной сутане один из приближенных епископа. Ратники подвели коня.

— Стяг не забудьте, брат Фридрих, — сказал монах.

— Брат Теодор возьмет, — сказал рыцарь.

Ратник помог рыцарю взобраться в седло с высокой передней лукой. Левая рука рыцаря двигалась неловко, словно протез, на правой перчатка была кольчужная, на левой — железная.

— Погодите! — крикнула Анна. — Он же разговаривает! Вы починили звук?

Кин улыбнулся.

— Он по-русски разговаривает?

— Нет, по-немецки. Мы же не слышим. Тут иной принцип. Знаете, что бывают глухонемые, которые по губам могут угадать, о чем говорит человек?

— Знаю.

— Наша приставка читает движения губ. И переводит.

У моста через ручей к рыцарю присоединился молодой божий дворянин в красном плаще с длинным, раздвоенным на конце вымпелом, прикрепленным к древку копья. Вымпел был белым, на нем — две красные башни с воротами, сверху — тиара.

Рыцари поднялись по склону к городу, придерживали коней у рта. Молодой меченосец поднял оправленный в серебро рог. Крепость молчала.

Анна сказала:

— Не люблю многосерийные постановки, всегда время тянут.

— Сделайте пока нам кофе, — сказал Жюль. — Пожалуйста.

Анна не успела ответить, как ворота приоткрылись, выпустив из крепости двух всадников. Впереди ехал князь в синем плаще с золотой каймой. За ним ятвяг в черной одежде и красном колпаке. В щели ворот были видны стражники. Приветствуя князя, Фридрих поднял руку в кольчужной перчатке. Князь потянул коня за уздцы, и тот мотнул головой, мелко перебирая ногами.

Шар метнулся вниз — Кин хотел слышать, о чем пойдет речь.

— Ландмейстер Фридрих фон Кокенгаузен приветствует тебя, — сказал рыцарь.

— На каком языке они говорят? — тихо спросила Анна.

Жюль взглянул на табло, по которому бежали искры.

— Латынь, — сказал он.

— Здравствуй, рыцарь, — ответил князь.

Черный ятвяг легонько задел своего коня нагайкой между ушей, и тот закрутился на месте, взрывая копытами зеленую траву. Рука молодого трубача опустилась на прямую рукоять меча.

— Его преосвященство епископ рижский и ливонский Альберт шлет отеческое благословение князю Замощья и выражает печаль потому, что плохие советники нарушили мир между ним и его сюзереном. Епископ сам изволил прибыть сюда, чтобы передать свое отеческое послание. Соблаговоли принять, — сказал рыцарь.

Молодой рыцарь Теодор протянул свернутую трубкой грамоту, к которой на ленте была прикреплена большая печать. Фридрих фон Кокенгаузен принял грамоту и протянул русскому.

— Я передам, — сказал русский посол. — Что еще?

— Все в письме.

Ятвяг крутился на своем коне, словно дразнил рыцарей, но те стояли недвижно, игнорируя легкого, злого всадника.

Анна поняла, что человек в синем плаще — не князь города. Иначе кому он передаст грамоту?

— Я слышал, что ты живешь здесь, — сказал ландмейстер.

— Третий год.

— Мне жаль, что обстоятельства сделали нас врагами.
— Нет разума в войне,— сказал русский.
— Мне недостает бесед с вами, мой друг,— сказал рыцарь.
— Спасибо,— ответил русский.— Это было давно. Мне некогда сейчас думать об этом. Я должен защищать город. Князь — мой брат. Как рука?

— Спасибо, ты чародей, мой друг.

Маленькая группа людей разделилась — русские повернули к воротам, раскрывшимся навстречу, немцы поскакали вниз, к ручью.

14.

Шар пролетел сквозь крепостную стену, и Анна впервые увидела город Замосье изнутри.

За воротами была небольшая пыльная площадь. Заборы и слепые стены тесно стоявших домов стискивали ее, и, превращаясь в узкую улицу, она тянулась к белокаменному собору. На площади собралось много народу, и в первое мгновение Анна решила, что люди ждут послов, но в самом деле возвращение всадников прошло незамеченным. Часовые еще запирали ворота громадными засовами, а ятвяг, подняв нагайку, бросил коня вперед, к собору, за ним, задумавшись, следовал человек в синем плаще.

У стен домов и в щели между городским валом и строениями были втиснуты временные жилища беженцев, скрывшихся в городе на время осады из соседних деревень или из посадов. Рогожки — примитивные навесы — свисали с палок. Там ползали ребятишки, варилась пища, спали, ели, разговаривали люди. И от этого дополнительного скопления людей улица, которой скакали послы, казалась длиннее, чем была на самом деле. Она завершилась другой площадью, отдаленной от задней стены крепости большим двухэтажным теремом, что соединялся с собором галереей. Собор не успели достроить — рядом в пыли и подорожниках валялись белые плиты, дальняя стена собора была еще в лесах, а на куполе, придерживаясь за веревку, колотил молотком кровельщик, прилаживая свинцовый лист. И вроде бы ему дела не было до боев, штурмов, осад.

У коновязи был колодец, из которого два мужика таскали бадью с водой и переливали ее в бочки, стоявшие рядом.

Послы оставили коней у коновязи.

На высоком крыльце терема стояли два ятвяга, дремал под навесом мальчишка в серой, до колен рубахе. Смеркалось, и длинные сиреневые тени застелили почти всю площадь.

Послы быстро поднялись по лестнице на крыльцо и скрылись в низкой двери терема. Шар пролетел за ними узким коридором. Анна успела заметить, что в темноте, изредка разрываемой мерцанием лучины или вечерним светом из открытой двери, перед залом, куда вошли послы, сидели в ряд монахи в высоких кукулях, с белыми крестами, в черных рясах. Лишь лица желтели от лампы — над ними был киот со смуглыми лицами византийских икон.

Рыжий красавец в белой рубахе, вышитой по вороту красным узором, сидел за столом, опершись локтями о старую выщербленную столешницу. В углу, на лавке устроился, свесив не достающие до земли короткие кривые ноги, шут.

Ятяг остался у двери. Посол прошел прямо к столу, чуть поклонился князю.

— Чего он звал? — спросил князь. — Чего хотел?

— Скорбит, — усмехнулся посол. — Просит верности.

Он бросил на стол грамоту епископа. Рыжий дернул ее, оторвав тесьму, и грамота нехотя развернулась. Шут вскочил с лавки, заковылял к столу. Шевеля толстыми губами, принялся разбирать текст. Рыжий взглянул на него, поднялся из-за стола.

— Не отдам я им город, Роман. — сказал он. — Будем держаться, пока Миндаугас с литвой подоспел.

— Ты не будешь читать, Вячеслав?

— Пошли на стену, — сказал рыжий. — А ты, Акиплеша, скажешь боярыне, что, как вернусь, ужинать будем.

— Они Магду требуют, — сообщил шут, прижав пальцем строчку в грамоте.

— Вольно им, — ответил рыжий и пошел к двери.

— Все, сеанс окончен, — сказал Жюль.

— Как насчет кофе?

— Ну вот, — сказал Кин. — Мы и узнали, кто князь, а кто Роман.

— Князя звали Вячеслав? — спросила Анна.

— Да, князь Вячко, сын полоцкого князя Бориса Романовича. Он раньше правил в Кокернойсе. Кокернойс захватили рыцари. После гибели города он ушел в леса со своими союзниками — ятягами и ливами. А вновь появился в 1223 году, когда русские князья, отвоевав у меченосцев, дали ему город Юрьев. К Юрьеву подступило все орденское войско. Вячко сопротивлялся несколько месяцев. Потом город пал и князя убили.

— И вы думаете, что это тот самый Вячко?

— Да. Все говорит в пользу такого предположения. На этом холме было неукрепленное поселение. Лишь в начале XIII века его обнесли стеной и построили каменный собор. А в 1215 году

город погибает. Существовал он так недолго, что даже в летописях о нем почти нет упоминаний. Зачем его укрепили? Очевидно, с потерей крепостей на Двине полоцкому князю нужны были новые пограничные форпосты. И он посылает сюда Вячко. Рыцари его знают. Он их старый враг. И конечно, его новая крепость становится центром сопротивления ордену...

Шар взмыл над вечерним городом. Видны были костры на улице — их жгли беженцы. Отсветы костров падали красными бликами на массиво людей, сбиавшихся под защитой стен.

Напоследок шар поднялся еще выше.

Черным силуэтом виднелась на склоне осадная башня. Показывались факелы — там устанавливали катапульту. Белые освещенные изнутри шатры меченосцев на том берегу ручья казались призраками — 12 июля 1215 года заканчивалось. Теперь Анна знала, что городом Замосье правит отважный и непримиримый князь Вячко. И есть у него боярин Роман, человек с серьезным, узкогубым капризным лицом — чародей и алхимик, который через сутки погибнет и очнется в далеком будущем.

15.

Все случилось без свидетелей из будущего, ночью, когда Кин, Анна, Жюль, а главное, господин епископ Альберт и ландмейстер Фридрих спокойно спали. И это было очень обидно, потому что время, если уж ты попал в течение витка, необратимо. И никто никогда не увидит вновь, каким же образом это произошло.

...Первой проснулась Анна, наскоро вымылась и постучала к мужчинам.

— Лежебоки, — сказала она, — проспите решающий штурм.

— Встаем, — ответил Кин. — Уже встали.

— Я забегу пока к деду Геннадию, — благородно пожертвовала собой Анна. — Отлеку его. Но чтобы к моему возвращению князь Вячко был на боевом коне.

А когда Анна вернулась, с молоком, творогом, свежим хлебом, гордая своим подвижничеством, в доме царило разочарование.

— Посмотри, — сказал Жюль.

Шар был включен и направлен на склон. Там лениво догорала осадная башня — сюрреалистическое сооружение из громадных черных головешек. От катапульты осталась лишь ложка, нелепо уткнувшаяся в траву рукоятью. Вокруг стояли орденские ратники. С мостика через ручей на пожарище глядела орденская знать, окружившая епископа.

От ворот крепости до башни пролегли черные широкие полосы. В ручье — а это Анна увидела не сразу — лежали большие, в два человеческих роста, колеса, тоже черные, обгорелые — хотя тут же она поняла свою ошибку: у башни не могло быть таких больших колес.

— Они ночью все это сожгли! — сказала Анна. — И правильно сделали. Чего же расстраиваться?

— Жаль, что не увидели.

Кин быстро провел шар вниз, к ручью, близко пролетев над остовом башни, и затормозил над головами рыцарей.

— Спасибо за подарок, — медленно сказал епископ Альберт. — Вы не могли придумать ничего лучше в ночь моего приезда.

— Я еще в прошлом году советовал вам дать убежище чародею, — сказал ландмейстер. — Когда он бежал из Смоленска.

— Мы посылали ему гонца, — сказал один из приближенных епископа. — Он не ответил. Он укрылся здесь.

— Он предпочел служить дьяволу, — задумчиво сказал епископ. — И небо нашей рукой покарает его.

— Воистину! — сказал высокий худой рыцарь.

— Правильно, — согласился Фридрих фон Кокенгаузен. — Но мы не в храме, а на войне. Нам нужны союзники, а не слова.

— Дьявол нам не союзник, — сказал епископ. — Не забывайте об этом, брат Фридрих. Даже если он могуч.

— Я помню, святой отец.

— Город должен быть жестоко наказан, — сказал епископ громко, так, чтобы его слышали столпившиеся в стороне кнехты. — В любой момент может прийти отряд из Полоцка, и это нам не нужно. В Смоленске тоже смотрят с тревогой на наше усиление...

— Сюда идут литовцы, — добавил худой рыцарь.

— Если крепость не сдастся до заката, мы не оставим в ней ни одной живой души, — сказал епископ.

— И мессира Романа?

— В первую очередь. Лишь то знание может существовать, которое освящено божьей благодатью.

— Но если он умеет делать золото?

— Мы найдем золото без чернокожников, — сказал епископ. — Брат Фридрих и брат Готфрид, следуйте за мной.

16.

Внутри шатер был обставлен скромно. На утоптанном полу поверх рогож лежал ковер, стояли складные, без спинок, ножки крест-накрест, стулья, на деревянном возвышении свернутые на

день лежали шкуры, высокий светильник с оплывшими свечами поблескивал медью возле высокого сундука, обитого железными полосами. На сундуке лежали два пергаментных свитка.

Епископ знаком велел рыцарям садиться. Фридрих фон Кокенгаузен отстегнул пояс с мечом и положил его на пол у ног. Брат Готфрид установил меч меж ног и оперся руками в перчатках о его рукоять. Откуда-то выскользнул служка в черной сутане. Он вынес высокий арабский кувшин и три серебряные чарки. Брат Готфрид принял чарку, епископ и Фридрих отказались.

— Ты говоришь, брат Фридрих,— сказал епископ,— что мессир Роман и в самом деле посвящен в секреты магии?

— Я уверен в этом.

— Если мы не уйдем его завтра,— сказал брат Готфрид,— он с помощью дьявола может придумать нашу гибель.

— Я помню главное,— сказал Фридрих.— Я всегда помню о благе ордена. А мессир Роман близок к открытию тайны золота.

— Золото дьявола,— возразил мрачно Готфрид фон Гольм.

— Мессир Роман любит власть и славу,— заметил Фридрих.— Что может дать ему князь Вест?

— Почему он оказался здесь?— спросил епископ.

— Он дальний родственник князя,— сказал Фридрих.— Он был рожден от наложницы князя Бориса Полоцкого.

— И хотел бы стать князем?

— Не здесь,— улыбнулся брат Фридрих.— Не в этой деревне.

— Хорошо, что он смеет башню,— сказала Анна.— Иначе бы они не стали об этом говорить.

— Что случилось в Смоленске?— спросил епископ, перебирая в крепких пальцах янтарные четки с большим золотым крестом.

— Тамошний владыка — византиец. Человек недалекий. Он решил, что умение мессира Романа от дьявола. И поднял чернь...

— Ну прямо как наши братья,— улыбнулся вдруг епископ Альберт. Взглянул на Готфрида. Но тот не заметил иронии.— И куцесника пригрозил князь Вест?

— Он живет здесь уже третий год. Он затаялся. Он напуган. Ему некуда идти. В Киеве его ждет та же судьба, что и в Смоленске. На Западе он вызвал опасное возмущение короля Филиппа и гнев святой церкви. Я думаю, что он многое успел сделать. Свидетельством тому — гибель нашей башни.

— Воистину порой затмевается рассудок сильных мира сего,— сказал епископ.— Сила наша в том, что мы можем направить на благо заблуждения чародеев, если мы тверды в своей вере.

— Я полагаю, что вы правы,— согласился брат Фридрих.

— Сохрани нас господь,—сказал тихо брат Готфрид.—Дьявол вездесущ. Я своими руками открыл бы голову чародею.

— Не нам его бояться,—сказал епископ. Не поднимаясь со стула, он протянул руку и взял с сундука желтоватый лист, лежавший под свитками.—Посмотрите, это прислали мне из Замощья неделю назад. Что вы скажете, брат Фридрих?

Рыцарь Готфрид перекрестился, когда епископ протянул лист Фридриху.

— Это написано не от руки,—сказал Фридрих.—И в этом нет чародейства.

— Вы убеждены?

— Мессир Роман вырезает буквы на дереве, а потом прикладывает к доске лист. Это подобно печати. Одной печатью вы можете закрепить сто грамст.

— Великое дело, если обращено на благо церкви,—сказал епископ.—Божье слово можно распространять дешево. Но какая угроза в лапах дьявола!

— Так,—согласился брат Фридрих.—Роман нужен нам.

— Я же повторяю,—сказал брат Готфрид, поднимаясь,—что он должен быть уничтожен вместе со всеми в этом городе.

Его собеседники ничего не ответили, епископ чуть прикрыл глаза.

— На все воля божья,—сказал он наконец.

Оба рыцаря поднялись и направились к выходу из шатра.

— Кстати,—догнал их вопрос епископа,—чем может для нас обернуться история с польской княжной?

— Спросите брата Готфрида,—сказал Фридрих фон Кокенгаузен.—Это случилось неподалеку от замка Гольм, а летты, которые напали на охрану княжны, по слухам, выполняли его приказ.

— Это только слухи,—сказал Готфрид.—Только слухи. Сейчас же княжна и ее тетка томятся в плену князя Веста. Если мы освободим их, получим за них выкуп от князя Смоленского.

— Вы тоже так думаете, брат Фридрих? —спросил епископ.

— Ни в коем случае,—ответил Фридрих.—Не секрет, что князь Вячко отбил княжну у леттов. Нам не нужен выкуп.

— Я согласен с вами,—сказал епископ.—Позаботьтесь о девице. Как только она попадет к нам, мы тут же отправим ее под охраной в Смоленск. Как спасители. И никаких выкупов.

— Мои люди рисковали,—сказал Готфрид.

— Мы и так не сомневались, что это ваших рук дело, брат мой. Некоторые орденские рыцари полагают, что они всесильны. И это ошибка. Вы хотите, чтобы через месяц смоленская рать стояла под стенами Риги?

— Разумеется, Жюль,— сказал Кин,— начинай готовить аппаратуру к переходу. И сообщи домой, что мы готовы. Объект опознан.

Кин вытащил из шара шарик. Пошел к двери.

— Я с вами? — сказала Анна, о которой все забыли.

— Как вам угодно,— ответил Кин равнодушно.

Он быстро вышел в большую комнату. Там было слишком светло. Мухи крутились над вазочкой с конфетами. В открытое окно вливался ветерок, колыша занавеску. Анна подошла к окну и выглянула, почти готовая к тому, чтобы увидеть у ручья шатры меченосцев. Но там играли в футбол мальчишки, а далеко у кромки леса, откуда вчера вышло злосчастное стадо, пыхтел маленький трактор.

— Это портрет епископа? — спросила Анна, глядя, как пальцы Кина превращают шарик в пластинку.

— Нет, помните желтый листок бумаги, что показывал рыцарям епископ? Это первый в Европе типографский оттиск.— Он склонился над столом, читая текст.

— Читайте вслух,— попросила Анна.

— Варварская латынь,— сказал Кин.— Алхимический текст. Безопаснее было напечатать что-нибудь божественное. Зачем дразнить собак?... «Чтобы сделать эликсир мудрецов, возьми, мой брат, философической ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва... после этого накаливай сильнее, и она станет львом красным...»

Трактор остановился, из него выпрыгнул тракторист и начал копать в двигателе. Низко пролетел маленький самолетик По-2...

— «Кипяти красного льва на песчаной бане в кислом виноградном спирте, выпари получившееся, и ртуть превратится в камедь, которую можно резать ножом. Положи это в замазанную глиной реторту и очисти...»

— Опять ртуть — мать металлов? — спросила Анна.

— Нет,— сказал Кин,— это другое. «...Кимварийские тени покроют реторту темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, который пожирает свой хвост...» Нет, это не ртуть,— повторил Кин.— Скорее, это о превращениях свинца. Зеленый лев — окисел свинца, красный лев — сурик... камедь — уксусно-свинцовая соль... Да, пожалуй, так.

— Вы сами могли бы работать алхимиком,— сказала Анна.

— Да, мне пришлось прочесть немало абракадабры. Но в ней порой сверкали такие находки!..

— Вы сейчас пойдете туда?

— Вечером. Я там должен быть как можно меньше.

— Но если вас узнают, решат, что вы шпион.

— Сейчас в крепости много людей из ближайших селений, скрывшихся там. Есть и другие варианты.

Кин оставил пластинку на столе и вернулся в прихожую, где стоял сундук с одеждой. Он вытащил оттуда сапоги, серую рубашку с тонкой вышивкой у ворота, потом спросил у Жюль:

— Ну что? Когда дадут энергию?

— После семнадцати.

18.

— Знаете,— сказал Кин вечером, когда подготовка к переходу закончилась,— давай взглянем на город еще раз, время есть. Если узнаем, где он скрывает свою лабораторию, сможем упростить версию.

Шар завис над скопищем соломенных крыш.

— Ну-с,— сказал Кин,— где скрывается наш алхимик?

— Надо начинать с терема,— сказал Жюль.

— С терема? А почему бы не с терема?

Кин повел шар над улицей к центру города, к собору. Улица была оживленна, в лавках — так малы, что вдвоем не развернешься,— торговали одеждой, железным и глиняным товаром, люди смотрели, но не покупали. Народ толпился лишь у низенькой двери, из которой рыжий мужик выносил ковриги хлеба. Видно, голода в городе не было — осада началась недавно. Несколько ратников волокли к городской стене большой медный котел, за ними шел дед в высоком шлеме, сгорбившись под вязанкой дров. Всадник на вороном жеребце взмахнул нагайкой, пробиваясь сквозь толпу, из-под брюха коня ловко высочил карлик — княжеский шут, ощерился, прижался к забору, погрозил кулаком наезднику и тут же атиснулся в лавку, набитую горшками и мисками.

Кин быстро проскочил шаром по верхним комнатам, а в них — словно всех вымело метлой — лишь какие-то приживалки, сонные служки, девка с лоханью, старуха с клюкой... запустение, тишь...

— Эвакуировались они, что ли? — спросил Жюль, оторвавшись на мгновение от своего пульта, который сдержанно подмигивал, урчал, жужжал, словно Жюль вел космический корабль.

— Вы к звездам летаете? — спросила Анна.

— Странно,— не обратил внимания на вопрос Кин.

В небольшой угловой комнате, выглядевшей так, словно сюда в спешке кидали вещи — сундуки, тюки и короба, — удалось, наконец, отыскать знакомых. На невысоком деревянном стуле с высокой прямой спинкой сидела пожилая дама, накрыв ноги медвежьей шкурой. Готическая красавица в закрытом, опущенном беличьим мехом малиновом платье с серебряными ткаными цветами стояла у небольшого окошка, глядя на церковь.

Пожилая дама говорила что-то, и Жюль провел пальцами над пультом, настраивая звук. Кин спросил:

— Какой язык?

— Старопольский, — сказал Жюль.

— Горе, горе, за грехи наши наказание, — говорила, смежив веки, пожилая дама. — Горе, горе...

— Перестаньте, тетя, — отозвалась от окна девушка.

Накрашенное лицо пожилой женщины было неподвижно.

— Говорил же твой отец, подождем до осени. Как же так, как же так, меня, старую, в мыслях покалечило. Оставил меня господь своей мудростью... И где наша дружина и верные слуги... Тошно, тошно...

— Могло быть хуже. — Девушка дотронулась длинными пальцами до стоявшей рядом расписной прялки, задумчиво потянула за клочок шерсти. — Могло быть хуже...

— Ты о чем думаешь? — спросила старуха, не открывая глаз. — Смутил он тебя, рыжий черт. Грех у тебя на уме.

— Он князь, он храбрый витязь, — сказала девушка. — Да и нет греха в моих мыслях.

— Грешишь, грешишь... Даст бог, доберусь до Смоленска, умолю брата, чтобы наказал он разбойников. Сколько лет я дома не была...

— Скоро служба кончится? — спросила девушка. — У русских такие длинные службы.

— Наш обряд византийский, торжественный, — сказала старуха. — Я вот сменила веру, а порой мучаюсь. А ты выйдешь за княжича, перейдешь в настоящую веру, мои грехи замаливать...

— Ах, пустой разговор, тетя. Вы, русские, очень легковверные. Ну кто нас спасать будет, если все думают, что мы у леттов в плену. Возьмут нас меченосцы, город сожгут...

— Не приведи господь, не приведи господь! Страшен будет гнев короля Лешко.

— Нам-то будет все равно.

— Кто эта Магда? — спросила Анна. — Все о ней говорят.

— Вернее всего родственница, может, дочь польского короля Лешко Белого. И ехала в Смоленск... Давайте поглядим, не в церкви ли князь?

Перед раскрытыми дверями собора сидели увечные и нищие.

Шар проник сквозь стену собора, и Анне показалось, что она ощущает запах свечей и ладана. Шла служба. Сумеречный свет дрожал за спиной священника в расшитой золотом ризе. Его увеличенная тень покачивалась, застилая фрески — суровых чернобородых старцев, глядевших со стен на людей, наполнявших небольшой себёр.

Роман стоял рядом с князем, впереди, они были почти одного роста. Губы чародея чуть шевелились.

— Ворота слабые, — тихо говорил он князю. — Ворота не выдержат. Знаешь?

Князь поморщился:

— На улицах биться будем, в лес уйдем.

— Не уйти. У них на каждого твоего дружинника пять человек. Кольчужных. Ты же знаешь, зачем говоришь.

— Потому что тогда лучше бы и не начинать. Подумай еще чего. Огнем их сожги.

— Не могу. Припас кончился.

— Ты купи.

— Негде. Мне сере нужна. За ней ехать далеко надо.

— Тогда колдуй. Ты чародей.

— Колдовством не поможешь. Не чародей я.

— Если не чародей, чего тебя в Смоленске жгли?

— Завидовали. Попы завидовали. И монахи. Думали, я золото делаю...

Оба замолчали, прислушиваясь к священнику. Князь перекрестился, потом бросил взгляд на соседа.

— А что звезды говорят? Выстоим, пока литва придет?

— Боюсь, не дождемся. Орден с приступом тянуть не будет.

— Выстоим, — сказал князь. — Должны выстоять. А ты думай. Тебя первого вздернут. Или надеешься на старую дружбу?

— Нет у меня с ними дружбы.

— Значит, вздернут. И еще скажу. Ты на польскую княжну глаз не пль. Не по тебе товар.

— Я княжеского рода, брат.

— А она королевской крови.

— Я свое место знаю, брат, — сказал Роман.

— Хитришь. Да бог с тобой. Только не вздумай бежать. И чародейство не поможет. Ятаягов за тобой пошлю.

— Не грози, — сказал Роман. — Мне идти пора.

— Ты куда? Поп не кончил.

— Акиплешу на торг посылал. Ждет он меня. Работать надо.

— Ну иди, только незаметно.

Роман повернулся и стал осторожно проталкиваться назад. Князь поглядел вслед. Он улыбался, но улыбка была недоброй. Роман скрылся в полутьме.

Кин вывел шар из собора, и тот завис над папертью, где ждали конца службы, ежились под сумрачным мокрым небом каляки и нищие. Роман быстро вышел из приоткрытых дверей. Посмотрел на площадь. Там ковылял шут, прижимая к груди глиняную миску и розовый обожженный горшок.

— Тебя за смертью посылать,— сказал Роман.

— Не бей меня, дяденька,— заверещал шут скалясь.— Гости позакрывали лавки — врага ждут, придет немец, снова торговать начнут. Что гостю? Мы на виселицу, а он — веселиться.

Роман крупным шагом пошел через площадь. Шут за ним, прихрамывая, горбясь. Миновали колодец, коновязь, завернули в узкий, двоим не разойтись, закоулок. В конце его, у вала, в заборе была низкая дверца. Роман ударил три раза кулаком. Открылся глазок. Потом медленно растворилась дверь. Там стоял стражник в короткой кольчуге, кожаной шапке и длинных штанах. Он отступил в сторону, пропуская Романа. Тесный двор, заросший травой, несколько каменных глыб, окружавших выжженную яму... Роман по деревянным мосткам пересек двор, поднялся на крыльцо приземистого бревенчатого дома на каменном фундаменте. Отворил дверь, потянув за кольцо, вставленное в медную морду льва.

В горнице Роман сбросил плащ на руки подбегавшему красивому чернобровому отроку.

— Ты чего ждешь? — спросил он шута.

Шут поставил на пол миску, взялся за скобу в полу, потянул на себя крышку люка — обнаружился ход в подвал. Роман спустился первым. За ним шут и чернобровый отрок.

Обширный подвал освещался из окошек под самым потолком. На полках стояли горящие плошки с жиром. Огоньки отражались от реторт, банок мутного, грубого стекла, от глиняных мисок, медных сосудов, соединенных металлическими и стеклянными трубками... В низкой с большим зевом печи горел огонь, возле нее стоял обнаженный по пояс жилистый мужчина в кожаном фартуке. Он обернулся к вошедшим.

— Остужай понемногу,— сказал Роман, заглянув в печь.

Шут заглянул в печь из-под локтя чародея и сказал:

— Давно пора студить.

— Знаем,— сказал мужчина. У него были длинные усы, черные близко посаженные глаза. Редкие волосы падали на лоб, и он все время отводил их за уши.

— Скоро орден на приступ пойдет,— сказал Роман.

— Остудить не успеем,— ответил тот.— А жалко.

— Студи,— сказал Роман.— Неизвестно, как судьба повернется. У меня нет сил в который раз все собирать и строить.

— А ты, дяденька, епископу в ноги поклонись,— сказал шут.— Обещай судьбу узнать, золота достать. Он и пожалеет.

— Суeta и скудоумие,— сказал Роман.

— По-моему, что скудоумие, что многоумие — все непепица, умами чиниться — ума не надо,— сказал шут. Подошел к длинному, в пятнах столу, налил из одной склянки в другую — пошел едкий дым.

Роман отмахнулся, морщась. Жилистый мужик отступил к печи.

— Ты чего,— возмутился Роман.— Отравить нас хочешь?

— А может, так и надо? Ты девицу полюбил, а тебе не положено, я склянку вылил, а мне не положено, князь епископу перечит, а ему не положено. Вот бы нас всех и отправить на тот свет?

— Молчи, дурак,— сказал Роман устало,— лучше бы приворотного зелья накапал, чем бездельничать.

— Нет,— воскликнул шут, подбегая к столу, запрокидывая голову, чтобы ближе поглядеть на Романа.— Не пойму тебя, дяденька, и умный ты у нас, и славный на всю Европу — на что тебе княжна? Наше дело ясное — город беречь, золото добывать, место знать.

— Молчи, смерд,— сказал Роман.— Мое место среди королей и князей. И по роду, и по власти. И по уму!

Отрок глядел на Романа влюбленными глазами неофита.

— Сделанное, передуманное не могу бросить. Во мне великие тайны хранятся — недосказанные, неоконченные.— Роман широким жестом обвел подвал.

— Значит, так,— сказал шут, подпрыгнув, посмеиваясь, размахивая склянкой, бесстыжий и наглый,— значит, ты от девицы отказываешься, дяденька, ради этих банок-склянок? Будем дома сидеть, банки беречь. Пока ландмейстер с мечом не придет.

— Но как все сохранить,— прошептал Роман, уперев кулак в стол.— Скажи, как спасти? Как отсрочку получить?

— Не выйдет, дяденька. Один осел хотел из двух кормушек жрать, как эллины говорили, да с голоду помер, не придумал, с какой начать.

Роман достал с полки склянку.

— Ты все помнишь?

— Если девице дать выпить три капли, на край света пойдет. Дай сам отопью. Романа полюблю, ноги ему целовать буду, замуж за него пойду...

Отрок хихикнул и тут же смеялся под взглядом Романа.

— Хватит, бесовское отродье! — взорвался чародей. — Забыл, что я тебя из гнилой ямы выкупил?

— Помню, дяденька, — сказал шут. — Ой как помню!

— Все-таки он похож на обезьяну, — сказала Анна. — На злую обезьяну. В нем есть что-то предательское.

— Боярин! — сказал жилистый мужчина. — А что с огненным горшком делать?

— Это сейчас не нужно, Мажей, — сказал Роман.

— Ты сказал, что меня пошлешь, — сказал Мажей. — Божие дворяне весь мой род вырезали. Не могу забыть. Ты обещал.

— Господи! — Роман сел на лавку, ударился локтями о столешницу, схватил голову руками. — Пустяки это все, суета сует!

— Господин, — сказал Мажей с тупой настойчивостью. — Ты обещал мне. Я пойду и убью епископа.

— Неужели не понимаешь, — почти кричал Роман, — ничем мы город не спасем! Не испугаются они, не отступят, их аплятеро больше, за ними сила, орден. Европа, Магдебург, папа... Конрад Мазовецкий им войско даст, датский король ждет не дождется. Вы же темные, вам кажется, что весь мир вокруг нашего городка сомкнулся! Я и башню жечь не хотел... Вячко меня прижал. Лучше смириться, ордену кровь не нужна, орден бы князю город оставил... Неужели вам крови мало!

— Ты заговорил иначе, боярин, — сказал Мажей. — Я с тобой всегда был, потому что верил. Может, я других городов не видел — наши литовские городки по лесам раскиданы, но пока орден на нашей земле, мне не жить. Мы орден не звали.

— Бороться тоже надо с умом, — стукнул кулаком по столу Роман. — Сегодня ночью они на приступ пойдут. Возьмут город, могут не пощадить. Если мы поднимем руку на Альберта — они всех нас вырежут. И детей, и баб, и тебя, шут, и меня...

— Я убью епископа, — сказал Мажей.

— А я, дяденька, — сказал шут, — с тобой не согласен. Овцы добрые, а овца волки кушают.

— Молчи, раб! — озлился Роман. — Я тебя десятый год кормлю и спасаю от бед. Если бы не я, тебя бы уж трижды повесили.

— Правильно, дяденька, — вдруг рассмеялся шут. — Зато я иногда глупость скажу, умные не догадаются. Рабом я был, рабом умру, зато совесть мучить не будет.

— Чем болтать, иди к княжне, — сказал Роман жестко. — Дашь ей приворотное зелье. Так, чтобы старуха не заметила.

— И это гений, — вздохнула Анна.

— А что? — спросил Кин.

— Верить в приворотное зелье...

— Почему же нет? И в двадцатом веке верят.

— Иду,— сказал шут,— только ты к немцам не убеги.

— Убью. Ты давно это заслужил.

— Убьешь, да не сегодня. Сегодня я еще нужен. Только зря ты епископа бережешь. Он тебе спасибо не скажет.

Шут подхватил склянку и ловко вскарабкался вверх.

Мажей вернулся к печи, помешал там кочергой, долго молчал. Роман прошелся по комнате.

— Нет,— сказал он сам себе.— Все не так. Как устал я от глупости человеческой.

Отрок присел у стены на корточки. Роман вернулся к столу.

— Может, посмотреть за шутом? — спросила Анна.

— Мне сейчас важнее Роман,— сказал Кин.

— Поди сюда, Глузд,— сказал Роман, не оборачиваясь.

Отрок легко поднялся, сделал шаг и тут же обернулся.

Роман резко поднял голову, посмотрел туда же.

Вскочил из-за стола. Мажея в комнате не было.

Роман одним скачком бросился за печку. Там оказалась низкая, массивная дверь. Она была приоткрыта.

— Глузд, ты чего смотрел? Мажея сбежал!

— Куда сбежал? — не понял отрок.

— Он же с горшком сбежал. Он же епископа убить хочет! —

Роман толкнул дверь, заглянул внутрь, хлопнул себя по боку, где висел короткий меч, выхватил его из ножен и скрылся в проходе.

Отрок остался снаружи, заглянул в ход, и Анна увидела, что его спина растет, заполняет экран. Стало темно — шар пронзил отрока, пронесся в темноте, и темнота казалась бесконечной, как кажется бесконечным железнодорожный туннель, а потом наступил сиреневый дождливый вечер. Они были метрах в ста от крепостного вала в низине, заросшей кустарником. Между низиной и крепостью медленно ехали верхом два немецких ратника, поглядывая на городскую стену. На угловой башне покачивались шлемы стражников.

Вдруг в откосе низины образовалась черная дыра — откинулась в сторону дверь, покрытая снаружи дерном. В проеме стоял Роман. Он внимательно огляделся. Дождь усилился и мутной сеткой скрывал его лицо. Никого не увидев, Роман отступил в черный проем, потянув за собой дверь. Перед глазами был поросший кустами откос. И никаких следов двери.

Кин вернул шар в подвал, на мгновение обогнав Романа.

Отрок, так и стоявший в дверях подземного хода, отлетел в сторону — Роман отшвырнул его, метнулся к столу. Отрок

подошел, остановился сзади. Роман рванул к себе лист пергамента и быстро принялся писать.

— Стучат,— сказал Кин,— Анна, слышишь?

В дверь стучали.

Роман свернул трубкой лист, протянул отроку.

Анна сделала усилие, чтобы вернуться в двадцатый век.

— Закрой дверь,— быстрым шепотом сказал Кин.— И хоть умри, чтобы никто сюда не вошел. Мы не можем прервать работу. Через полчаса я уйду в прошлое.

— Есть, капитан,— сказала Анна также шепотом.

От двери она оглянулась. Кин следил за шаром. Жюль — за приборами. Они надеялись на Анну.

Отрок Глузд взял трубку пергамента, слушал, что говорил ему Роман.

За дверью стоял дед Геннадий. Этого Анна и боялась.

— Ты чего запираешься? — сказал он.— По телевизору французский фильм показывают из средневековой жизни. Я за тобой.

— Ой, у меня голова болит! — сказала Анна.— Совершенно не могу из дома выйти. Легла уже.

— Как легла? — удивился Геннадий.— Воздух у нас свежий, с воздуха и болит. Хочешь, горчишники поставлю?

— Да я же не простужена. У меня голова болит, устала.

— А может, по рюмочке? — спросил дед Геннадий.

Анна не могла пустить деда в сени, где на полу остались следы трудовой деятельности Жюля.

— Нет, спасибо, не хочется.

— Ну тогда я пошел,— сказал дед, не делая ни шагу.— А то французский фильм начинается. Эти не возвращались? Реставраторы?

— Нет. Они же на станцию уехали.

— А газика-то сначала не было, а потом взялся. Удивительное дело. Здесь разве газик проедет?

— Они с холма приехали.

— Я и говорю, что не проедет. Но люди приятные, образованные. Изучают наше прошлое.

— Я пойду, лягу. Можно?

— Иди, конечно, разве я держу, а то фильм начинается. Если хочешь, приходи, я смотреть буду.

Наконец, дед ушел. Анна не стала дожидаться, пока он скроется за калиткой — бросилась обратно в холодную горницу.

За время ее отсутствия сцена в шаре изменилась.

Она представляла собой верхний этаж терема, в угловой комнате была лишь польская княжна Магда. Анна не сразу увидела, что на полу, скрестив ноги, сидит шут.

— Я слышала шум,— сказала Магда.— Начался приступ?

— А что им делать? Пришли к обеду, значит, ложку подавай. А если блюдо пустое да они голодные...

— Ты где научился польскому языку, дурак?

— Мотало шапку по волнам,— ухмыльнулся шут,— сегодня здесь, а завтра там.

— Это правда, что твой хозяин сжег орденскую башню?

— Он и десять башен сжечь может. Было бы что жечь.

— Он чародей?

— И что, вам, бабам, в чародеях? Где горячо — туда пальчики тянете. Обожжетесь.

— Везде огонь,— сказала княжна. Она вдруг подошла к шуту, села рядом с ним на ковер. И Анна поняла, что княжна очень молода, ей лет восемнадцать.

— Я в Смоленск ехать не хотела,— сказала она.— У меня дома котенок остался.

— Черный? — спросил шут.

— Серый, такой пушистый. И ласковый. А потом нас летты захватили. Пана Тадеуша убили. Зачем они на нас напали?

— Боярин говорит, что их немцы послали.

— Мой отец письмо епископу писал. Мы же не в диких местах живем. А в Смоленске стены крепкие?

— Смоленск никто не тронет. Смоленск — великий город,— сказал шут.— Нас с боярином Романом оттуда так гнали, что мы даже бумаги забрать не успели. И печатный станок наш сожгли.

— Какой станок?

— Чтобы молитвы печатать.

— Боярин Роман с дьяволом знает?

— Куда ему! Если бы дьявол за него был, разве бы он допустил, чтобы монахи нас в Смоленске пожгли?

— Дьявол хитрый,— сказала княжна.

— Не без этого,— сказал шут.— Люб тебе наш боярин?

— Нельзя так говорить. Я в Смоленск еду, там меня замуж отдадут. За княжьего сына, Изяслава Владимировича.

— Если доедешь,— сказал шут.

— Не говори так! Мой отец рыцарям друг. Он им землю дал.

— А ночью кто разберется?

— Князь Вячко их в город не пустит. Он смелый ентязь.

— Ребенок ты, ну прямо ребенок.— Шут поднялся и подошел к столу.— Это квас у тебя?

— Мне тоже дай напиток,— сказала, легко поднимаясь с ковра, девушка.

Шут вдруг резко обернулся, взглянул на дверь.

— Пить, говоришь, хочешь?

— А ну-ка,— сказал Кин и метнул шар к двери, пронзил ее, и в узком коридоре Анна увидела прижавшегося в угол Романа.

— Он ее любит,— сказала Анна.

— Этого нам еще не хватало,— сказал Жюль.

— А тетка ее ругала за склонность к князю, помните?

— Помню,— сказал Кин, возвращая шар в комнату. Как раз в тот момент, когда шут, ловко, фокусником, плеснул из склянки в кубок приворотное зелье. Протянул девушке.

— Спасибо. Ты не уходи, Акиплеша. Мне страшно одной.

— Все,— сказал Кин.— Пора собираться.

19.

— Как вы думаете,— сказала Анна, пока Кин подбирал с кровати рубаху и сапоги,— тот литовец убьет епископа?

— Нет,— сказал Кин.— Епископ умрет лет через пятнадцать. Жюль проверь, чтобы ничего не оставалось в сенях.

— А вы не вернетесь?— вдруг Анна поняла, что представление заканчивается. Последнее действие — похищение чародея. И занавес. Зрители покидают зал. Актеры заранее собрали рекевизит и переезжают в другой городок.

— Если все обойдется,— сказал Кин сухо,— то не вернусь. Жюль перебросит нас домой. Дед Геннадий приходил!

Анна кивнула.

— Сварить кофе!

— Только себе и Жюлю,— сказал Кин,— перед переброской лучше не есть. Я завтра утром позавтракаю. Дома...

— Все-таки этот шут мне неприятен,— сказала Анна.— Девушка ничего не подозревает...

— Он его раб,— сказал Кин.— Роман его спас от смерти. Но приворотного зелья не существует. Это уже доказано наукой.

— Не знаю,— сказала Анна.— Вы же сами говорите, что Роман — универсальный гений. Может, придумал. Были же раньше разные секреты.

— Я буду переодеваться,— сказал Кин.— И боюсь вам помешать. Вы хотели сделать кофе.

— Конечно,— сказала Анна.— Хотела.

Она разожгла плиту — хорошо, что взяла с собой молотого кофе,— эти пришельцы, конечно, не подумали, что будут кормиться три дня. Дармоеды. Тунеядцы. Анна была страшно сердита. И поняла почему. Ее присутствие терпели, как присутствие деда Геннадия. А чего ты ждала, голубушка? Что тебя пригласят на экскурсию в будущее? Чепуха, ты просто ни о чем не думала, а решила, что бесплатное развлечение будет длиться вечно... Кин

за перегородкой чем-то загремел. Интересно, он берет с собой оружие?

— Ну как? — спросил Кин.

Анна обернулась. В дверях кухни стоял обросший короткой бородой мужик из тринадцатого века, зажиточный, крепкий, меч сбоку, кольчуга под накидкой, на шее странный обруч — в виде серебряной змеи. Был этот мужик пониже ростом, чем Кин, пошире его в плечах, длинные пегие волосы собраны тесемкой.

— Я бы вас никогда не узнала, — сказала Анна.

— Спасибо, — сказал Кин.

— А почему змея?

— Это уж. Я литовский воин, из охраны Романа.

— Но они же друг друга знают.

— Сейчас темно. Я не буду соваться на передний план.

— А я кофе сварила, — сказала Анна.

— Кофе? Будьте так любезны, налейте Жюлю.

Жюль уже собрал один из пультов, закрыл чемодан и вынес в прихожую. Сам вернулся к пульту связи.

— Жюль, — сказала Анна. — Выпей кофе.

— Спасибо, девочка, — сказал Жюль, — поставь на столик.

Анна поставила чашку под выключенный шар. Если не нужна, лучше не навязываться. В прихожей ее догнал голос Жюля.

— Мне жаль будет, что я вас больше не увижу, — сказал он. — Такая у нас работа.

— Такая работа, — улыбнулась Анна, оборачиваясь к нему. Она была ему благодарна за живые слова.

Кин стоял на кухне, прихлебывал кофе.

— Вам же нельзя! — не удержалась Анна.

— Конечно, лучше не пить. Только вот вам не осталось.

— Ничего, я себе еще сварю.

— Правильно, — сказал Кин.

19.

Выход в прошлое чуть было не сорвался. Они все стояли в прихожей, над чемоданами и ящиками. И снова раздался стук в дверь.

— Кто? — спросила Анна.

— У тебя все в порядке? — спросил дед Геннадий.

— А что?

— Голоса слышу, — сказал дед.

Кин метнулся в кухню. Жюль закрылся в задней комнате. Анна медлила с засовом.

— У меня радио,— сказала она.— Радио я слушала. Я уже опять легла.

— Спать легла, а свет не тушишь,— проворчал дед.— Я тебе анальгин принес.

— Зачем мне анальгин?

— От головной боли, известное дело. Разве не жаловалась?

Пришлось открыть. На улице дул сырой ветерок. Яркая луна освещала шляпу деда. Дед постарался заглянуть за спину Анны, но в прихожей было темно. Пачка таблеток была теплой, нагрелась от ладони деда.

— Беспокоюсь я за тебя,— сказал он.— Вообще-то у нас места тихие, разбойников, понятно, нет, ничем им интересоваться, но какое-то к тебе есть опасное притяжение.

— Я не боюсь. Спасибо за лекарство. Спокойной ночи.

Анна быстро захлопнула дверь, решив, что, если дед обидится, у нее будет достаточно времени с ним поладить... Дед еще постоял на крыльце, повздыхал, потом заскрипели ступеньки. Кин подошел к окну в прихожей — дед медленно брел по тропинке.

— Спасибо, Анна, не знаю, что бы мы без тебя делали,— сказал Кин.

— Не лицемерьте. Он приходит именно потому, что я здесь. Не было бы меня, он бы и не заподозрил.

— Вы правы,— сказал Кин.

Он прошел, мягко ступая по половицам, в холодную комнату.

Кин включил шар и повел его из горницы польской княжны, сейчас темной, наружу, через залитую дождем площадь, мимо коновязи, где переминались мокрые кони, мимо колодца, в закоулок, к дому Романа. За забором, во дворе шар опустился к земле и замер. Кин выпростал руки из столика, перешел в другой угол комнаты, где стояла тонкая металлическая рама, под ней блестящая платформочка, похожая на напольные весы. Воздух в раме чуть колебался.

— Давай напряжение,— сказал Кин.

— Одну минуту,— сказал Жюль.— Дай я уберу вещи, а то потом будет некогда отвлекаться.

Сзади Анны зашуршало, щелкнуло. Она обернулась и увидела, как исчез один чемодан — с лишней одеждой, потом второй, с пультом. Прихожая опустела.

Кин вступил в раму. Жюль подвинул табурет поближе к шару и натянул на левую руку черную перчатку.

— Начинается ювелирная работа,— сказал он.

Кин бросил взгляд на Анну, как ей показалось, удивленный — он словно не понял, с кем разговаривает Жюль.

— Не оталекайся,— сказал он.

Шар был обращен в пустой двор. Под небольшим навесом у калитки съежился, видно дремал, стражник, похожий на Кина.

— Чуть ближе к сараю,— сказал Кин.

— Не ушибись,— сказал Жюль,— желаю счастья.

Кин поднял руку. Раздалось громкое жужжание, словно в комнату влетел пчелиный рой. И Кин исчез.

20.

И тут же Кин возник во дворе. Осознать этот переход оказалось нетрудно, потому что Кин был одет соответственно тому времени и месту.

Он вышел из тени сарая—на дворе стояла такая темень, что можно было лишь угадывать силуэты. Слабый свет выбивался из щели двери в сарай, Кин скользнул туда, чуть приоткрыл дверь—лучина освещала низкое помещение, на низких нарах играли в кости два стражника. Кин пошел к воротам. Стражник у ворот был неподвижен.

В тот момент, когда Кин был совсем рядом со стражником, три раза ударили в дверь—по ту сторону забора стоял Роман, у его ног спорбленной собачонкой—шут Акиппеша.

Стражник вздохнул, поежился во сне. Кин быстро шагнул к воротам, выглянул, узнал Романа и отодвинул засов.

— Ни черта не видно,— проворчал Роман.

— Я до двери провожу,— сказал Кин.— За мной идите.

— В такую темень можно уйти,— сказал Роман шуту.— По крайней мере часть добра мы бы вынесли.

— А дальше что?— спросил шут.— Будешь, дяденька, по лесу склянки носить, медведей кормить?

— Не спеши, в грязь попаду,— сказал Роман Кину. Он шел по деревянным мосткам, держась за край его плаща.

Анна вдруг хмыкнула.

— Ты чего?— спросил Жюль.

— Знал бы Роман, что коллегу за полу держит.

— Лучше, чтобы не знал,— серьезно ответил Жюль.

— Ты зачем подсматривал, дяденька?— спросил шут.— Не поверил, что дам любезной зелье?

— Она придет ко мне?

— Кого поумней меня спроси!

Заскрипели ступеньки крыльца.

Дверь, отворившись, обозначила силуэты людей. Кин сразу отступил в сторону. Донесся голос шута:

— Что-то этого ратника не помню.

— Они все на одно лицо,— сказал Роман.

В щель двери видно было, как шут откинул люк в подвал. Заглянул внутрь. Выпрямился.

— Мажей не возвращался,— сказал он.

Голос его вдруг дрогнул. Анна подумала, что и шуты устанут быть шутами.

— Лучше будет, если он не вернется,— сказал Роман.

— Разум покидает тебя, боярин,— сказал шут жестко.— Мажей верно служил тебе много лет.

— Город не выстоит, даже если вся литва придет на помощь.

— Если погибнет епископ, будет справедливо.

— И рыцари отомстят нам жестоко. Мы погибнем.

— Мы выиграем день. Придет литва.

— Я думаю о самом главном. Я на пороге тайны. Еще день, неделя, месяц — и секрет философского камня у меня в руках. Я стану велик... Князья государства и церкви будут у моих ног... Никто не посмеет отобрать у меня Магдалену.

— Дурак,— сказал спокойно шут,— умный, а дурак, хуже меня. Епископ...

— А что, епископу золото не нужно? Власть не нужна? Епископ будет беречь меня, как золотую птицу.

— Но в клетке, дяденька.

— Условия будут мои.

— Птичка в клетке велела хозяину щи подавать?

— Будут подавать. Как миленькие.

— Рыцари прихлопнут тебя, не станут разбираться...

— Епископ знает, что я здесь. Не даст меня в обиду.

— И ты его поэтому бережешь?

— Это правда. Не ради меня — ради великой тайны.

— Ой, боярин, загляни себе в душу. Разве не страшно?

— Страшно, страшно... страшно!

— Тогда беги! Все бросай.

Роман вдруг выхватил нож.

— Я убью тебя!

— Нельзя! — крикнул шут. С неожиданной ловкостью он перепрыгнул через открытый люк, перед слабо освещенным зевом которого остановился Роман. Ухмылка не исчезла с его лица. Он бросился наружу. Кин еле успел отшатнуться.

На крыльце шут остановился, будто не понимая, почему там оказался, потом нахохлился, голова ушла в широкие плечи.

— Дождик,— сказал он,— дождик какой... До конца света дождик... Жизни нет, правды нет, один дождик.

Заскрипели ступеньки. Шут вышел во двор...

Кин стоял посреди верхней горницы. Роман спустился в подвал, но люк остался открытым.

Кин осторожно заглянул в люк, и шар, повиснув над ним, глядел туда же.

Роман стоял у стола, постукивая концами пальцев по его краю. Вдруг он вздрогнул. Он увидел, что у потухшей печи, мокрый, замерзший, стоит отрок.

— Ты что же молчишь? — спросил Роман.

— Я не догнал его, — сказал отрок.

— Я и не ждал, что ты его догонишь. А там ты был?

— Я был, — сказал отрок.

— Что сказали?

— Сказали, в час после полуночи.

— Ты грейся, грейся, — сказал Роман. — Потом поможешь мне.

— Бьет меня дрожь, — сказал отрок. — Орден нас примет?

— Ты не бойся. Меня везде знают. Меня в Венеции знают.

И в Магдебурге, и в Майнце знают... меня убить нельзя...

В этот момент все и случилось.

Шар висел над самой головой Кина. Поэтому сначала было непонятно, кто нанес Кину удар сзади. На мгновение изображение в шаре исчезло, затем возникло удивленное лицо Кина, который пытался обернуться, и тут же потерял равновесие и рухнул в люк, медленно сползая в подвал по ступеням лестницы.

— Стой! Он же разобьется!

Сверху мелькнул аркан — за секунду шут успел достать и метнуть его так, что веревка охватила Кина за плечи в полуметре от пола подвала и остановила падение. Затем безжизненное тело Кина опустилось на пол. Подняв шар, Жюль увидел над люком шута с арканом в одной руке, с дубиной — в другой.

Роман и отрок отшатнулись от люка, замерли.

Роман первым сообразил, в чем дело.

— Кто? — спросил он.

— Он мне с самого начала не понравился — нет у нас такого в стражниках. У меня, знаешь, какая память на лица. Подслушивал. Думаю, епископский лазутчик.

Глаза Кина были закрыты.

— Ты его не убил? — спросил Роман.

— У нас, литовцев, голова железная, — сказал шут.

— Что же делать? — сказала Анна. — Они его убьют. Ну сделай что-нибудь, Жюль, миленький! Вытащи его обратно.

— Без его помощи не могу.

— Так придумай.

— Да погоди, ты! — огрызнулся Жюль. — Ты думаешь, он на прогулку пошел? Выпутается. Обязательно выпутается. Ничего...

— Надо его допросить,— сказал Роман.

— Только возьми у него... это.

Шут нагнулся, выхватил у Кина меч, арканом стянул руки.

В этот момент в люке показалось лицо другого стражника.

— А, Йовайла,— сказал шут.— Ты этого земляка не признаешь?

— Нет,— ответил тот быстро.— За воротами князь.

— Этого еще не хватало,— сказал Роман.— Акиплеша, убери, быстро, быстро, ну! Глузд, помоги ему!

Они оттащили Кина в сторону, в тень, Роман бросил сверху ворох тряпья... Сцена была зловещей — тени метались по стенам, сплетались, будто в драке.

Князь быстро спустился вниз, ступени прогибались, за ним — в двух шагах — ятяг в черной куртке и красном колпаке.

Князь был в кольчуге, короткий плащ промок, прилип к кольчуге, рыжие волосы взъерошены. Князь был зол:

— Орден на приступ собрался, лестницы волокут... Как держаться, ворота слабые, людей мало. Ты чего здесь таишься?

— Какая от меня польза на стене? Я здесь нужнее.

— Ты думай. Нам бы до завтра продержаться. Роман, почему на башнях огненной воды нет?

— Кончилась, княже.

— Чтобы была! Не отстоим город — первым помремь.

— Князь, я твоего рода, не говори так. Я все делаю...

— Не знаю, никому не верю. Как плохо — никого нет. Где Владимир Полоцкий? Где Владимир Смоленский, где Мстислав Удалой? Владимир Псковский? Где рати? Где вся Русь?

— Я приду на стену, брат,— примирительно сказал Роман.

— Тут у тебя столько зелья заготовлено!

— Это, чтобы золото делать.

— Мне сейчас золото не нужно — ты мне самородок дашь, я его на голову епископу брошу. Ты мне огонь дай, огонь!

— Я приду на стену, брат.

Кин пошевелился под тряпьем, видно, застонал, потому что князь метнулся к куче тряпья, взметнулись к потолку черные тени,— Кин был без сознания.

— Кто такой? Почему литовца связал?

— Чужой человек,— сказал Роман.— В дом ко мне пробрался. Не знаю, может, орденский лазутчик.

— Убей его,— князь вытащил меч.

Анна прижала ладони к глазам.

— Нет,— услышала она голос Романа.— Я его допросить должен. Иди, князь, я приду. Сделаем огонь — придем.

— Ты,— сказал князь ятягу,— останешься здесь.

— Лишнее, князь,— сказал Роман.

— Сейчас я никому не верю. Понял. Тебе не верю тоже.— Князь отпустил рукоять меча.— Нам бы до завтра продержаться.

Князь, не оборачиваясь, быстро поднялся по лестнице. Остановился, взглянув в подвал сверху. И ему видны были темные тени, неровно освещенные желтым светом лица, блеск реторт и трубок. Князь перекрестился, потолок над головами закинувших головы чародея и его помощников заколебался, вздрогнул от быстрых и тяжелых шагов уходившего князя Вячко.

— Вся литовская рать не спасет его,— тихо сказал Роман.

Он сделал шаг к Кину, посмотрел внимательно на его лицо.

Ятяг — за его спиной — тоже смотрел на Кина, холодно и бесстрастно — для него смерть и жизнь были лишь моментами в бесконечном чередовании бытия и небытия.

— Дай чего-нибудь ятягу, опои его,— сказал Роман.

— Он заговорил по-латыни,— заметил Жюль.

— Не все ли равно! — воскликнула Анна.

Ятяг отступил на шаг, он был настороже.

— Не будет он пить,— сказал шут.— Он верный, как пес.

Кин открыл глаза. Помотал головой, поморщился от боли.

— Ничего,— сказал Жюль.— Мы не с такими справлялись.

— Пистолет бы ему. Почему он не взял оружия!

— Он не имеет права никому причинить вреда.

— Даже если это грозит ему смертью?

— Мы готовы к этому,— сказал Жюль.

— Ты кто? — спросил Роман, склоняясь к Кину.

Кин молчал, глядел на Романа.

— Он не понимает по-немецки,— сообщил шут.

— Без тебя, дурак, вижу, наверно, притворяется.

— Так прибай его, и дело с концом,— сказал шут.

— А вдруг его прислал епископ?

— Другого пришлет,— сказал шут.— С языком.

— Подлец,— сказала Анна сквозь зубы.

— Спроси его по-литовски,— сказал Роман.

— Ты что здесь делаешь? — спросил шут.

— Я пришел из Тракая,— сказал Кин.— Я своих увидел.

— Врешь,— сказал шут.

— Что он говорит?

— Врет,— сказал шут.— Убить его надо, и дело с концом.

Кин постарался приподняться.

Ятяг кошачьим, мягким движением выхватил саблю.

— Погодите,— сказал Кин.— Мессир Роман, у меня к вам важное дело.

— Он знает латынь? — вырвалось у Романа.

— Боярин,— сказал отрок.— Время истекает.

— Время? — повторил ятвяг.— Князь ждет. Идите на башню.

— Сейчас,— сказал Роман.— Ты говоришь, что знаешь меня?

— Я принес вести из Бремена,— сказал Кин.— Я не могу сказать сейчас. Я скажу наедине. Развяжите меня.

— Нет,— сказал Роман.— Даже если ты не врешь, ты останешься здесь. Я не верю тебе.

— Время истекает,— сказал отрок.

— О чем он все время повторяет? — спросил шут.

— Он должен встретиться с одним человеком.

Ятвяг положил на левую ладонь лезвие сабли, словно любясь ее тусклым блеском.

— Князь сказал,— повторил он,— пора идти.

— С тобой пойдет Акиплеша,— сказал Роман.— Он все знает.

— Князь сказал,— повторил ятвяг, и в словах его была угроза.

Анна увидела, что Роман сделал какой-то знак отроку, и тот, чуть заметно кивнув, двинулся вдоль стены в полутьме. Кин лежал с открытыми глазами. Внимательно следил за людьми в подвале. Чуть пошевелил плечами.

— Он снимет веревки,— прошептал Жюль, будто боялся, что его услышат,— главное — снять веревки.

Ятвяг тоже внимательно следил за тем, что происходит вокруг, словно чувствовал неладное.

— Цезарь,— сказал шут,— не бери греха на душу.

— Ты никогда не станешь великим человеком,— ответил Роман, делая шаг к столу, чтобы отвлечь внимание ятвяга,— наше время не терпит добрых. Ставка слишком велика. Ставка — жизнь и великая магия. Ты! — крикнул он неожиданно ятвягу. И замахнулся кулаком. Ятвяг непроизвольно вскинул саблю.

И в этот момент блеснул нож отрока — коротко, смутно, отразившись в ретортах. И ятвяг сразу выпустил саблю, бессмысленно и безнадежно стараясь увидеть источник боли, достать закинутыми за спину руками вонзившийся в спину нож... и упал на бок, сдвинув тяжелый стол. Реторта с темной жидкостью вздрогнула, и Роман метнулся к столу и подхватил ее.

— Как я испугался... — сказал он.

Шут смотрел на ятвяга.

— Плохо вышло,— сказал шут.— Ой, как плохо вышло...

— Скажем князю, что он ушел. Вытащи его наверх — и за сарай. Никто ночью не найдет.

— Кровь,— сказал шут.— И это есть знание?

— Ради которого я отдам свою жизнь, а твою — давно,— сказал Роман.— Тащи, он легкий.

Шут стоял недвижно.

— Слушай,— сказал Роман.— Я виноват, я тебя всю жизнь другому учил... я тебя учил, что жизнь можно сделать хорошей. Но нельзя не бороться. За науку бороться надо, за счастье... иди, мой раб. У нас уже нет выхода. И грех на мне.

Шут нагнулся и взял ятяга за плечи. Голова упала назад, рот приоткрылся в гримасе.

Шут поволок его к лестнице. Отрок подхватил ноги убитого.

— Я больше не могу,— сказала Анна.— Это ужасно.

— Это не конец,— сказал Жюль. Он приблизил шар к лицу Кина, и тот, словно угадав, что его видят, улыбнулся краем губ.

— Вот видишь,— сказал Жюль.— Он справится.

В голосе Жюля не было уверенности.

— А нельзя вызвать к вам на помощь? — спросила Анна.

— Нет,— коротко ответил Жюль.

Шут с отроком втащили труп наверх. Роман окликнул отрока:

— Глузд! Вернись.

Отрок сбегал по лестнице вниз.

— Мне не дотащить,— сверху показалось лицо шута.

— Дотащи до выхода — позовешь Йовайлу. Спрячете — тут же иди на стену. Скажешь, что я — следом.

Отрок стоял посреди комнаты. Он был бледен.

— Устал, мой мальчик? Тяжела школа чародея?

— Я послушен, учитель,— сказал юноша.

— Тогда иди. Помни, что должен завязать ему глаза.

Отрок открыл потайную дверь и исчез за ней.

Роман поглядел на большие песочные часы, стоявшие на полке у печи. Песок уже весь высыпался. Он пожал плечами, перевернул часы и смотрел, как песок сыплется тонкой струйкой.

— Второй час пополуночи,— сказал Кин,— скоро начнет светать. Ночи короткие.

— Да? — Роман словно вспомнил, что не один в подвале.— Ты для меня загадка — литовец. Или не литовец? Лив? Эст?

— Разве это важно, чародей? — спросил Кин.— Я ученик Бертольда фон Гоца. Ты слышал это имя?

— Я слышал это имя,— сказал Роман.— Но ты не знаешь, что Бертольд уже два года как умер.

— Это пустой слух.

Дверь качнулась, отворилась, и из подземного хода появился отрок, ведя за руку высокого человека в монашеском одеянии с капюшоном, надетым на лоб, и с темной повязкой на глазах.

— Можете снять повязку,— сказал Роман.— У нас мало времени.

Монах снял повязку и передал отроку.

— Я подчинился условиям,— сказал он.— Я тоже рисковую жизнью.

Анна узнала ландмейстера Фридриха фон Кокенгаузена. Рыцарь прошел к столу и сел, положив на стол железную руку.

— Как рука? — спросил Роман.

— Я благодарен тебе,— сказал Фридрих.— Я могу держать ею щит.— Он повернул рычажок на тыльной стороне железной ладони. Пальцы сжались, словно охватили древко копья.— Спасибо. Епископ выбрал меня, потому что мы с тобой давнишние друзья,— сказал Фридрих.— И ты доверяешь мне. Расскажи, почему ты хотел нас видеть?

— Вы поймали литовца, который украл у меня горшок с огненной смесью?

— Да,— коротко сказал Фридрих.— Он хотел убить епископа?

— Зелье могло разорвать на куски сто человек,— сказал Роман.

Жюль опять повернул шар к Кину, и Анна увидела, как Кин медленно движет рукой, освобождая ее.

— А это кто? — рыцарь вдруг резко обернулся к Кину.

— Я тебя хотел спросить,— сказал Роман.— Он уверяет, что он ученик Бертольда фон Гоца.

— Это ложь,— сказал рыцарь.— Я был у Бертольда перед его смертью. Нас, причастных к великой тайне магии и превращения элементов, так мало на свете. Я знаю всех его учеников... Он лжет. Кстати, погляди, сейчас он освободит руку.

— Черт! — выругался Жюль.— Как он заметил?

Роман с отроком тут же бросились к Кину.

— Ты прав, брат,— сказал Роман Фридриху.— Спасибо тебе. Кин был неподвижен.

— Это первый человек, который развязал узел моего шута.

— И поэтому его надо убить,— сказал рыцарь.

Роман подхватил из-за стола толстую веревку и надежно скрутил руки Кина.

— погоди,— сказал Роман.— Он говорит по-латыни не хуже нас с тобой и знает имя Бертольда. Скоро вернется мой шут и допросит его. Он допросит его как надо, огнем.

— Как хочешь,— сказал Фридрих.— Я слышал, что ты близок к открытию тайны золота.

— Да,— сказал Роман.— Я близок. Но это долгая работа. Это будет не сегодня. Я беспокоюсь за судьбу этого делания.

— Только ли делания?

— И меня. И моих помощников.

— Чем мы тебе можем быть полезны?

— Ты знаешь чем — ты мой старый знакомый. Ты потерял руку, когда в твоём замке взорвалась реторта, хоть и говоришь, что это случилось в битве с сарацинами.

— Допустим, — сказал рыцарь.

— Мне главное — сохранить все это. Чтобы работать дальше.

— Похвально. Но если наши пойдут завтра на штурм, как я могу обещать тебе безопасность?

— И не только мне, брат, — сказал Роман. — Ты знаешь, что у нас живет польская княжна?

Шар опять приблизился к Кину. Губы Кина шевельнулись, и шар передал его шепот:

— Плохо дело. Думай, Жюль...

Жюль кивнул, словно Кин мог увидеть его. И обернулся к Анне — может, искал сочувствия?

— Если ты уйдешь, я не справлюсь с машиной? — спросила Анна.

— Нет, моя девочка, — сказал Жюль тихо. — Тебе не вытянуть нас.

Роман и рыцарь подняли головы.

— Кто-то идет, — быстро сказал Роман отроку. — Задержи его. Я вернусь. — Рыцарь тяжело встал из-за стола и опустил капюшон.

— Завязать глаза? — спросил Фридрих.

Роман махнул рукой.

— Я выйду с тобой. Скорей.

Потайная дверь закрылась за рыцарем и Романом.

Шут спустился по лестнице.

— Где хозяин? — спросил он.

— Не знаю, — сказал отрок.

— Убежал к орденским братьям? Нет, он один не убежит. Ему все это нужно... это его золото... Это его власть и слава.

21.

— Жюль, — сказала Анна. — Я знаю, что сделать.

— Да? — Жюль снова увеличил лицо Кина. Кин смотрел на шута.

— Я похожа на Магду. Ты сам говорил, что я похожа на Магду.

— Какую еще Магду? — В гусарских глазах Жюля была тоска.

— Польскую княжну, Магдалену.

— Ну и что?

— Жюль, я пойду туда. Вместо нее.

— Ты что, с ума сошла? Не говори глупостей. Тебя узнают. Мне еще не хватало твоей смерти. И куда мы княжну денем?

— Да слушай спокойно. Жюль, милый, у нас с тобой нет другого выхода. Время движется к рассвету. Кин связан и бессилен.

— Замолчи. И без твоих идей тошно.

— Все очень просто. Ты можешь меня высадить в любом месте?

— Конечно.— Он пожал плечами.

— Тогда высади меня в спальне княжны. Это единственный выход. Сообрази, наконец. Если я не проберусь к Кину в ближайшие минуты, он погибнет. Я уж не говорю, что провалится все ваше дело. Кин может погибнуть. И мне это не все равно!

— Ты хочешь сказать, что мне все равно? Ты что думаешь, Кин первый? Думаешь, никто из нас не погибал?..

Из окошка тянуло влажным холодом — погода в двадцатом веке тоже начала портиться. Брехали собаки. Анна вдруг почувствовала себя вдвое старше Жюля.

— Не в этом дело! Веди шар! Будь мужчиной, Жюль! Вы уже посвятили меня в ваши дела...

— Да, но...— Жюль замаялся.— Слишком уж нарушаем прошлое.

— Переживем! Вспомни: Кин лежит связанный.

Жюль несколько секунд сидел неподвижно. Затем резко обернулся, оценивающе посмотрел на Анну.

— Может получиться так, что я не смогу за тобой наблюдать.

— Не теряй времени. Веди шар в терем. Мне же надо переодеться.

— Погоди, может быть...

— Поехали, Жюль, миленький!

Анну охватило лихорадочное нетерпение, будто предстоял прыжок с парашютом, и было страшно, но страх опоздать с прыжком был еще сильнее.

Шар покинул дом Романа, пронесся над крышей. Краем глаза Анна увидела огоньки на стенах и далекое зарево. Впереди был терем.

Шар завис в коридоре, медленно пополз вдоль темных стен. Анна подошла к раме, хотела шагнуть, потом опомнилась, начала торопливо стаскивать кофту...

— Все чисто,— сказал Жюль.— Можно.

— Постой,— крикнула Анна.— Я же не могу там оставлять одежду...

Княжна спала на низком сундуке с жестким подголовником, накрывшись одеялом из шкур. Одинокая плешка мерцала на столе. По слюде окна стекали мутные капли дождя.

Шар закружился по комнате, обожегал углы, остановился перед задней, закрытой дверью...

— Учти, что там спит ее тетка,— сказал Жюль. Потом другим голосом, изгнав сомнения:

— Ладно. Теперь слушай внимательно. Момент переноса не терпит ошибок.

Жюль поднялся, достал из пульты плоскую облатку чуть поменьше копеечной монетки, прижал ее под левым ухом Анны. Облатка была прохладной, чмокнув, она присосалась к коже.

— Чтобы вернуться, ты должна замкнуть поле. Для этого дотронешься пальцем до этой... присоски. И я тебя вытяну. Будешь там приземляться — чуть подогни ноги, чтобы не было удара.

Польская княжна повернулась во сне, шевельнулись ее губы. Рука упала вниз — согнутые пальцы коснулись пола.

Анна быстро шагнула в раму. Платформа холодом тронула босые ноги. И сейчас же закружилась голова, и началось падение — падение в глубь времени, бесконечное и страшное, потому что не за что было уцепиться, некому крикнуть, чтобы остановили, удержали, спасли, и не было голоса, не было верха и низа, была смерть или преддверие ее, и в голове крутилась одна мысль — зачем же ей не сказали? Не предупредили? Зачем ее предали, бросили, оставили, ведь она никому плохого не сделала! Она еще так молода, она не успела пожить... Жалость к себе одолела слезной немощью, болью в сердце, а падение продолжалось и вдруг прервалось: подхватило внутренности, словно в остановившемся лифте, и Анна открыла глаза...

Твердый пол ударил снизу по ступням.

Анна проглотила слюну.

Круглая плешка с плавающим в ней фитилем горела на столе. Рядом стоял стул с прямой высокой спинкой. Запах плохо выделанных шкур, печного дыма, горелого масла, пота и мускуса ударил в ноздри... Анна поняла, что она в другом веке.

Сколько прошло времени? Час или больше?.. Нет, это ложное ощущение — ведь Кин проскочил в прошлое почти мгновенно: ступил в раму и оказался во дворе Романа. А вдруг машина испортилась и ее путешествие в самом деле затянулось? Нет, на низком сундуке спит польская княжна, рука чуть касается пола.

— Раз, два, три, четыре, пять,— считала про себя Анна, чтобы мысли вернулись на место. Жюль сейчас видит ее в шаре. Где же

шар? Наверное, чуть повыше, над головой, и Анна посмотрела туда, где должен был висеть шар, и улыбнулась Жюлю — ему сейчас хуже всех. Он один. Ах ты, гусар! из двадцать седьмого века, тебе, наверно, влетит за ископаемую девчонку...

Теперь надо действовать. И поживей. В любой момент может начаться штурм города. Анна поглядела в небольшое, забранное слюдой окошко, и ей показалось, что в черноте ночи она угадывает рассветную синеву.

Платье Магдалены лежало на табурете рядом с сундуком, невысокие сапожки без каблуков валялись рядом.

Анна прислушалась. Терем жил ночной жизнью — скрипом половиц, шуршанием мышей на чердаке, отдаленным звоном оружия, окриком караульного у крыльца, шепотом шаркающих шагов... Княжна забормотала во сне. Было душно. В тринадцатом веке не любили открывать окон.

Громко зашуршало платье княжны. Надевать его пришлось снизу — выше талии оно скреплялось тесемками. В груди платье жало — ладно, потерпим. Теперь очень важно — платок. Его нужно завязать так, чтобы скрыть волосы. Где шапочка — плоская с золотым обручем? Анна взяла плоску, посветила под столом, в углу — нашла шапочку. Сейчас бы зеркало, — как плохо отправляться в прошлое в такой спешке. «Наряд нам должен быть к лицу, — подумала Анна, — но как жаль, что информацию об этом придется черпать из чужих глаз». Конечно, у княжны где-то есть зеркальце на длинной ручке, как в сказках, но нет времени шарить по чужим сундукам. Анна сунула ногу в сапожок. Сапожок застрял в щиколотке — ни туда, ни сюда. За перегородкой кто-то заворочался. Женский голос спросил по-русски:

— Ты чего, Магда? Не спишь.

Анна замерла, ответила не сразу.

— Сплю, — сказала она тихо.

— Спи, спи, — это был голос тетки. — Может, дать чего?

Тетка тяжело вздохнула.

Анна отказалась от мысли погулять в сапожках. Ничего, платье длинное. Как жаль, что дамы в то время не носили вуаль... Впрочем, наша трагедия проходит при тусклом искусственном освещении; тут и в родной маме можно усомниться. Анна осмотрелась в последний раз, — может, забыла что-нибудь? Легонько подняла руку княжны и положила на сундук — чтобы не затекала. Подумала, что сейчас Жюль, наверное, обругал ее последними словами. Что за ненужный риск! Анна ощущала странную близость, почти родство с девушкой, которой в голову не могло бы прийти, что ее платье надела на себя другая, та, которая будет жить через много сот лет...

— Ничего,— прошептала она, старательно шевеля губами, чтобы Жюль видел,— она спит крепко.

Анна скользнула к двери— сильно закрипело в соседней комнате, и голос окончательно проснувшейся тетки сообщил:

— Я к тебе пойду, девочка, не спится мне, тревожно...

Анна потянула к себе дверь. Дверь не поддавалась. Голые ступни коснулись половиц— как все слышно в этом доме!— тетка уронила что-то. Шлеп-шлеп-шлеп— ее шаги. Проклятое кольцо в львиной пасти— это старый колдун дед Геннадий во всем виноват... Анна догадалась повернуть кольцо. Сзади тоже отворялась дверь, но Анна не стала оглядываться,— нагнувшись, чтобы не расшибить голову, юркнула в темень коридора. За дверью бубнил голос тетки.

22.

Первый человек, который попался Анне, был стражник у входа в терем. Он стоял у перил крыльца, глядя на зарево, трепетавшее за стеной города, прислушивался к далекому шуму на стенах.

Стражник оглянулся. Это был пожилой мужчина, кольчуга его была распорота на груди и кое-как стянута кожаными ремешком.

— Что горит?— спросила Анна, не давая ему поразмыслить, чего ради польская княжна разгуливает по ночам. Впрочем, стражнику было не до нее: ощущение нависшей угрозы овладело всеми горожанами.

— Стога горят— на болоте. Я так думаю.

Дождь почти прекратился, зарево освещало мокрые крыши, но переулки за площадью тонули в темноте. Отсюда, с крыльца, все выглядело не так, как в шаре, и Анна заколебалась— куда идти. Может, потому, что холодный ветер, несущий влагу, звуки и дыхание города заставили все воспринимать иначе. Перед ней был уже не телевизор.

— Погоди, боярышня,— сказал стражник, только сейчас сообразив, что полька собирается в город.— Время неладное гулять.

— Я вернусь,— сказала Анна.

Ее тень, тонкая, зыбкая, длинная, бежала перед ней по мокрой земле площади.

— Если на стене будешь,— крикнул вслед ратник,— погляди, это стога горят или что?

Анна миновала колодец, площадь сузилась,— собор казался розовым. Здесь от главной улицы должен отходить проулок к

дому Романа. Анна сунулась туда — остановилась. Она больше не была наблюдателем и стала частью этого мира.

Ууу,— загудело впереди, словно какой-то страшный зверь надвигался из темноты. Анна метнулась в сторону, налетела на забор. Рев — или стон — становился громче, и Анна, не в силах более таиться, бросилась обратно к терему — там был стражник.

Из переулка возник страшный оборванный человек, одну руку он прижимал к глазам, и между пальцами лилась кровь, во второй была сучковатая палка, которой он размахивал, удручающе воя — однообразно, словно пел. Анна побежала к терему, скользя по грязи и боясь крикнуть, боясь привлечь к себе внимание. Пьяные, неверные, угрожающие шаги человека с дубиной приближались, к ним примешивался мерный грохот, топот, крики, но нигде было спрятаться, и куда-то пропал, как в кошмаре, стражник у крыльца — крыльцо было черным и пустым — и терем был черен и пуст.

Рычание преследователей вдруг перешло в крик — визг — вопль — и оборвалось. Ветром подхватило, чуть не сбило Анну с ног — мимо пронеслись теньями с огненными бликами на лицах всадники Апокалипсиса — ятяги, окружившие князя Вячко, передние с факелами, от которых брызгами летели искры.

Анна обернулась — неясным пятном, почти не различишь, лежал убитый. Терем вдруг ожил, осветился факелами, выбежали стражники. Князь соскочил с коня. Ятяги не спешили, крутились у крыльца.

— Кто там был? — спросил князь.

— Пьяный, которым овладели злые духи, — ответил ятяг.

— Хорошо. Не хватало еще, чтобы по городу бегали убийцы. Ты и ты, зовите боярина Романа. Если не пойдет, ведите силой.

— Позовем. — Анне из темноты у забора видна была усмешка ятяга.

Всадники одновременно хлестнули коней, промелькнули совсем близко от Анны и пропали. Значит, там и есть нужный ей закоулочек. Она слышала, как топот копыт оборвался, прозвучал резкий гортанный голос, который ударился о заборы, покатился обратно к улице, и Анна представила себе, как запершиеся в домах жители прислушиваются к звукам с улицы, всей кожей ощущая, что настала последняя ночь...

Князь Вячко вошел в терем. Ятяги соскакивали с седел, вели поить коней.

Анна колебалась — идти или не идти. А вдруг примчатся обратно ятяги с Романом? Но Роман мог не вернуться из подземного хода. А если он решит убить Кина? Время тянулось, как песок из-под пальцев, бежали минуты. Нет, ждать больше нельзя. Она

сделала шаг за угол, заглянула в короткий проулок. Ворота распахнуты. Один из ятвягов стоял снаружи, у ворот, держал коней.

И тотчас в воротах блеснуло пожаром. Шел стражник Романа с факелом. Роман шагал следом. Он спешил. Ятвяги вскочили на коней и ехали чуть сзади, словно стерегли пленника. Роман был так бледен, что Анне показалось — лицо его фосфоресцирует. Она отпрянула — человек с факелом прошел рядом. И тут же — глаза Романа, близко, узнающие...

— Магда! Ты ко мне?

— Да, — сказала Анна, прижимаясь к стене.

— Дождется, — сказал Роман, — пришла, голубица.

— Торопись, боярин, — сказал ятвяг. — Князь гневается.

— Йовайла, проводи княжну до моего дома. Она будет ждать меня там. И если хоть один волос упадет с ее головы, тебе не жить!... Дождись меня, Магдалена.

Ятвяг дотронулся рукоятью нагайки до спины чародея.

— Мы устали ждать, — сказал он.

Свет факела упал на труп сумасшедшего.

— Магда, я вернусь, — сказал Роман. — Ты дождешься?

— Да, — сказала Анна. — Дождусь.

— Слава богу, — ответил Роман. Уходя, он оглянулся — убедиться, что стражник подчинился приказу. Стражник, не оборачиваясь, шел по переулку, крикнул:

— Ворота не закрывайте, меня обратно послали. — И добавил что-то по-литовски. Из ворот выглянуло лицо другого стражника.

«Нет худа без добра», — подумала Анна. Не надо думать, как войти в дом. Он ждал, он был готов увидеть княжну. И увидел.

23.

Стражник проводил Анну до дверей. Литовцы смотрели на нее равнодушно. Она шла, опустив глаза.

Заскрипели доски настила, стражник взошел на крыльцо, толкнул дверь и что-то крикнул внутрь.

Анна ждала. Заревало как будто уменьшилось, зато с противоположной стороны небо начало светлеть, хотя в городе было еще совсем темно.

Изнутри донеслись быстрые шаги, и на порог выбежал, хромая, шут. Он остановился, всматриваясь.

— Пани Магда! — Кажется, он не верил своим глазам.

— Пан Роман, — сказала Магда, — велел мне ждать его.

— Не может быть, — сказал шут. — Ты должна спать. Ты не должна была сюда приходить. Ни в коем разе! Пока ты в тереме.

он не убежит, неужели не понимаешь? Почему ты не спишь? Ты же выпила зелье! Ах, теперь ты в его руках...

Анна подумала, что о зелье ей, Магде, знать не положено. Но выразить интерес нужно.

— Какое зелье? — спросила она.

— Ступай, княжна, — сказал шут. — Не слушай дурака. Иди, сыро на улице стоять...

Он протянул слишком большую для его роста руку, и Анна послушно, держась за его сухие пальцы, прошла в горницу.

Люк в подвал был закрыт. До Кина всего несколько шагов.

— Сюда иди, — сказал шут, открывая дверь во внутренние покои. Но Анна остановилась на пороге.

— Я подожду здесь, — сказала она.

— Как хочешь, — Шут был удручен. — И зачем ты пришла... Кто разбудил тебя?

— Я пришла сама, — сказала Анна.

— Неужели я ошибся... это же зелье, от которого сама не проснешься...

«Он дал ей снотворного? Ах ты, интриган!» — чуть-чуть вырвалось у Анны. Вместо этого она улыбнулась и спросила:

— А где же твой хозяин занимается чародейством? Здесь? Или в задней комнате?

Она прошла по комнате, топая голыми пятками.

— Разве это так важно? — спросил шут. — Это уже не важно. Ты говоришь по-русски. Но странно. Говор у тебя чужой.

— Ты забыл, что я воспитана в Кракове?

— Воспитана? Чужое слово, — сказал шут. — Ты говоришь странные слова.

Крышка люка приподнялась. Шут проворно обернулся. Голова отрока появилась в люке.

— Ты чего, Глузд?

— Тот, литвин, бьется... боюсь я его. Погляди, Акиплеша.

— Прирежь его, — спокойно ответил шут.

— Нет! — вырвалось у Анны. — Как можно? — Она сделала шаг к открытому люку. — Как ты смеешь!.. — Она почти кричала: только бы Кин понял, что она рядом.

Шут ловко извернулся, встал между люком и Анной.

— Тебе туда нельзя, княжна, — сказал он. — Не велено.

— Эй! — раздался снизу зычный голос Кина. — Развяжи меня, скоморох. Веди к князю. Я слово знаю!

— Знакомый голос, — сказала Магда. — Кто у тебя там?

— Не твоё дело, госпожа.

— Раб! — воскликнула она. — Смерд! Как ты смеешь перечить! — Анна не боялась сказать какое-нибудь слово, которого они

не знали. Она иностранка и не имела иного образования, кроме домашнего.

И в голосе образованной москвички конца двадцатого века вдруг зазвучали такие великокняжеские интонации, что Жюль, напряженно следивший за происходящим из деревенской комнаты, усмеялся...

— С дороги! — крикнула Анна. — Посмотрим, что скажет боярин, когда узнает о твоём сговоре.

И шут сразу сник. Словно ему стало все равно — увидит Магда пленника или нет...

Анна величественно отстранила отрока и спустилась вниз в знакомое ей скопление реторт, горшков, медных тиглей — неведомых предвестников химической науки. Сильно пахло серной кислотой. Кин следил, прислонившись к стене. Анна мигнула ему, Кин нахмурился и проворчал сквозь зубы:

— Еще чего не хватало.

— Так вот ты где! — возмущенно заговорила княжна, глядя на Кина. — Почему саязан? Что они с тобой сделали?

— Госпожа, — сообразил Кин. — Я плохого не делал. Я пришел к господину Роману от вас, но меня никто не слушает.

Анна обернулась. Отрок стоял у лестницы, шут — на ступеньках. Оба внимательно слушали.

— Do you speak English? *

— A little **.

Анна вздохнула с облегчением.

— Нам нужно их убедить, — продолжала она по-английски.

— Молодец, — сказал Кин. — Как прикажете, госпожа.

— Развяжи его, — приказала Анна отроку.

— Сейчас, госпожа, — сказал он робко. — Сейчас, но... Господин...

— Господин сделает все, что я велю.

Отрок оглянулся на шута. Тот спустился в подвал, сел за стол.

— Делай, — мрачно сказал он, — господин выполнит все, что она скажет.

— Где ваш возлюбленный? — спросил Кин по-английски.

— Не смейтесь. Я честная девушка. Он с князем. Они обсуждают вопросы обороны.

Кин поднялся, растирая затекшие пальцы.

— Я пошел. Мне надо быть с ним. А вам лучше вернуться.

— Нет, я останусь. Роман просил меня остаться. Я могу помочь вам, когда вы вернетесь.

* Вы по-английски говорите?

** Немного.

— В случае опасности вы знаете, что делать?

— Разумеется, — сказала Анна по-русски. — Иди к Роману, береги его. — Она обернулась к отроку. — Проводи моего слугу до выхода. Чтобы его не задержали стражники.

Отрок взглянул на шута. Тот кивнул. Отрок последовал за Кином. Шут сказал:

— *Thy will releaseth him from the fetters* *.

Анна опешила.

— Ты понимаешь этот язык?

— Я бывал в разных краях, княжна, — сказал шут. — С моим господином. Мы, рабы, скрываем свои знания...

«Не может быть, — подумала Анна, — он не мог все понять. Ведь семь веков прошло, язык так изменился».

24.

— Здесь вы добываете золото? — спросила Анна.

Печь совсем прогорела, лишь под пеплом тлели красные угольки.

— Мой господин, — сказал шут, — делает угодное богу.

— Верю, верю, — сказала Анна. — А правда, что он изобрел книгопечатание?

— Не ведаю такого слова, госпожа, — сказал шут. Он подошел к тлеющим углям и протянул к ним свои большие руки.

— Ты помогаешь господину?

— Когда он позволяет мне. А зачем тебе и твоему человеку мой господин? — спросил карлик.

— Я не поняла тебя.

— Вы говорили на языке, похожем на язык саксов. Твой человек побегал за моим господином.

— Ты боишься за него?

— Я боюсь страха моего господина. И его любви к тебе. Он забывает о других. Это приведет к смерти.

— Чьей смерти?

— Сегодня смерть ждет всех. Когда хватаешься за одно, забываешь о главном.

— Что же главное? — Анна хотела прибавить: раб или дурак, но поняла, что не хочет играть больше в эту игру.

— Главное? — Шут повернулся к ней, единственный его глаз был смертельно печален. — Ты чужая. Ты не можешь понять.

— Я постараюсь.

* Твоя воля отпустила его из оков (староангл.).

— Сейчас божьи дворяне пойдут на приступ. И никому пощады не будет. Но коли я догадался верно, если боярин Роман ходил наружу, чтобы договориться с божьими дворянами, как спастись и спасти все это... коли так, главное пропадет.

— Но ведь остается наука, остается его великое открытие.

— Ты, княжна, из знатных. Ты никогда не голодала, тебя не пороли, не жгли, не рубили, не измывались... тебе ничего не грозит. Тебя никто не тронет — ни здесь, ни в тереме. А вот все эти люди, те, что спят или не спят, тревожатся, пьют, едят, плачут на улицах, — их убьют. И это неважно моему господину. И это неважно тебе — их мука до вас не долетит.

Карлик, освещенный красным светом углей, был страшен.

Вот такими были первые проповедники средневековой справедливости, такие шли на костры. Люди, которые поняли, что каждый достоин жизни, и были бессильны.

— Ты не прав, шут.

— Нет, прав. Даже сейчас в твоих добрых глазах и в твоих добрых речах нет правды. Тебе неизвестно, есть ли у меня имя, есть ли у меня слово и честь. Шут, дурак...

— Как тебя зовут?

— Акиплеша — это тоже кличка. Я забыл свое имя. Но я не раб! Я сделаю то, чего не хочет сделать Роман.

— Что ты можешь сделать?

— Я уйду подземным ходом, я найду в лесу литвинов, я скажу им, чтобы спешили.

— Ты не успеешь, Акиплеша, — сказала Анна.

— Тогда я разрушу все это... все!

— Но это жизнь твоего господина, это дело его жизни.

— Он околдовал тебя, княжна! Кому нужно его дело, мое дело, твое дело, коль изойдут кровью отроки и младенцы, жены и мужи — все дети христовы? Но я не могу разрушать...

Шут вскарабкался на стул, сел, ноги на весу, уронил голову на руки, словно заснул. Анна молчала, смотрела на широкую горбатую спину шута. Не поднимая головы, глухо, он спросил:

— Кто ты, княжна? Ты не та, за кого выдаешь себя.

— Разве это так важно, Акиплеша?

— Рассвет близко. Я знаю людей. Дураки наблюдательны. Мой господин нас предаст, и я не могу остановить это.

— Скажи, Акиплеша, твой господин в самом деле такой великий чародей? Выше королей церкви и земных князей?

— Слава его будет велика, — сказал шут. — И короли придут к нему на поклон. Иначе я не связал бы с ним мою жизнь.

— А что ты мог сделать?

— Я мог убежать. Я мог уйти к другому хозяину.

— Ты так в самом деле думал?

— Не раз. Но кому нужен хромоу урод? Кому я докажу, что во мне такое же сердце, такая же голова, как у знатного?

— Роман это знает?

— Роман это знает. Господь одарил его умом и талантом.

— А тебя?

— Роман знает мне цену.

— И все?

— А что еще? Что еще нужно рабу и уроду?

— Ты ненавидишь его? Ты... ты ревнуешь меня к нему?

Шут откинулся от стола, расхохотался, исказив гримасой и без того изуродованное лицо.

— Тебя? К нему? У меня один глаз, этого хватает, чтобы понять, что княжна Магда спокойно спит в тереме. Ты даже не смогла натянуть ее сапожки, ты не очень осторожна. И голос тебя выдает. И речь. Но не бойся. Роман не догадается. Он видит лишь свою любовь, он сам ею любит. Ты птица в небе, сладость несказанная — потому ты и нужна ему. Мало ему власти на земле, он хочет и птах небесных приручить... Он примет тебя за Магду, оттого что хочется ему принять тебя за Магду, тетенька! Он умный, а в приворотное зелье верит!

— Так ты вместо приворотного сделал сонное?

— А ты чего хотела? Нельзя же было, чтобы она бежала сюда. Потому я так тебе изумился. Зелье-то испробованное. Я с ним два раза из оков уходил. Даже из замка Крак.

— Как ты попал туда?

— Известно как — за ворожбу. За глупость.

— Мне странно, что ты раб, — сказала Анна.

— Иногда мне тоже... Господь каждому определил место. Может, так и надо... так и надо.

— Ты опасный раб. Ты не дурак, а притворщик.

— Нет, дурак. Только без нас, дураков, умники передохнут от своего ума и от скуки... Да вот и они...

Роман спустился по лестнице первым.

— Вы почему здесь? — спросил он. — Почему не провел госпожу в покои? — Он дотронулся до плеча Анны.

Кин и отрок спустились следом. Кин поклонился Магде. Роман кинул на него взгляд и спросил:

— Верно, что он с тобой, княжна?

— Он всегда со мной, — сказала Анна твердо. — Я посылая его к тебе, чтобы он берег тебя. И он будет беречь тебя.

— Я рад, — сказал Роман. — И все обойдется. Все обойдется! Мы сделаем, как нам нужно. Орден уже подступил к стенам.

— Как? — Шут помрачнел. — Уже приступ?

— Они в ста шагах, и они идут к воротам. Литвы все нет...

— А почему ты пришел сюда? — спросил шут. — У нас с тобой нет здесь огня и мечей. Наше место на стенах... Со всеми.

— Глупо молвишь, — сказал Роман, снова подходя к Анне и беря ее пальцы. Ладонь Романа была влажной и горячей. — Города будут погибать, и люди будут умирать, но великое знание остается навеки. Забудь о мелочах, и не по чину тебе об этом думать, — закончил Роман сухо, как будто вспомнив, что шут ему не товарищ, а только слуга.

Шут, взглянув на Анну, ответил:

— Я свое место знаю, дяденька.

Далеким шум донесся до подземелья — нашел путь сквозь заборы, стены и оконца крик многих людей, слившихся в угрожающий рев, и ответом ему были разрозненные крики и стон внутри города. Сейчас же откликнулся колокол на площади — уныло, часто, словно сжатое страхом сердце, он бился, взывая к милости божьей.

Все замерли, прислушиваясь. Роман быстро подошел к сундуку в углу комнаты, проверил замок.

— Помогите! — сказал он. Шуту и налег на сундук, толкая его в глубь подвала.

— Мы убежим? — спросил отрок.

— Нет, — сказал Роман.

— Ты будешь биться? — спросил шут.

— Да, да, — сказал Роман. — Не твое дело... Ступай погляди, как на стенах. Может, твой меч там пригодится?

— Не пойду, — сказал шут.

— Не убегу я, не бойся.

— Я другого боюсь, — сказал шут.

— Чего же? Говори.

— Измены боюсь.

— Дурак, и умрешь по-дурацки, — сказал Роман, берясь за рукоять ножа.

— Все-таки убьешь меня? — Шут был удивлен.

— Когда раб неверен, — сказал Роман, — его убивают.

— Не смейте! — вскричала Анна. — Как вам не стыдно.

— Стыд? — Шут начал карабкаться по лестнице.

— Ты куда? — спросил Роман.

— Посмотрю, что снаружи, — сказал шут. — Погляжу, держат ли ворота...

Он исчез, и Роман обернулся к Кину, но передумал, посмотрел на отрока.

— Иди за ним, — сказал он. — Пригляди...

— Чего? — не понял отрок.

— Чтобы он ни к кому из княжских людей не подошел. К князю чтоб не подошел... а впрочем, оставайся. Он не успеет.

Роман был деловит, сух и холодец. Он кинул взгляд на песочные часы. Потом обвел глазами тех, кто оставался в подвале.

— Княжна Магда,— сказал он.— Душа моя, поднимись наверх. Иди в задние покои. И не выходи оттуда. Ни под каким видом. А ты,— сказал он Кину,— смотри, чтобы не вышла.

— Роман,— сказала Анна.— Мой человек останется с тобой. Я ему верю больше, чем другим людям.

— Будь по-твоему,— Роман улыбнулся, удивительна была эта добрая, счастливая улыбка.— Спасибо. С тобой пойдет Глузд.

— Иди,— сказал Кин.— Боярин прав. Иди, княжна, туда, где безопасно. Больше тебе здесь делать нечего.

Анна поднялась по лестнице первой. Сзади топал отрок. Отрок устал, лицо его осунулось, он был напуган. Звон и крики неслись над городом, и когда голова Анны поднялась над полом, шум оглушил, ворвавшись в высокие окна верхней горницы... И еще Анна успела увидеть, как метнулся к выходу шут,— оказывается, он кикуда не уходил. Он подслушивал. Может, это и к лучшему. Может, ей в самом деле пора дотронуться до присоски под ухом...

Она направилась к задним покоям. Отрок обогнал ее, отворил перед нею дверь; входя, Анна кинула взгляд назад: шут стоял за притолокой, смутно вырисовывался там, словно куча тряпья. Ах, не надо было оборачиваться, потому что отрок проследил за ее взглядом и заметил движение возле двери.

Наверное, он просто испугался. Наверное, не догадался, что там Акиплеша. Неожиданно, молча, как волк, настигающий жертву, отрок кинулся в угол, выставив нож перед собой, был он слеп и неудержим. Анна лишь успела беззвучно ахнуть...

Шут мягко отпрыгнул в сторону, отрок ударился о стену и упал, заняв место шута у стены, такой же кучей тряпья. Горбун вытер тонкое лезвие стилета, проговорил, словно извиняясь:

— Он мне не чета... я у сарацинов научился.

— Я не могу больше,— сказала Анна.— Я больше не могу...

— Жестокое время,— сказал шут.— Наверно, не было еще такого жестокого века, и я жесток... Но я не подл. Понимаешь, я не подл! Я защищаюсь, но не предаю...

Шут подошел к открытому люку и остановился так, что изнутри его было трудно увидеть.

— Будет ли лучшее время? — спросил он сам у себя, глядя вниз.— Будет ли доброе время или всадники смерти уже скачут по нашей земле?

— Будет,— сказала Анна.— Обязательно должно быть.

Шут молчал. Анна почувствовала, как напряглись его плечи и короткая шея. Она сделала шаг вперед, заглянула вниз в подвал. Роман приник к потайной двери, прислушиваясь. Кин сзади.

— Отойди,— отмахнулся от него Роман.

Кин послушно отступил на несколько шагов.

В дверь ударили два раза. Потом еще три раза.

— Я так и знал! — прошептал шут.— Я знал... Надо было бежать к князю!

Роман отодвинул засов, и тяжелая дверь отворилась.

В проходе стоял рыцарь Фридрих. Кольчуга прикрыта серым плащом, меч обнажен.

Роман отошел в сторону.

Рыцарь Фридрих спросил:

— Все в порядке?

— Да,— сказал Роман.— Скорее. Как там у ворот?

— Скоро падут,— сказал Фридрих.— Скоро.

Он шагнул обратно в темный проход и крикнул что-то по-немецки.

Вдруг шут взвизгнул, как раненое животное, и прыгнул вниз, минув лестницу, с двухметровой высоты, и следующим прыжком он был уже у двери, стараясь дотянуться до засова.

Роман первым сообразил, в чем дело, и схватился за рукоять ножа, и Анне показалось, что он неестественно медленно вытаскивает нож,— и шут так же плавно, как в замедленной съемке, оборачивается, так и не успев закрыть дверь, и в руке у него блестит стилет...

— Кин! — отчаянно крикнула Анна.— Не тот!

Кин обернулся к ней. Глаза кочевника сошлись в щелочки. Голос его был тих, но страшен, и не подчиниться нельзя:

— Уходи немедленно.

Анна сделала шаг по лестнице. Главное сейчас было — объяснить Кину...

— Нажми присоску! Погубишь все!

И Анна, почти не понимая, что делает, но не в силах послушаться, поднесла палец к шее...

И в этот момент ее охватила дурнота, и все провалилось, все исчезло, бесконечная бездна времени приняла ее и понесла через темноту, сквозь нелепые и непонятные видения: лавина конских морд и копыт неслась на нее сквозь огонь, рвущийся из башен деревянного города, засвистел ветер, донеслись обрывки музыки...

Анна стояла в маленькой холодной комнате теткинго дома. Она держалась за голову, жмурясь от света, и Жюль, склонившийся над пультом, кричал ей, не оборачиваясь:

— Шаг в сторону! Выйди из поля!

Анна послушно шагнула — голова кружилась, она увидела перед глазами шар — как окно в подвал.

Маленький, слишком маленький в шаре шут боролся с Романом, и рука его, зажатая в тисках Романовой руки, дергалась, сжимая стилет. Свободной рукой Роман гащил свой нож и кричал что-то, но Анна не слышала слов.

— Не тот,— сказала она хрипло.— Не тот!

Шут извернулся, и Анна увидела, что стилет исчез в боку боярина Романа, и тот начал оседать, не отпуская шута. В подвал лезли один за другим немецкие ратники. Рыцарь Фридрих занес свой меч... И мелькнул генью Кин...

— Не тот! — успела еще раз крикнуть Анна.

В тот же момент из шара исчезли двое: Кин и шут.

Меч Фридриха разрубил воздух. И, отбросив его, рыцарь опустился на колени над телом Романа, сделав знак своим, чтобы они бежали вверх. И ратники один за другим начали подниматься по лестнице — шустро и ловко...

Шар погас.

— Все,— сказал Жюль.

— Они где? — спросила Анна.

— Они прошли сквозь нас. Они уже там, дома... Ты не представляешь, как я устал.

— Я тоже,— сказала Анна.— Я тоже устала.

— Спасибо,— сказал Жюль.— Без тебя бы не вылезти.

— Не стоит благодарности,— сказала Анна.

Ей было очень грустно.

— Ты уверен, что он забрал Акиплешу?

— Ты же видела,— сказал Жюль. Он поднял пульт и уложил его в чемодан.

— Они добрались до места? Ты уверен?

— Разумеется,— сказал Жюль.— Что с ними может случиться?

25.

Анна проснулась, когда солнце уже склонялось к закату. В комнате было жарко, над забытой чашкой со сладким кофе кружились осы. В комнате стоял дед Геннадий.

— Прости,— сказал он.— Я уж стучал, стучал, дверь открыта, а ты не отзывалась. У нас в деревне не то, что в городе,— у нас проще. Дверь открыта, я и зашел.

— Ничего,— сказала Анна, спуская ноги с дивана. Она заснула одетой. Зашуршала парча.

Анна бросила взгляд на себя — еще бы, ведь она так и осталась в платье польской княжны Магдалены, племянницы короля Лешко Белого, родом из стольного города Кракова.

— Это в Москве так носят? — спросил дед Геннадий.

Анне показалось, что он подсмеивается над ней. Она встала и выглянула в прихожую. Там было пусто и чисто. Дверь в холодную горницу распахнута настежь. И там пусто. Кровать аккуратно застелена.

Дед Геннадий плелся следом за ней.

— Уехали, значит? — сказал он.

— Уехали, — сказала Анна.

— А я тебе на память принес, — сказал дед. — Из музея.

Он вытащил из глубокого кармана плаща медную голову льва с кольцом в пасти.

— Я еще достану, ты не беспокойся.

— Спасибо, дедушка, — сказала Анна. — Они в самом деле оттуда?

— Мне-то откуда знать? Были бы люди хорошие.

Анна вернулась в большую комнату. За открытым окном виднелся крутой холм. У ручья паслась гнедая кобыла Клеопатра.

— Грехи наши тяжкие, — вздохнул дед. — Спешим, суетимся, путешествуем бог знает куда. А ведь это рискованно. Да, я тебе молочка принес. Парного. Будешь пить?

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ

Соавтор

Любые совпадения имен и событий являются чистой случайностью...

Вместо эпиграфа

Шкиперу Шашкину было плохо. Баржа шла вниз по Оби, то есть на север, и давно солнцу полагалось уйти за горизонт, на запад, туда, где все затянуло то ли предгрозовой дымкой, то ли сухим туманом, но шел уже одиннадцатый час, воду пригладило потемками, а солнце, сплющенное как яичный желток, все еще висело низко над берегом. Обычное. Круглое. Без прикрас. Без пятен. Во всем обычное, кроме одного — за х о д и л о о н о на в о с т о к е, чуть ли не над Завьялово, огоньки которого смутно маячили вдалеке.

«Там, в Завьялово, — горько подумал шкипер, — мой Ванька сейчас. Сынок. Ученый. Наставил в лесу палаток, рыбу бесплатно жрет. Отца вот только стесняется при-

гласить. Прост я. Правду люблю. Мало сукиного сына Ваньку драл в детстве. Мало просил: к делу иди, бумажки добра не скопят! Не послушался Ванечка, вот и бегают от своих ста двадцати к дармовой рыбе...— Шкипер мутно посмотрел на багровое, садящееся не по правилам солнце и выбросил пустую бутылку в темную Обь: — Не сумел я Ваньку до человека поднять. Ученым стал Ванька...»

Шкипер твердо знал: солнце заходит на западе. Но так же твердо он знал: верь лишь своим глазам! Маясь от головной боли, он пытался примирить увиденное своими глазами с тем, что сам же не раз видел и слышал с детства. Это было трудно. Очень трудно. Он даже никого не позвал посмотреть на спятившее светило. А о Ванечке так думал: «Не в отца пошел, свою идею ищет. Мало я порол его, мало любви к себе вбил в его голову, я, отец родной! Он ведь такой, мой Ванька! Его в любой час ночи разбуди, спроси — чего, мол, желаешь? Он не задумается ни на миг, как часы, отрубит: «На батю не походить!» Обидно...»

1

Гроза шла со стороны Искитима. Небо там было заплывшее, черное, сочащееся влагой, а над базой отдыха НИИ солнце светило по-прежнему и даже ветерок не дунул ни разу. Стояла необъяснимая, плотная, графическая, как определил ее про себя Веснин, тишина.

Подоткнув под голову спальник, Веснин лежал на зеленом надувном матрасе и сквозь расшнурованные, отброшенные в стороны полы палатки уныло рассматривал мощную сосну, за которую была захлестнута одна из растяжек. От голых рыжих корней до первых криво опущенных вниз ветвей ствол был обожжен, покрыт натеками выступившей от жары смолы: то ли неудачно палили костер, то ли баловались... «Интересно, чувствуют ли растения боль? Ощущать лижущее тебя пламя и не иметь возможности отодвинуться даже на миллиметр...»

Веснин вздохнул, нервно повел плечами. Он-то, Веснин, мог шевелиться. Он-то, Веснин, мог бежать от любого огня, случись такое. И все-таки... все-таки Веснину было неуютно. Не совсем приятные мысли мешали ему. А от мыслей не отодвинешься.

Чуть повернув голову. Веснин увидел палатки, занявшие широкую, окруженную соснами прогалину, и почти всех оставшихся на базе обитателей — математика Ванечку с гитарой в руках, геолога Анфеда, весело оседлавшего пеня, наконец, олигофренку Надю. Нет, упаси господи, Надя, конечно, не была олигофренкой. Просто обучала детей в спецшколе (есть и такие), что и позволяло Анфеду за глаза, беззлобно отпускать в ее адрес это так странно

звучавшее здесь слово. Сама же Надя больше походила на балерину — великолепно развитые ноги, сухой торс. Темные глаза Нади, очень темные, хотя и не темнее до черна загоревшей кожи, весело поблескивали из-под густых, длинных и рыжих волос, схваченных выше высокого лба лентой. Единственное, что мешало Наде (разумеется, только по мнению Веснина), — плохо развитый инстинкт самосохранения. Он, этот инстинкт, срабатывал у Нади, как правило, поздно, после того как она совершала глупость...

Веснина на базе встретили с интересом. Правда, больше от того, что Кубыкин, начальник базы, бывший завхоз Осиновской экспедиции, спутал его с двумя весьма известными братьями. Слышал краем уха: книги, фантастика... И брякнул. Наде же или Ванечке, а тем более Анфеду и в голову не пришло — с чего вдруг знаменитые братья поедут в Сибирь, да еще осенью? Они ни секунды над этим и не задумывались. Ну, приедут и приедут. И когда вместо братьев явился один Веснин, разочарован был только Анфед:

— Судьба у меня, как у твоих воспитанников, да, Надя?

Надя кивнула.

Все знали (сам Анфед лучше всех), что он, Анфед, неудачник. Вроде спортивный парень, поддержит любую компанию, на гитаре запросто побренчит, мысли в голове водятся, в рыбной ловле конкурентов не знает, а все равно куда ни ткни — дырка! И жена от Анфеда ушла, запретив ему встречаться с малолетней дочерью, и на переезде его чуть не вышибли из младших научных в старшие лаборанты. И даже последний случай: вместо полевого сезона тянул он лето в помощниках Кубыкина. С одной стороны, нормально: полевые идут. С другой, не очень: ребята на Таймыре по обнажениям лазят, а он, Анфед, за сметаной мотается в Завьялово да пересчитывает вкладыши к спальным мешкам.

«Опять я не о том, — вздохнул Веснин. — Мне не об Анфеде, мне о рукописи надо думать. Специально сюда забрался: база отдыха, осень, почти никого нет. Ни телефонных звонков, ни неожиданных банкетов, ни суеты. Сиди у моря, гуляй, вышагивай в осеннем лесу сюжет, тему, композицию... Что мне Анфед! Он из другой оперы, в любом случае не из космической. Не об Анфеде мне надо думать. О том мне надо думать — отправится ли на ИО Рей Бранд? Вернется ли «Громовержец» в порт? Что, наконец, делать с пришельцем с Трента? Ведь контакт с иной цивилизацией несомненно перевернет всю нашу жизнь... А об Анфеде пусть реалисты пишут — он из их сюжета сбежал: из деревни в город. Я преподаватель воображения. Мое дело — мечта».

Но сосредоточиться Веснин не мог. Мешала гитара Ванечки, мешали смешки Анфеда, мешала, наконец, приближающаяся гроза. Темная напряженность, раздражающая сухая духота пропитали собой весь мир — каждую безвольно провисшую ветку, каждую хвоньку на пожелтевших лиственницах, каждую застывшую глыбу глины на дороге, взрытой гусеницами случайного вездехода.

В принципе Веснин знал причину своего раздражения. Не только предгрозовое затишье, не только духота, по капле выдавливающая смолу из сосен, убивали его настроение. Самым тяжким прессом оказались слова Серова. Серов, его лучший друг, физик, умница, Серов, которому он читал черновики всех своих рукописей, весьма скверно отозвался о последней его вещи. «Голая выдумка!» Будто он, Веснин, и впрямь мог писать космического пришельца с натуры... И еще Серов заявил: «В чем сущность твоих героев? Почему они все под два метра ростом, почему их мозги забьют любую ЭВМ и почему при всем этом они никогда не знают, что случится с ними через час?..» Разумеется, Веснин возразил: «Ты сам не знаешь, что случится с тобой через час». Серов взглянул на часы и отрезал: «К Милке пойду». — «Это ты думаешь так, — настаивал Веснин. — Подвернешь ногу, попадешь в скорую...» — «Вот с таких размышлений, — сухо сказал Серов, — и начинается путь к поповщине... Если ты уж взялся писать, пиши ясно. Кроссворды я в «Огоньке» найду. Мне скучно, старик, читать о двухметровых стандартных умниках. Я хочу знать, не жмут ли у них башмаки, не ест ли их совесть. С пришельцами — да. Тут я готов согласиться: выдумывай, в добрый час. Но когда на страницы вылезает землянин, я хочу знать, кто он и что с ним связывает именно меня. Господи, Веснин, как надоели эти двухметровые умники! И почему, скажи, гоняются за ними твои героини? Ведь должно же в них быть какое-то волшебство! Ну не волшебство, так хоть мускусный запах! И не втирай мне очки. Мы, читатели, ждем от тебя не стандартный конструктор, а матрицу с жизни, пусть даже вымышленной, перенесенной на века вперед!»

«Конструктор? — обиделся Веснин. — Мой конструктор лучше твоих нудных установок! Твои установки, вот они-то и одинаковы на все века, их только ломать можно, они не поддаются переустройству. А читатель он не дурак, не унижай его. Нужны читателю твои законченные герои, как же! Читатели хотят думать сами!»

Вроде бы убедительно. Но не для Серова. И как ни странно, не для самого Веснина. Потому он и ворочался на матрасе. То ли гроза уж слишком запаздывала, то ли вообще переоценил он прелесть базы — раздражения в Веснине хватило бы на двух мизантропов. «Теоретик! — вспоминал он Серова. — Я и сам знаю, что одного моего героя можно подменить другим. Но в этом-то и есть

их сила. Благодаря своей неспециализированности они выживают там, где давно бы накрылась любая белокурая бестия, украшенная шрамами и пылью странствий...»

«Соавтора бы тебе,— вспомнил он больно уколовшие его слова Серова.— Чтобы этот соавтор совал тебя носом в каждую придуманную тобой деталь, в каждый жест придуманных тобой умников. И не физика тебе надо в соавторы, и не математика, вообще не специалиста, а кого-нибудь из тех бедолаг, что годами маются в лаборантах. Уж они-то знают, как жмет башмак, уж они-то знают, как протянуть месяц на сто рублей!»

«Чепуха какая,— подумал Веснин, издали, не без зависти следя за Анфедом, вырывающим гитару у Ванечки.— Анфеда мне что ли в соавторы? Чтобы герои мои исправно терпели крушение в каждом своем начинании?..»

Веснин даже привстал с матраса. «Что-то за этим, конечно, крылось. За случайно подслушанной фразой, за мелькнувшим в окне автобуса необычным профилем всегда есть таинственность, волнующая не меньше, чем петрозаводское чудо или Лох-Несс. В самом деле, чем отличается от всех других женщин Надя? Не тем же, конечно, что обучает олигофренов. Не тем же, что обожает песенки под гитару... Ступает, наверное, как-то не так, смотрит, слушает, чувствует иначе... Надо бы присмотреться... Хотя, с другой стороны, что это даст мне? Разве я вложу Надин жест в поведение пришельца с Трента? Разве может улыбаться, как Надя, умирающий во льдах марсианин?.. Не соавтор мне нужен, а отстранение. Иначе все мои пришельцы и говорить и действовать будут как Надя, как Анфед... А это ли ищут в фантастике?.. Нет, не прав Серов. Мне не в Анфеда следует всматриваться, а в фотографии звезд. В их странных россыпях, в самой их невероятной удаленности от нашей животной недолговечности есть нечто надчеловеческое, помогающее найти именно ту деталь, которую никто еще не видел, не мог угадать. И не Серова мне следует помнить, а Максвелла. «Когда мы полагаем, что думаем о Субъекте, мы на самом деле имеем дело с Объектом, прикрытым фальшивым именем». Прав Максвелл. Мое дело срывать фальшивые имена, уходить от всем приевшегося антропоморфизма, искать новое...»

В сущности, веруй Веснин в свою теорию — Серов ему не судья. Но в рассуждениях Веснина, как ни были они логичны, таились (и он чувствовал это) какие-то неведомые просчеты. Линия рассуждений то зашкаливала, уходя в неведомое, неугадываемое, то перла, как порожняк по сухому бесплодному асфальту. И еще... Хотя Веснин и считал (и был в том глубоко убежден), что на людей надо смотреть прежде всего, как на чудо, преследовали его самые невероятные сомнения. «Да, конечно, там впереди, в двадцать

четвертом, в двадцать пятом, ну, пусть в двадцать шестом веке исчезнут такие понятия, как ложь, накопительство, сила власти, но не превратится же человек в идеальный кристалл — в счастливый, купающийся в счастье кристалл. Даже в кристалле, если не выращивать его искусственно (а решимся ли мы на искусственное выращивание самих себя?), всегда есть ничтожные включения, искажающие его чистоту. А человек? Вытравит ли он из себя эти включения?.. Может, все-таки прав Серов: даже говоря о самом далеком будущем, следует помнить себя и таким, каким ты был век, два, пять столетий назад? Помнить, и по ниточкам распутывать собственную историю... Ах, не собственная она! Ах, это история брата или сестры? Так тем лучше! Пиши, чисти, взрывай! Узнают себя? Перестанут с тобой считаться?.. Что ж, тогда еще проще. Отделяйся пресловутым: «Любые совпадения имен и событий являются чистой случайностью». Забудь, что природа создала тебя хирургом, забудь, что цивилизация веками создавала для тебя самые совершенные инструменты. Оставайся, положим, массажистом, пиши о пришельцах с Трента. Это, конечно, верней: никто ведь из нас никогда не заподозрит в себе пришельца...»

Закурив, Веснин хмуро выглянул из палатки. Что за край! Гроза не прольется, ветер не ударит, море не зашумит. Жара и электричество вытопили из воздуха весь кислород. Какая тут, к черту, работа!

И услышал голос Кубыкина.

2

Голос у Кубыкина был замечательный. Редкого безобразия голос — то срывающийся на фальцет, то гудящий как труба, которую (даже не зная, что это такое) называют нерихонской.

— Тама вот, — басом сказал Кубыкин, указывая в сторону реки. — Тама вон она и прошла... Молния... Сперва, как ручеек, текла по-над берегом... Потом в шар свернулась... Как сварка, да? Я бегал — вдруг рыбка всплыла, вдруг лещиков поглушило? Так нет! — голос Кубыкина взвился, утончился. — Ну, ручеек сперва! Как изоляцию пробило! Меня аж затрясло — во, думаю!

Ванечка издали отозвался:

— Как шар, говоришь? А диаметр?

— Ну, это... ну, с метр!

— Анфед! Посчитай! — приказал Ванечка.

— Я уже посчитал, — хохотнул Анфед. — Таких не бывает!

— Слышал? — спросил Ванечка. — Не бывает таких, Кубыкин!

Сам Анфед посчитал!

Кубыкин обиделся:

— Это вы от безделья! Есть да спать — это каждый может! — И покраснел, налился предгрозовым раздражением: — Веники! Ломать! По пять штук с каждой палатки! Без веников никого с базы не выпущу!

Конечно, можно было возразить: а зачем веники, если через неделю базу вообще закроют на зиму? Но Кубыкин столь откровенно ждал возражений, что даже Веснин не выдержал. Вылез из палатки, подошел к ребятам:

— Наломаем.

— И вокруг палаток... подмести! — не поверил готовности Веснина Кубыкин. — Вон окурочек лежит. А это что? Бумага валяется?

— И ее подберем.

Кубыкин растерялся. В глазах застыло искреннее непонимание:

— А тряпка на кустах? Почему? Снова писать — лес на отдыхе?

— Это вкладыш. Он мой. Я и его уберу.

— Ну, смотри! — нацелил на Веснина толстый палец Кубыкин. — Обещал — сделай!

— Давайте лучше чай пить, — примиряюще позвала Надя.

Была она только в купальнике, но теперь поднялась и накинула на круглые плечи коротенький махровый халатик. Знала — Кубыкин рядом с раздетой женщиной чай пить не станет. А Ванечка будто ждал этого, сразу поднялся и пересел поближе к Веснину. «Неудачников боится, — неприязненно подумал Веснин. — Анфед — типичный неудачник, а неудачники добра не приносят...» Он взглянул на чистенькое, кругленькое личико Ванечки, на его тоненькие усики, ровненькие строчки бровей, и неприязнь его усилилась. «Вот ведь живет человек — статьи пишет, на работе ценится, премии ему выдают, а ведь получается — для себя это все. Пусть и умница он, и автор по-настоящему интересных работ, а вот в воду, как Анфед, не полезет, чтобы рыбой всех угостить, и даже не побежит, как Кубыкин, в деревню — добывать пачку заварки...» И вздохнул: «Это я от грозы. Скорее бы уж разразилась. С ума можно сойти».

Подлесок и сосны затянуло дымкой. Потемнели стволы, растаяли серебристые паутинки. Только березы как белели, так и остались белеть, да небо наливалось изнутри отсветами зарниц. «Над Искитимом и над Улыбино дождь давно, наверное, мыл дневную поверхность, а тут, в каких-то сорока километрах, — ни дуновения, ни капли, лишь застоявшаяся духота. Где, черт возьми, эта невидимая кнопка? Ткнуть бы ее, чтобы мир сразу в норму пришел...»

Он вдруг разозлился. «Не о том! Все не о том!.. И вставать мне надо не в десять, под самый зной, а где-нибудь в шесть утра, раньше Анфеда. И сразу варить кофе, и садиться с блокнотом под дерево. А я... я только дергаю себе нервы. Ни отдыха, ни дела...»

— Интересно,— сказала Надя, поднимая на Веснина смеющиеся глаза.— Если бы наши желания сбывались без всяких на то усилий, хорошо бы это было?

— Еще бы! — незамедлительно отозвался Анфед и прищелкнул для убедительности пальцами.— Р-р-раз, и готово!

Он не пояснил, что должно означать это «р-р-раз», но все почему-то посмотрели на Надю, а Кубыкин даже открыл рот.

— Интересно,— туманно протянула Надя, переводя взгляд на Анфеда.— А вот ты, Анфед, чего бы хотел?

— Леща! — не задумываясь, ответил Анфед. И, уловив двусмысленность высказанного желания, разъяснил: — Вот такого, от сих до сих. Ванечка, отодвинься!.. Чтобы я того леща, как в солдатском анекдоте, чистил от хвоста до обеда! — Анфед помолчал и со смирением истинного неудачника признал: — Но таких лещей нет. Я знаю.

Зарница высветила костерчик, палатки, кружки с чаем, салфетку с разложенными на ней печеньем, сахаром, бутербродами. Надины вопросы явно заинтересовали Кубыкина, он так и сидел с раскрытым ртом, и Надя вздохнула:

— Кубыкин, а, Кубыкин... Если бы наши желания исполнялись, ты бы чего хотел?

— Да так,— пожевал Кубыкин толстыми губами.— Территории чистой. Палатки убрать до дождей. В дожди они как паруса, хоть матросов ищи. Ну и... остальное! Сорите вы...

А про себя Кубыкин подумал: «И чтобы вы, дураки, веру знали в Кубыкина. Кубыкин не подведет. Сказали Кубыкину: «Бурундук — птичка!», — Кубыкин разыщет крылышко! Не то, что вы... — Он осуждающе посмотрел на Анфеда и Ванечку: «Посчитай! Таких не бывает!..»

— Ванечка, а Ванечка,— тянула Надя.— А ты почему ничего не сказал?

Ванечка передернул плечиком:

— Избавьте!

Анфед сразу насторожился, а Веснин снова почувствовал неприязнь к Ванечке, к его тоненьким бровкам и усикам. И почему-то вспомнил зимовку на острове Котельном. Тогда на станции оказался такой же вот аккуратненький парень из Ленинграда. Ничего парень, анекдоты знал, только жене, оставленной на материке, не верил. Так не верил, что вслух о ней говорил, и даже письма свои пытался читать вслух. В итоге парня отправили в Ленинград первым же бортом, уж слишком погоду портил. Настроение ведь это вот что — плюнул, и нет его! Одной улыбочкой убить можно.

Анфед вдруг хихикнул.

— Это чего? — удивился Кубыкин.

— У меня еще одно желание есть.

Все посмотрели на Анфеда. Он застеснялся:

— Ногу сломать!

— Анфедушка,— протянула Надя голосом любящей учительницы,— зачем?

— Ну как,— совсем застеснялся Анфед.— Три месяца отдыха. А хорошо ломаешь — все пять! И зарплата идет, и можешь чем-то своим заниматься. У нас один чудака чуть не полгода на больничном сидел, так почти кандидатскую сделал за это время.

Надя засмеялась и повернула голову к Веснину:

— А вы что хотите сломать?

— Судьбу,— хмыкнул Веснин.

— Есть причины?

— У кого их нет?

— За всех не говорите,— ядовито улыбнулся Ванечка.

И Надя улыбнулась. Хорошо улыбнулась — без насмешки, без иронии. Веснину сразу стало легче. Он всегда был такой — легкий на улыбку. Ругань перетерпит любую, на своем будет стоять, а вот улыбка не раз сбивала его с позиций. Он даже подумал: «Чего я на всех злюсь? Тот не такой, эта не такая... Мир под меня подгонять никто не будет. Самому надо за собой следить. Сам виноват, что ни отдых, ни работа не лезут в голову. Может, и прав Серов: не только пришельцем я должен жить. Мог ведь я не только о других планетах писать...»

«Мог! Мог! — сказал он себе.— О том же Щеглове — истинном северянине, устроившем на Чукотке настоящую коммунистическую факторию, где каждый брал в лавке все, что хотел, расплачиваясь по своим возможностям. То, что ревизия не оценила искренности Щеглова — дело второе. В каком-то смысле Щеглов сам был пришельцем. Если не с Трента, то уж из будущего...»

Мысль о Щеглове не затерялась в голове Веснина. Вытащила из памяти круглые наивные глаза северянина, рядом с которым Веснин проработал два года. Но уже до знакомства с Весниным Щеглов пользовался на Севере славой большого коллекционера. Началось это у него давно, еще до войны, когда после злополучной фактории его произвели в начальника почты, где впервые, к счастью для себя и к несчастью для редких подписчиков, Щеглов обнаружил иллюстрированные журналы. Картинка к картинке — восхищенный Щеглов собирал все. А когда подписчики возмутились, с легким сердцем оставил почту и, разобрав обклеенные репродукциями дощатые переборки дома, отправил все это свое богатство в Норильск. Он знал, что путеводная звезда найдена. Слух о коллекции Щеглова дошел до одного известного художника, проживавшего тогда в Норильске. Художник познакомился с коллекцией и пришел

в ужас. «Вкус! Где вкус?» — ошалело спросил художник. «Какой, однако, вкус? — спросил Щеглов. — Я первую премию получил на выставке. Я могу любой уголок оформить! Вот водка, она с премии, давай пить!» Но художник вынул из кармана свою собственную бутылку. «Я на деньги, полученные за дурной вкус, не пью!» — «А я премию получил!» — хвастался Щеглов. «За дурной вкус, за отсутствии вкуса!» — «Однако ты что-то такое знаешь», — сдался Щеглов. — Учи!»

«Чем не пришелец, — подумал про себя Веснин. — Но вот ведь я не писал о нем...»

И посмотрел на Надю. «Пора бы ей детей завести. Муж — не то. Муж сейчас не самое главное. Сейчас любят самостоятельность. Но — дети...»

Блики света прыгали по лицу Нади — красивое у нее лицо. «Интересно, чего бы она хотела, сбываясь наши желания?»

— Ну? — засмеялся Анфед, будто подслушал мысли Веснина, и потянул Надю за рукав коротенького халатика. — Теперь твоя очередь. Говори.

Но ответить Надя не успела. Может, и задумала желание, но ответить не успела. Мощная молния разорвала небо на неровные куски, вонзилась в море, забилась в истеричных конвульсиях. И глухо покатились над лесом, палатками, над узкой речкой и тальником грохочущие раскаты.

Кубыкин вскочил:

— Пойду... Генератор вырублю... Свечки готовьте...

И кинулся в навалившуюся на мир темноту.

Веснин вспомнил: вкладыш так и висит на кустах. Надо его снять. Дождь хлынет — не высушишь. Да и свет Кубыкин сейчас отключит.

Не прощаясь (не принято это было на базе), встал, задел плечом столб, на котором тускло светился фонарь, и фонарь, как по сигналу, вдруг начал гаснуть, совсем погас. А за кухней рванул, захлебываясь, генератор.

Настоящая непробиваемая темнота окутала базу, только костерок за спиной Веснина пошевеливал лапами. Невольно выставив перед собой руки, Веснин искал — где она тут, палатка?

Ударил молния, и палатка будто выпрыгнула из тьмы. Полы отброшены, внутри свеча.

Свеча?

Какая еще свеча?

Разве, уходя, он зажег свечу?

Неприятный холодок тронул кожу Веснина. А тут еще растяжка попала под ноги. Споткнулся, упал, расплзлась на плече рубашка. «Финская, — еще успел подумать Веснин. — Серов привез. Сказал:

большая она ему! Да врал, наверное. Человек запасливый, скорее всего, две купил».

И как-то необыкновенно четко он представил себе Серова. Щуплый, узкое лицо или в порезах от безопасной бритвы, или вообще небритое; в очках, левое стекло в трещинах, плохие мелкие зубы — первый любовник, черт подери! Но голове этого любовника могли позавидовать многие. Многие, кстати, и завидовали.

Встав, Веснин потрянул головой и, сделав пару шагов, решительно вошел в палатку.

Ни-че-го!

Ни огня, ни свечения. Ничего! Тьма. Сумрак.

Он нашарил спички, нашел свечу. Вот теперь — да, горит свеча. Настоящая, стеариновая. Матрас валяется, спальник. В углу, на рассохшемся столике — кофейник, чашка, продукты. Ничего необычного.

И, раскидывая спальник, Веснин строго сказал себе: «Нервишки, дружок. Мало работаешь. Это надо кончать. Хватит валять ваныку!»

И сразу отчетливо представил длинную улицу, в пыли которой со свистом и улюлюканьем Анфед, Кубыкин, еще какие-то люди валяли бедного Ванечку. Ванечка был жалок, даже не пытался протестовать, и сценка эта Веснина не порадовала. Слишком отчетливая, слишком реальная была сценка. А до этой грани Веснин еще не дошел.

3

Молнии раздергивали шторы над миром, занудливо скрипела за палаткой сосна. Скрип ее, сливающиеся в зарево вспышки, духота ночи вызывали сердцебиение — попробуй усни! Да Веснин уже и понял, что не уснет. Он даже не пытался закрывать глаза. Потянулся за сигаретами, но только к ним прикоснулся — полоснула невообразимая, раскаленная добела молния. «Нельзя пошевелить цветка, звезду не потревожив...» Коснулся спичек, и молния ударила вновь — удручающе точно.

«А ну?» — хмыкнул Веснин и пять раз подряд ударил ладонью в деревянный пол палатки. С той же точностью, хоть на хронометре отбивай, пять раз ударила и молния, пять раз подряд разбились в выжженном невидимом небе раскаты сухой грозы.

«Видел, наверное, Кубыкин шаровую», — подумал Веснин, и ему сразу раскотелось творить чудеса. Сказок в мире всегда было больше, чем законов физики. Незачем эти сказки плодить.

Он лежал, стараясь ни к чему не притрагиваться. Даже сигарету оставил, не зажег. Сжимал веки, пытался уйти в себя, забыться, но вздрагивал, раскрывал глаза: то ли стоит кто-то за палаткой,

то ли наблюдает кто-то за ним из-за сосны... Он внимательно всматривался в мертвый, застывший, появляющийся лишь на секунду пейзаж и вновь сжимал веки. «Никого там, конечно, нет, Ванечка спит, Кубыкин спит, спят и Анфед, и Надя».

Но кожу опять обдало неприятным дергающим холодком.

Было там перед палаткой что-то, было! Вроде ветка хрустнула, вроде ветерок прошелестел... Кто же там ходит?

Веснин приподнял голову.

И вздрогнул.

Тень, даже не тень, а так — призрак, газовое облачко, дымный шлейф, пронизанный изнутри мерцанием, — воздушно клубилась на фоне черной ночной сосны, обвивая ее, расползаясь по израненной обожженной поверхности. И хотя не жестокой, не холодной была эта тень, даже напротив — дымчато-нежной, голубоватой, какими бывают лишь далекие морские мысы или девочки с детских переводных картинок, виделось в этом газовом облачке нечто невообразимо чужое, заставившее Веснина сжаться, отодвинуться в глубь палатки, выставить перед собой погашенную свечу.

...И этот призрак ни на секунду не оставался в покое. Он трепетал, как на ветру, дрожал, как летящие над землей паутинки, и то расширялся, захватывая почти всю поляну, то опадал, обнимая сосну и испуская свой мерцающий, ни на что не похожий свет — чужой, действительно ни на что не похожий. И все это время Веснин чувствовал легкие покалывания по коже — бип-бип, бип-бип. Будто «бипер» врубили — есть такие маяки. Видел их Веснин, блуждая по свету.

«Вот так, — сказал он себе. — Дождется! Жди теперь дождя. Дождь не обманет. Ливанет — все смое».

Но дождь, похоже, и не собирался, а молнии лишь ярче подчеркивали реальность призрака. Именно призрака, поскольку от него даже тень не падала; хотя можно ли ждать тени от светящегося изнутри пятна?

Откинувшись к задней стенке палатки, прижавшись головой к огромному сальному пятну на полотне (кто-то сунул в карман свечу и забыл о ней), Веснин готов был вскрикнуть, но выручил Кубыкин. Невероятным своим голосом, сейчас низким, негромким, он сказал:

— Человек.

Веснин замер: откуда Кубыкин? почему Кубыкин? И впился взглядом в призрак — как он реагирует на появление еще одного человека?

Но голос Кубыкина в той же тональности, равнодушной, почти механической, повторил то же слово, и Веснин с ужасом понял

не Кубыкин это говорит, это ему, Веснину, голосом Кубыкина говорят:

— Человек.

Веснин не выдержал. Привстал, на четвереньках приблизился к выходу, но газовый шлейф деформировался, расплылся по сосне, усилились, жала тело, укалывания; а каждая трещинка, каждая капля смолы вдруг проявилась на обожженном стволе явственно, четко, как под увеличительным стеклом.

— Кто ты? — спросил Веснин, останавливаясь.

Голос Кубыкина ответил:

— Ты не поймешь ответа.

«Вот и доработался,— не без издевки сказал себе Веснин.— Хорошо поработал. И образы четкие — прямо по Серову. Пиши с натуры!» И уже не зная что делать, спросил:

— Это ты?.. Кубыкин?..

— И да, и нет,— ответил голос Кубыкина.— Выбери ответ сам.

«Вот и выбери! И скажу, валяй, мне вставать рано!»

Но вслух это произнести Веснин не смог. Только сжал кулаки:

— Но если ты не Кубыкин, то... кто ты?

— И н о й,— ответил голос.— Я — и н о й.

— Иной Кубыкин? — изумился Веснин.— Разве Кубыкиных двое?

— Ты не поймешь ответа.

— Но ты... человек?

— И да, и нет. Выбери ответ сам.

— Но ты же разговариваешь со мной, и мы понимаем друг друга! Почему же я не пойму?

— Выбери ответ сам.

— А-а-а...— догадался Веснин.— Ты, наверное, не имеешь своего голоса, а потому берешь первый попавшийся. Вроде как на прокат, да?

Призрак промолчал.

— И ты уже с кем-то разговаривал? Я не первый?

— Да.

— Но если так,— Веснин вытер ладонью взмокший лоб,— значит, о тебе что-то знают, тебя кто-то видел, тебя кто-то встречал...

— Помнят ли тебя все те дети, с которыми ты где-то когда-то разговаривал?

— Дети? — переспросил Веснин.— При чем тут дети?

Спрашивая, он на ощупь искал спички. Не решался повернуться к призраку спиной, холодел от его мерцания:

— Я что, похож на ребенка?

— Ты не поймешь ответа.

— Но что-то должно нас связывать, если ты идешь на разговор с нами и даже пользуешься нашими голосами!

— Да, Разум.

— А-а-а... — протянул Веснин. — Братья по разуму!

Он произнес это с иронией. «Братья по разуму» был один из самых известных его романов, но сейчас, в этой одуряюще душной ночи любая литературная ассоциация выглядела по меньшей мере нелепо. И Иной, казалось, ощутил это:

— Твоя усмешка определяет ступень твоего разума.

— У разума есть ступени?

— Да.

— Их много?

— Мы насчитываем их семь.

— На какой же находимся мы — люди?

— Вы выступаете на вторую.

Веснин нащупал, наконец, спички. «Интересно взглянуть — что там, за сосной? И у палаток. И у кухни... Не Ванечка же устроил этот концерт?..» Он представил тоненькие Ванечкины усики и решил: с него станется!

Призрак медленно поплыл по стволу сосны, и Веснин услышал:

— Я не стесняю твоей свободы. Ты волен выбирать сам.

«Еще бы! — нервно хмыкнул Веснин. — Конечно, волен. Только что будет, если я попаду под высокое напряжение?..» Но вслух он опять ничего не сказал, только молча, замирая, чувствуя холодок в груди, подполз на четвереньках к выходу, за которым услужливая, но слишком громогласная молния сразу высветила пустой, как пустыня, лес — н и к о г о! Кричи, воли — никто тебя не услышит. Все спят.

«Значит, не Ванечка...» Эта мысль, как ни странно, успокоила Веснина. Он не любил шуток, суть которых до него не доходила. И осмелев, он поднял глаза на то, что называло себя И н ы м:

— Значит, ты не человек?

— Ты не поймешь ответа.

— А твоя родина... Я могу узнать, где она?

— У разума одна родина.

— Что это значит?

— Ты не поймешь ответа.

— Но я понимаю твою речь, я, наконец, вижу тебя! Почему же я не пойму ответа?

— Ты не видишь меня. Ты не можешь видеть меня.

— Разве это... — Веснин замялся. — Разве это газовое облачко не ты?

— Так же, как и голос.

— А почему я не могу видеть тебя?

— Ты не готов к встрече.

— Но если между нами есть какая-то связь... ты этого не отрицаешь... Если я могу выбирать ответы сам... Я ведь могу решить, что ты — это нечто невообразимо далекое, но действительно имеющее отношение ко мне... Может, мой слишком далекий потомок... Значит ли это, что когда-нибудь я и сам стану таким?

— Как вид. Но не личность.

— Ни один вид сапиенса на Земле не просуществовал более шестисот тысяч лет. Выходит, мы, люди разумные, можем существовать дольше?

— Ты не поймешь ответа.

— Ты разговариваешь со мной, как с ребенком,— обиделся Веснин.— Когда мы что-то не хотим объяснить ребенку или не можем объяснить, мы так и говорим: «Ты не поймешь». Но ты... Неужели ты явился лишь для того, чтобы убедить нас в нашей неподготовленности?

— А разве ты, возвращаясь в детство, поступаешь не так же?

— В какое детство?

— В свое.

— Я не умею,— растерялся Веснин.— Этого никто не умеет. А если бы и умел... Зачем мне возвращаться в детство?

«Да,— подумал Веснин.— Зачем? Жарить картофельные очистки на той железной печурке, что стояла в нашем доме и сжирала невероятное количество дров, которые именно мне приходилось таскать из леса? Мерзнуть в бесконечных очередях, даже не зная, будет ли сегодня хлеб? Жадно глазеть на книги за окном закрытой библиотеки?... Не очень-то веселым было мое детство... Не очень-то мне хочется вернуться туда...»

Веснин вспомнил мать. Усталую до слез, но счастливую — она меняла на старый комод кусок мутного, желтого, как табак, сахара. Маленький праздник. Господи! Он, Веснин, не хотел возвращаться в свое военное детство. Наоборот, он, не раздумывая, выпатчил бы из этого детства свою умершую от недоедания сестру и мать, распахивающую огород на корове, и даже соседа, в ледяную январскую ночь украсившего у них чуть ли не половину дров... Он-то, Веснин, выжил, ушел из детства в юность, и дальше, туда, что называют зрелостью. И взял потом свое, отдышался, попробовал настоящий сахар. А вот младшая его сестра навсегда осталась в детстве. И сосед остался там. И мать — со всеми маленькими голодными праздниками, со всей огромной военной никому теперь не объяснимой тщетой, и с еще более огромной верой в скорые изменения... Нет, Веснин не хотел возвращаться в детство. Он и в книгах не наделял своих героев детством, сознательно уходил от это-

го. Слишком много несладких ассоциаций стояло за этим словом...

— Зачем тебе детство? — спросил Веснин. — Тем более наше детство.

— Я собираю опыт.

— Тебе недостаточно своего?

— Ты не поймешь ответа.

— Кто же идет за опытом в детство? И какой опыт ты собираешься там найти?

— Подобный твоему.

— Но для этого надо прожить мою жизнь. Какая польза тебе от моих слов, если я даже смогу пересказать опыт?

— Мне не надо слов, — сказал голос Кубыкина. — Ты вспоминаешь, ты чувствуешь. То же самое вспоминаю и чувствую я.

— И мой опыт становится твоим? — не поверил Веснин.

— Да.

— И где-то, когда-то, в том неизвестном мире, из глубин которого ты явился, ты частично можешь ощутить себя мною, Весниным?

— Да.

— Но это же бесполезный груз! Ушедшее, прожитое... Кто машет варенье с солью?

— Вспомни...

Веснин почувствовал головокружение, и опять до невероятности явственно предстала перед ним широкая и пыльная улица. За дряхлой церковкой, старчески приткнувшейся к новому кирпичному клубу, на выщербленных ступенях сидел Ванечка, а перед ним деревенский малыш, замороженно следящий за прутиком, которым Ванечка неторопливо рисовал что-то на песке. Пассажиры давно вошли в автобус — нагулялись, надышались после двухчасовой тряски и теперь ожидали его, Ванечку. А Ванечка не отходил от малыша, и уже металась голова раздраженных пассажиров: «Архимед! Открыл семинар на плесоре! Ванечка, черт тебя побери! Ванечка!..» Только шофер автобуса не суетился. Лица его Веснин со своего места не видел, но видел тяжелые, в набрякших жилах руки, спокойно, с достоинством лежащие на руле. Именно спокойно. Шофер не волновался, не дергался, не жал на клаксон. А когда Ванечка вернулся в автобус, также спокойно, имея в виду малыша, сказал: «Не зашибут его там лошади?» И Ванечка, ни на кого не обращая внимания, ответил: «Не зашибут. Он знает больше, чем думает». — «Чего он не в лагере?» — спросил шофер, включая зажигание. «Говорит, мать не пустила. Отца нет, а скоро копать картошку». — «Это дело, — сказал шофер, — у меня так же было...» Голоса в автобусе смолкли. Казалось, каждый вернулся на единственную,

свою, пыльную улицу, к тому единственному, однажды являвшемуся в детстве человеку, простым прутником нарисовавшему на песке мир...

Веснин тряхнул головой.

Он вдруг и впрямь почувствовал себя ребенком, абсолютно раскрытым перед этим чужим, умевшим видеть его насквозь газовым шлейфом. Он будто разыгрался под стеной дома, под окнами, глухо запертыми, но ставни неожиданно распахнулись, и он, ребенок Веснин, увидел человека, такого, каким сам хотел быть, — сильного, умного, готового помочь, готового объяснить что угодно и, конечно, знающего все. И этот человек улыбнулся Веснину — спрашивай! А он, ребенок, державший до того в голове тысячи самых необходимых и важных вопросов, умолк, растерялся, потому что не знал, какой из его вопросов самый важный и на какой его вопрос ответ необходимо получить именно сейчас. И так ничего не спросил, стоял соляным столбом, пока не закрылись ставни.

— Ты знаешь, что такое ложь? — спросил Веснин.

— Одна из форм развития. В прошлом.

— В прошлом для тебя. Для меня это еще сегодня, — покачал головой Веснин. — И это означает одно: немалая часть моего опыта вольно или невольно замешана на лжи.

— Знаю.

— Так не боишься ли ты внести в свой мир мои ошибки, мои заблуждения?

— Дети лгут, — возразил Иной. — Но разве вас пугает их вольный или невольный обман?

Веснин вздохнул:

— Ты прав. С этим мы справляемся. И наверное, мой опыт не испугает тебя... И все же... Все же я должен напомнить об осторожности. Есть такой опыт, в котором человек не может признаться даже самому себе. Разве у тебя не так?

И замер. В этом вопросе таилась ловушка. Заметит ли ловушку Иной?

Иной заметил. А может, просто кончилось его время. Он бледно мутнел, клубился, будто незримые силы рвали его газовую оболочку изнутри. И перед этой молчаливой внутренней борьбой разумного существа, не дающего тени, Веснин вправду почувствовал себя мальчишкой, пытавшимся провести того человека, который раскрыл ставни — спрашивай! А он, Веснин, не спросил. Не нашел нужного вопроса. Не сумел сформулировать такой вопрос. И окно, за которым крылось нечто великое, неохватное, захлопнулось, и стало ясно: не достучишься, не откроешь, и на все то, что по твоей глупости или по твоему неумению ушло от тебя, ты

должен теперь искать ответ сам. Ценой всей жизни — ценой матери, идущей за плугом, ценой отца, подорвавшегося на мине, ценой драк на Четвертой улице, ценой всего того, что можно было оставить за спиной, не трогая, будь ты чуть умудренней...

4

Утром Веснин вспомнил все. И сразу решил — не сон. Не могло такое быть сном. Сон туманен, сон грешит белыми пятнами, а тут слово к слову — как впечатаны в мозг.

Он чувствовал себя усталым, растерянным. Утешило лишь то, что над базой царило безмолвие — все спали. Только весельной «семерки» не было у причала. Анфед, как всегда, ушел в море. Охотиться за лещом. Именно так Веснин и подумал: «Анфед уже охотится за лещом. Пусть ему повезет».

Покачивая головой, он запалил костерчик и распустил в закипевшей воде сразу два аэрофлотовских пакетика кофе. И все это время он пытался найти в окружающем хоть что-то, что могло подтвердить — было нечто в ночи, не с порождением разбушевавшейся от жары фантазии он беседовал! Но лес был как лес, берег как берег. Палатки, как и раньше, кружком обнимали поляну, Ванечкина — оранжевая и, конечно, особняком. И нигде ничего, что могло бы остановить взгляд, насторожить внимание. Да и что, собственно, он хотел найти? — еще ни разу, кажется, человеку не удавалось находить материальных подтверждений игры собственного воображения.

«И вообще, — хмыкнул Веснин. — Я не для того встал так рано. Я работать встал. Давно пора взяться за дело». Но и усмешка не оказалась целительной; в глубине души Веснин понимал, что день потерян, что, как бы он ни желал работы, день все равно уйдет на бесцельное брожение по лесу, на отчаянную надежду найти пусть косвенное, но какое-то подтверждение тому, что случилось с ним ночью...

Допив кофе, Веснин, не торопясь, по широкому кругу обошел базу. Время от времени он останавливался, поглядывал в сторону Детского пляжа. Боялся, что появится Кубыкин, потянется, зевнет, невероятным своим голосом спросит: «Ты, эта... Чо потерял?..» А что он потерял? Он, Веснин, ничего не терял. Можно ли потерять то, чего никогда не имел, и даже не собирался иметь?

Он вошел в подлесок, пересек искалеченную вездеходом дорогу, и на опушке увидел низко провисшую, похожую на жилистую старческую руку, ветку березы. И тихо еще, и духота давит, и земля под сухими грозами попается, электризуется, но в березах, плачущих, белых, в самом воздухе, пропитанном озоном, рас-

творен уже неуловимый холодок осени, медленно ползущей с востока. Да и сама тишина, в которую, как в прозрачную пластмассу, апрессован лес,— о с е н ь.

Минут тридцать, пораженный открытием ухода (а Веснин к сезонам привязывался накрепко), он бродил по лесу, проклиная завалы, разобраться в которых мог разве что ясновидящий. Да и что он искал? Окурок, что ли, Иной обронит?

«Собираатель опыта...— вздохнул Веснин.— Опыт!.. Только и дел у космического пришельца или пришельца из будущего, что перенимать у нас опыт. Опыт мужа, опыт жены, опыт приятеля... Как же,— усмехнулся он.— Разуму седьмой ступени без нашего опыта не обойтись!..»

Раздражение, как усталость, скапливалось в Веснине. Невыносимо нудно тянуло мышцы ног, покалывало под лопаткой. Он подумал: если и сегодня не прольется дождь, поубивает нас всех молниями. Как футболистов из Твенте. Меня-то уж точно убьет. Не может не попасть молния в такой напряженный, в такой наэлектризованный узел.

«Опыт...— вернулся к своим мыслям Веснин.— Кто-то из физиков оценил накопленный всем человечеством опыт примерно в 10^{23} бит. Приличная величина! Но какую же малую ее часть мы преобразуем в конкретную мысль, в конкретное чувство, в вообще явную форму!.. А все остальное идет в избыток, в отход, не используется никак. Хотя именно это, может быть, и хорошо. Ибо, что делать с той, неосознанной частью опыта?..»

«Представь,— сказал он себе,— уносит Иной в чужое пространство мой опыт. Мой опыт со всеми его провалами, заблуждениями, ложью — ящик Пандоры, змеинный клубок, в котором я и сам не всегда могу разобраться. И там, в своих райских галактических кущах, делает явным подсознание такого человека, как я. Да тут ни один космический Фрейд не разберется... Нет! Нет! Такое только присниться могло: существо, коллекционирующее чужой опыт! Что оно с ним будет делать? Зачем ему мое отношение к женщине, к делу, к устройству общества, ко всему тому, чего у него, возможно, вообще нет? Зачем ему, наконец, то, что я сам из себя вытравливаю годами?..»

Он вышел на берег речки Глухой, сел на замшелый завалившийся ствол сосны, закурил, сплюнул в воду.

«Сложная штука — опыт. Не так просто его собрать. Не так просто им воспользоваться. На это вся жизнь уходит и, конечно, не ради коллекционирования».

Опять накатывалась сухая гроза, опять растворено было в неподвижном воздухе электричество, а может, кофе Веснин перепил — сердце у него отяжелело, постукивало нехорошо, торопи-

лось, и весь он был насквозь пропитан нехорошей тяжкой тревогой.

Посмотрел на воду. Темная вода, осенняя. И осенне темнели кувшинки. А дальше шиповник краснел. Перед лужком, на той стороне.

Перед лужком...

Лужок как лужок. Трава. Кустики. Только вот поперек лужка полоска желтая протянулась, будто трава там взяла да пожухла, так вот, по прямой линии, отбитой как по шнуру.

Ну, пожухла и пожухла. Может, ей воды не хватило, мало ли...

Но не по прямой же линии!

Веснин подозрительно взглянул на речку, будто и воду ее должен был пересекать такой вот желтый шнур... Нет. Не пересекает. Мутная вода. Темная. И кувшинки темные, лежат на воде, как на тверди.

«А проверить надо,— оправдываясь, сказал Веснин.— Приснилось или явь, проверить надо. Да и день потерян. Какая работа, если за одну ночь жизнь из объекта чудес превращается в объект статистики...»

«Собирайте опыта!»

Конечно, большую часть опыта мы теряем еще до преобразования, но это не значит, что мы готовы его кому-то отдать. Опыт — единственный, что делает нас такими, какие мы есть. И именно им, своим опытом, и следует пользоваться».

Он вспомнил капитана Тимофеева. Был такой. Объявился сам по себе на литературном семинаре. Небольшого роста, широкоплечий, борода, как у адмирала Макарова, китель с шевронами. Настоящий, непридуманный капитан — над Атлантидой ходил не раз, глушил рыбу в гексафлегонах. Ждали от капитана чего угодно, но своего, необычного. А он поднялся и начал: «луч заката прощальный в голубой тишине...», «пики черные грезят небывальными снами...» На этом Веснин и поймал капитана. В перерыве, в буфете, за рюмочкой, спросил: «Где это вы начитались плохих стихов?» Тимофеев побагровел и схватился за бутылку. «Оставьте,— сказал Веснин,— стихи все равно вздорные!» И предложил: «Хотите, расскажу, как вы их сочиняете?» — «Чеси, крыса бумажная», — буркнул Тимофеев, не выпуская бутылку из мощного кулака. «Вы берете листок бумаги,— сказал Веснин,— и пишете на ней: «Закат», если, конечно, впрямь решили писать о закате. И прозой, без рифм и метра, законов которых не знаете, пишете, например, о деревянной японской тории, об этих ритуальных воротах, похожих на иероглиф и стоящих всегда в воде, на фоне какого-нибудь обрубистого мыса с флаговыми деревьями. Потом вздыхаете, поскольку вам неясна ценность того, что видели и подмети-

ли только вы один, и плохими стишками начинаете переключать истинно свое в нечто такое, что известно и знакомо всем. Отсюда и «луч заката прощальный», отсюда и «небывалые сны». Отсюда даже единственная приличная ваша строфа: «А вот здесь одноклассница Ася мне читала стихи Маршака». Помните, в стихах о беседке?..»

Тимофеев еще больше побагровел, и Веснин обреченно подумал: не понял, пустит бутылку в ход! Но капитан сдержался, выпил и хмыкнул: «Я таких закатов хоть сто напишу!» — «Сто не надо, но если писать, то только так. О своем. По-своему!»

Вспоминая капитана, Веснин испытывал зависть. Ведь это потом он, капитан Тимофеев, а не Веснин, написал об островах, стоящих над океаном как черные базальтовые стаканы. Это ведь потом он, капитан Тимофеев, написал о подводных течениях и людях, знающих большую глубину, пахнущую люминофорами и жесткими листьями водорослей... И хотя на книге капитана стояло посвящение именно ему, Веснину, создателя «Братьев по разуму» и «Гостя с Трента» это не утешало.

«Я видел то же, что и капитан,— подумал Веснин.— Но я не использовал свой опыт. А капитан все понял, перестроился, он сумел понять. И, конечно, научился работать...»

И вздрогнул.

«Тут поработаешь! При таком визге...»

Визжала вдали Надя.

5

На обратный путь Веснин потратил не более пяти минут. Потом он сравнил это время с расстоянием и удивился — как мало мы себя знаем! То же и о Кубыкине, обогнавшем его у Детского пляжа.

— Я им ничего не давал,— на бегу заявил Кубыкин.— Это Анфед, наверное, сплавал в Завьялово...

Но Анфед в Завьялово не плавал, и парфюмом ни от кого не тянуло. Анфед тащил из воды мокрую Надю. Ванечка же, олицетворение насмешливого спокойствия, стоял на берегу, двигал узкими бровками. Руки он скрестил на маломощной груди — наблюдал, изучал, интересовался. Надя была скользкая, блестящая как русалка. Ее мокрые волосы прилипли к странно уменьшившейся голове, а лента, видимо, утонула. И, увидев Надю, Кубыкин облегченно прохрипел:

— Ну, ты! Кричишь, а живая!

— Глупая! — сказал Анфед, выволакивая Надю на берег. — Нашла место нырять.

— Ты сам посмотри! — кричала Надя. — Там она, там! Стала бы я иначе прыгать!

Вместе с Весниным на помост, с которого прыгала Надя, взобрался и Кубыкин. Помест этот, резко обрывающийся в воду, при высокой воде служил причалом, но сейчас вода была низкая, непрозрачная. Нанесло в нее песка, ила, плавника — видно, в верховьях дожди все-таки пролились, не томили землю. Нырять в такую мутную воду, да еще рядом с причалом, тут Анфед был прав, могла только Надя. Хотя... Если присмотреться, сквозь муть, непрозрачность впрямь что-то проглядывало — как тень солнечной ряби... И движение, будто крупная рыба шевелила хвостом... И опять рябь...

— Спокойно, — сказал Веснину Кубыкин. И крикнул: — Анфед! Тута она!

— Кто? — раздраженно спросил Анфед.

— Да эта... — сказал Кубыкин. И растердился: — Почему я знаю!

«Иной», — мелькнуло в голове Веснина. — Наследил он все-таки, не ушел незамеченным!»

И что-то с Весниным произошло. Его раздражение вылилось вдруг в неопределенную, но, как ни странно, вполне осознаваемую им обиду на всех и вся. Будто свидание, обещанное только ему, оказалось свиданием многих. Будто у него отняли очень важную и ему одному принадлежащую вещь. И эта обида странно обострила его чувства. Он сейчас видел в се. Каждую деталь. Каждый жест. Видел, например, как убог и безлюден берег. Как несчастны и одиноки сосны, повисшие над водой. Стоят, наклонившись, но долго ли им стоять? Что могут их плоские, вывернутые, как утиные лапы, корни?.. И сам берег, отчаянно сопротивляющийся морю, показался Веснину дряхлым. «Да, конечно, — подумал он, — леса предшествовали человеку, пустыни следовали за ним; но обязательно ли это? Не пора ли все это менять?.. И тот же Ванечка... Как холодно он наблюдает за мокрой Надей... Кубыкин — молодцом, сбегал в палатку, принес полотенце, халат, а вот Ванечка как стоял, так и стоит. Аккуратненький, чистенький. Невероятно аккуратный и чистенький рядом с багроволицым, хрипло дышащим Кубыкиным, рядом с его обожженным, выпирающим из шортов животом. Два человека. Два вида...»

— Ладно, — хмуро сказал Весник. — Разбирайтесь сами.

— В чем? — хмыкнул Ванечка. — Не было в воде ничего! — и внимательно уставился на Надю. Ждал ее вскрика. И она, конечно, вскрикнула: «Сам нырни! Сам!» Ванечка удовлетворенно улыбнулся.

Весник опять посмотрел в воду. Скучная вода, потерявшая всю

свою летнюю прелесть. И не было в ней ничего — ни солнечной ряби, ни рыбы. Так... Мертвая муть... Как в душе...

И, повернувшись, Веснин пошел. Но не в палатку, к блокноту и кофе, — работать, а к причалу. Отвязал «семерку» Анфеда, бросил в нее желтый спасательный жилет и оттолкнулся веслом от берега.

6

Речку звали Глухой. Такой она и была — извилистая, темная.

Весла без всплеска опускались в воду и так же бесшумно вздымались над дымной водой. У берегов теснились кувшинки, желтоватые, вялые; кое-где замещали их, выталкивали прочь камыши, тоже пожелтевшие; а выше по берегу колючей изгородью тянулся бесконечный шиповник, заслоняя корни уходящих в поднебесную духоту сосен.

Выйдя на берег, Веснин подтянул лодку, медленно прошелся по лужку, копнул носком кады желтую, поникшую полоску травы. Копнул и ахнул. Вот это да! Под корнями земля была жженная, наполовину — зола, и корни обуглились, будто полоснул под дерном высокочастотный разряд. Шнуром через всю поляну: обуглил корни, сжег почву.

Веснин ошеломленно покопался в земле. Взять горсточку на анализ?... И корешки?... А почему нет? Пусть смеются!.. Ну, увлекся почвоведением, Докучаева обожаю... А то ведь дождь хлынет, смочит и корешки и золу.

Ничего другого Веснин не нашел, но ему хватило и корешков. Не зря, выходит, визжала Надя. Было и в воде что-то. Рябь, мерцание... «Объект под фальшивым именем...» «И почему, почему, — не переставал изумляться Веснин, — этот странный объект вырвал для контакта именно его, Веснина, а не какого-нибудь по-настоящему информированного человека из Академгородка — того же Салганика или Аганбегяна?...»

Он положил газетный пакет в карман, оттолкнул лодку. «С меня хватит. Все равно я не решусь об этом говорить. Голос Кубыкина, визг Нади, сожженная полоска... В юморе Иному не отказать. Знал, на кого выйти. На фантаста. А фантаст — он фантаст и есть. Читать его можно, верить не обязательно...»

7

Лагерь поразил Веснина чистотой. Ни окурка в траве, ни конфетного фантика. Травы причесана, растяжки натянуты. И на кухне чисто и хорошо пахнет — печеной картошкой, чаем.

— Садись, — пригласил Ванечка, — Кубыкин расстарался.

— Вижу. Мог бы и нас привлечь.

— Да что тут,— скромно признался Ванечка,— картошку я сам почистил.

— Я не о картошке. Я о лагере. Как перед праздником!

Кубыкин (он сидел напротив) высоко поднял брови:

— Да эта что... Вы спите, а ветер-то дует... Знаешь, как ночью дуло! Ну, думаю, будут палатки в море... Весь мусор снесло. Так у берега и плавает...

«Ветер? — удивился Веснин. — Какой ветер?» Не то чтобы он не верил Кубыкину, вполне верил — заслуженный человек, прихватил три года войны, жил в окопах... Но веря Кубыкину (верил ведь!), он не мог не верить себе: все было ночью — и сосны скрипели, и молнии били, но вот ветра, хоть убей, он не помнил.

— Вроде я что-то слышал... — неопределенно сообщил Веснин. И не хотел говорить, а вырвалось, и все удивленно на него посмотрели: в чем проблема? Не врет же Кубыкин? Да и не улетел же мусор в море сам...

Веснин промолчал. Чувствовал — что-то вокруг творится. Неладное, непонятное... Он судорожно пытался поймать какую-то ускользающую от него очень важную мысль. И не мог. Не получалось. Ел печеную картошку, запивал чаем, слушал жалобы Нади — не верил ей никто. Он, кстати, тоже... И злился, поглядывая на Ванечку: подлец, усики как на парад — острые!.. И, холодея от предчувствий, не знал еще, что самое сильное потрясение впереди.

А было так. Сидели они с Кубыкиным на Детском пляже, переставляли фигуры, и Кубыкин, выигрывая, уверенно говорил:

— Шахматы — это первая игра. В смысле интеллекта. Потом уже хоккей, правда?

Значительно говорил, будто проверял что-то. Но Веснин, согласно кивая, смотрел поверх его плеча, на то, что происходило за спиной начальника базы.

А за спиной его лежал пляжик, упирающийся в плоский мыс. Тальник, осока — заболоченный серый мыс, гнездо комаров, куда и по нужде никто не заглядывал. Затхло, сыро, опасно. Комаров не травили года три, комары наводили ужас. Не сейчас, конечно. Сезон их уже отошел, хотя на мысе они еще были. Больше пisku, чем вреда, но рефлексy срабатывают. И Веснин не мог не удивиться: кто-то в тальнике шастал, пригибал кусты. Краем глаза, не поднимая головы (чувствовал — не надо!), он различил, наконец, и человека. А-а-а... Вот это кто! Анфед! Глаза хмурые, губы сжаты, под мышкой — мешок. Выглянул из-за кустов и вновь спрятался.

Совсем исчез Анфед. Потерялся. Появился минут через десять с другой стороны. Значит, крюк дал, следы запутывал. А вот

про кеды забыл. Кеды у него оказались мокрые. Где их сейчас замочить можно? В тальнике... И походка у Анфеда изменилась: шел, старчески шаркая ногами, когда сел рядом — локтями твердо уперся в стол.

— Позицию видишь? — строго спросил Кубыкин.

— Вижу, — буркнул Анфед.

— И как?

— Играешь убедительно.

— Так-то! — Кубыкин торжествующе взглянул на Анфеда. — А ты рыбки поймал? Рыбка будет к ужину?

— На картошке протянем, — так же хмуро буркнул Анфед. — Поставки у меня сняли, и мозоли натер, видишь? — он показал растертые ладони. — Это химики, это они сняли...

— Ясно, химики, — уверенно сказал Кубыкин. — У нас сержант всегда говорил: «Химики!..» А мозоли-то чего?

— Лодку вокруг якоря так и водит. Волна.

— Ну, давай, — сказал Кубыкин. — Садись. Ты не писатель, с тобой я сыграю красиво.

Но отказались и Анфед и Веснин. Отправились к своим палаткам, и Веснина вновь поразила походка Анфеда: ковылял, обходил каждую кочку.

— Ноги потер?

— Ага, — буркнул Анфед. — Лодку вокруг якоря так и води Волна.

А перед палаткой Анфед осторожно опустился на четвереньки и так и вполз внутрь, и сразу изнутри зашнуrowался. Устал, дескать. Амба!

Веснин терпеливо посидел на пеньке. Покурил, попускал дым, подумал. Решил — уснул Анфед. И кружной дорогой, через пригорок, огибая Детский пляж, двинулся в тальник. Загадка Анфеда не могла быть только его, Анфеда, загадкой. Она явно касалась всех.

Прошел мимо баньки, исторгающей тепло. Пересек волейбольную площадку. Вступил в тальники... Ржавые лужи, комарики попискивают. Что и где можно тут спрятать? Разве в луже притопить? Правильно... Вон он — мешок. Притоплен, только край из лужи торчит.

Еще не раскрыв мешка, Веснин догадался: «Леж! Вот он». Красавец! Сантиметров на восемьдесят. Все девять килограммов будут. И чешуя, как копейки, — одна к другой, глаз не отведешь... «А Анфед, дурачок, такого леща не на кухню, а в тальники. Тро-нул парнишка..»

Но говорил это Веснин почти машинально. Он многое и сразу понял. Тот вечер, когда Надя заговорила о желаниях, — чего Ку-

быкин желал? Территории чистой!.. А Анфед? Леща! И не только... Вот это-то «не только» и напугало, видимо, Анфеда. Поэтому он, Анфед, и притащил в тальники леща. Не один Веснин почувствовал нечто неладное, интуиция Анфеда тоже сработала. Да и как не сработать — дело маленькое. Ведь если сказал ты — леща хочу, а лещ тут же объявился, значит, и другие желания сбыться могут! Не зря же Анфед ступал на землю всей ступней, обходил каждую рытвину — боялся. Все он понимал, Анфед, и логику блюл: подкинули леща, значит, и насчет ноги намекнули... А кто или что — неважно. Факт важен. Так что лучше этого дурного леща вернуть. И лучше не в море, а в лужу. В море он опять к его поставкам придет. Вот, дескать, вам, матушка природа или там объект под фальшивым именем, ваш лещ, и, пожалуйста, насчет моей ноги не тревожьтесь. Пусть она не ломается. Это я так, сдуру пожелал... Умница Анфед! Чисто.

Веснин вздохнул. Сам он не успел загадать желание. Не желание же это в конце концов — сломать судьбу... Время на это надо.

Путая Веснина, лещ в мешке дернулся.

В море пустить? Конечно... Зачем такому лещу пропадать в луже?

Волоком, не решаясь поднять, Веснин дотащил мешок до воды и вытряхнул леща в море. Тот как упал, так и затонул — успел пустить пару пузырьков, и все. «Ну,— вслух сказал Веснин.— Тут я тебя не могу помочь. Живой воды не имею. Вернули тебе родную стихию — выкарабкивайся...»

8

А вечером разошелся Ванечка — он бывал и такой. Вытащил к костру все еще дующуюся Надю, взял гитару, затащил:

— Эх, была бы дорога от звезды до звезды, на коне проскакал бы...

— ...И туды, и сюды! — прохрипел появившийся у костра Кубыкин.

— Вот видишь,— сказал, опуская гитару, Ванечка.— А ты говоришь, слуха у тебя нет. Есть у тебя слух, есть у тебя голос, просто ты, Кубыкин, в последнее время опустил.

Услышав голоса, из палатки, чуть ли не ползком, выбрался Анфед. Сел не на пенек, а на разостланную на траве штормовку.

— Мозоли болят? — удивился Кубыкин.

— Температура... — повел рукой Анфед, и Надя сразу напала:

— Ну, скажи, Анфед! Ведь было в воде что-то, да? Было?

— Было! — убедительно и негромко опередил Анфеда Кубы-

кин.— У нас в речке чего только нет. Милка Каплицкая, к примеру, обронила в воду кольцо. Там оно и лежит. И одно ли? Таких дур, как Милка, их сколько?

— Анфед, посчитай! — приказал Ванечка.

— Я уже посчитал, — хмуро ответил Анфед. — Две.

— Анфед! — отчаялась Надя.

Но Анфед от нее отмахнулся. Забрал у Ванечки гитару, и напитанный электричеством, душный, горячий, пахнувший смолой воздух огласился мажорной вроде бы, а на самом деле очень печальной песенкой:

— Ничего такого нету, все в порядке, все — ажур. Только съехали соседи и уперли наших кур. Машка бросила Ивана, Манька вышла за Петра, кобеля убило краном, остальное — на ура...

Веснин покачал головой. «Если и сегодня не разразится дождь, мы тут с ума посходим. Вот тебе и база отдыха. Безделье, взвинченные нервы... Называется, поработал...»

Но от костра Веснин не ушел.

И дымные сумерки сгустились над лесом, и странно, зеркально, как раскаленная ртуть, вспухло, багрово застыло море, и темный жар сумерек затопил берега, а Веснин не уходил, сидел у костра, думал, искал объяснений. «Был лещ, но не сломал же Анфед ногу. Чист лагерь, но не удивлен же Кубыкин... Не было логики в происходящем, а она ведь должна, обязательно должна быть!»

«Серова бы сюда, — вздохнул он. — Серов бы навел порядок! Анфеда выгнал бы в городок за аппаратурой. Леща анатомировал. Сухую полоску на лужке прикрыл полиэтиленом, а для вящей сохранности и окопал бы ее. А мы ему представили б докладные... Серов знает, где искать. Там, где освещено! Он босиком во тьму не полезет!»

От костра Веснин ушел поздно, расстроенный. Лежал в палатке, прислушивался к убедительному голосу Кубыкина-настоящего: «Вот сержант и говорит мне...» — и раздражение топило его в вязкой пучине, все вещи проявляло не так, как всегда — то знакомая грань, а то уж совсем незнакомые сколы... И пакость какая-то из души всплывала, будто душевную канализацию прорвало. Видел, например, пальто, которое так никогда и не купил матери. Видел неотосланные письма друзьям. Видел слезы жены — раньше они казались ему капризом. Видел цепь неоконченных, даже неначатых работ и видел ничтожную глубину работ законченных. И еще что-то, чего он старался не называть, но что рано или поздно пробуждается в любом человеке...

«Опыт, — сказал он себе. — Что толку в опыте, если он не используется; что толку в том, что я видел два океана и семь мо-

рей; что толку в том, что я встречал самых разнообразных людей,—ведь это все никак не отразилось на моем пришельце с Трента. Я придумывал его, отталкиваясь не от опыта. Напротив, я бежал от опыта, уходил — боялся трогать все то, что болело во мне. Не хирург я. Так... массажист».

— Что такое массажист? — спросил голос Кубыкина.

Веснин привстал на локте. Это был не Кубыкин. Время позднее, костер погасили — спит Кубыкин. Только голос его не спит. В бесшумном, полыхающем зарницами мире, над которым чертит дугу несущийся проблесковый спутник, он, голос Кубыкина — единственное живое.

А газовый шлейф уже обнимал сосну. Еще более бесформенный, чем вчера, будто после первого знакомства и эту фиктивную оболочку можно было не скрашивать. «Хамит... — подумал Веснин. — Какое амикошонство!» Но несмотря на покальвания, на удушье тяжелой грозовой ночи, сумел внятно объяснить, кто такой массажист.

— Это плохо? — спросил Иной.

— Да нет... Но не каждого это утешает. Если ты можешь работать за четверых, не каждого утешает то, что он и за одного не работает. Разве у вас не так?

Голос, как обычно, игнорировал вопрос, и Веснин сжал кулаки — говоришь, как в стенку, как с эхом!

«Эхо...

А может, я и вправду говорю сам с собой? С собственной, поднявшейся из глубин подсознания совестью?»

Веснин рассмеялся. «Совесть... Газовый шлейф... Голос Кубыкина... Так я приму за диамант и продукты метаболизма...

И все же...

Не отрекся же он, Иной, от связи с нами — людьми. Указал же он на неведомые семь ступеней развития... Не значит ли это, что он и в самом деле является в некотором смысле мной, только в неимоверно отдаленном будущем? И не значит ли это, что единственная цель нашей встречи — необычная возможность по-новому взглянуть на себя? Ведь что мы в своих глазах? Венец мира, уникум, существа в превосходной степени... Он, Иной, наверное, прав: «Выбери ответ сам!» Выбирать ответ, действительно, следует самому. А Иной... Иной может прийти на невинный зов, как идем мы на голос плачущего ребенка. И он может утешить, видом своим, явлением своим, намеком на наше состоявшееся будущее. Но причины, вызвавшие наш плач, он устранять не обязан. С этим мы должны справиться сами.

Веснин внимательно взглянул на газовый шлейф. «Может быть, правда, это — мы, прошедшие семь ступеней развития; лу-

чистое человечество, прошедшее первый круг миров и заглянувшее в свое детство? Может быть, это и впрямь мы, осознавшие единственную нашу ценность — опыт? В том числе опыт детства».

С неожиданным сомнением Веснин всмотрелся в мерцающее перед ним облачко. «Почему Иной выбрал голос Кубыкина? Почему он не воспользовался чьим-то другим? Боялся напугать меня — ребенка?.. Подлаживаемся же мы к детям, сюсюкаем с ними. Но отвечаем ли на любой их вопрос?..

И если Иной действительно мое будущее, то не естественно ли для него, пройдя свои семь ступеней, заглянуть в детство, в котором всегда остается нечто важное, может быть, еще не осознанное нами — людьми».

«Ну, конечно,— сказал он себе.— Я, распухавший от голода, переживший мать, отца, даже младшую сестру, я, конечно, боюсь детства. Но ведь было там не только это! Дружба была, сила была, вера была — они меня и сейчас поддерживают. Так почему я решил, что Иной не справится с моим опытом?..»

Эта мысль принесла облегчение. Боль отпустила. Пришла ясность. А вот Иной потускнел, почти не искрился, гас. Веснин испугался:

— Ты уходишь?

— Да.

И тогда Веснин осознал, о чем он должен спросить. Зачем все это? Зачем лещ? Зачем рябь в темной воде? Зачем растения, люди, микробы, квазары, туманности, угольные мешки? Зачем вода и огонь? Зачем зависть Ванечки и испуг Нади?..

— Выбери ответ сам.

— Но ведь для этого я должен прожить твою жизнь! — в отчаянии воскликнул Веснин.

Но Иной не ответил. Он гас, рассевался. И гасли зарницы, тускло небо, звезды прятались за потянувшими с моря тучами. Молния, не похожая на прежние — кривая, хищная, легко скользнула над морем, разразилась адским грохотом, дергаясь, прыгая, и не было больше тишины, как и не было больше Иного. Стонала обожженная сосна, трепетали палатки. Сквозь раскаленную ночь били крупные тяжкие капли прорвавшегося, наконец, дождя.

«Соавтор,— вспомнил Веснин.— Серов говорил, мне нужен соавтор. Такой, чтобы умел ткнуть меня носом в мною же совершенную глупость...»

Он прислушался к дождю, к ветру. Он понял — Серов прав. Есть у него соавтор. Да и не один. И всегда у любого творца были соавторы. У Колумба — матрос, крикнувший с реи: «Земля!»

У Эрстеда — студент, обративший его внимание на странное поведение стрелки компаса, рядом с которым пропускали ток... У всех они были, никто не обошелся без соавторов — в этом Серов прав.

Веснин взглянул на сосну, на фоне которой совсем недавно плавился голубой призрак, и медленно, на ощупь, нашел газетный пакет. «Зачем он собрал эту сожженную землю? Хотел подвергнуть ее химанализу? Хотел доказать правоту горелыми корешками? А не слишком ли часто мы утверждаем свою правоту сожженной землей? Не пора ли отправить на химанализ душу?»

Не глядя, он швырнул пакет. Пакет ударился о сосну, разорвался, зашуршала, рассыпаясь, земля. «Вот и все,— сказал себе Веснин.— Дождь все смывает...»

Ему было легко. Он слышал, как стучат капли, как медленно напряжение отпускает ссохшееся тело земли. Ему казалось, он слышит, как напиваются влагой деревья, как легче становится сонное дыхание Кубыкина, Анфеда, Вани. Он даже Ванечкины усики увидел — сонные, вялые; и они не вызвали в нем раздражения. Что он, Ванечка, пожелал? И чего пожелала Надя?.. «Может, и узнаю,— сказал он себе.— Утром сварю кофе, позову Надю, расскажу о своем сюжете. Интересно, что она скажет? И что скажет Кубыкин? И что мне подскажет Ванечка?..»

То, что начался дождь, было хорошо. Дождя давно ждали. И то, что ушел Иной, тоже, наверное, было хорошо. Ведь если он, Иной, ушел, значит он, Веснин, не нуждается уже в утешениях. Это вчера он был хныкающим, заблудившимся ребенком. Сегодня ему не нужен никакой поводырь...

Он усмехнулся, сел на дрогнувшем под ним надувном матрасе, развел руки в стороны. Он, как никогда, чувствовал прекрасную силу здорового тела. Он, как никогда, чувствовал прекрасную силу хорошо работающего мозга. Он чувствовал уверенность. И когда сквозь шорох падающего дождя раздался шум, звуки, раздался голос Кубыкина, он даже испугался: что там случилось? Вернулся Иной?

Но это был не Иной. Это был сам Кубыкин. Он подошел, раздвинув отсыревшие полы палатки, чиркнул спичкой и хрипло, невероятным своим голосом сказал:

— Слышь... Пойдем... Там Анфед... сломал ногу.

Письмо

Маришенька!

Пожалуйста, прости меня, но я позаботился, чтобы ты получила это письмо в момент, когда уже ничего нельзя изменить. Поэтому не заглядывай сразу в конец (хотя все равно заглянешь, знаю я тебя), а заглянув — не кидайся звонить в милицию или горисполком. Опыт поставлен, опыт закончился, чем он закончился, ты узнаешь утром (письмо к тебе попало поздним вечером, правда? Я ведь все рассчитал точно).

Пишу эти строчки рано утром, опыт начат, но его эффект станет заметен не раньше чем часов через шесть—восемь, и я решил пока поболтать с тобой — на бумаге, к сожалению. За результаты опыта как-то не беспокоюсь: у меня, ты знаешь, сейчас полоса везения. Началась она тогда, когда мы встретились.

Что же, и пора было начать везению, если учесть, как мне не везло предыдущие сорок два года моей жизни. О том, что все эти годы я не знал тебя, не буду даже говорить. О том, как я поступал на биофак МГУ, а попал в педагогический, как менял профессии и призвания два десятка лет, пока на исходе их не укрепился в роли антрополога, о неудачных женитьбах и почти столь же неудачных романтических историях ты знаешь и так. Словом... Мало того. У меня есть основания полагать, что невезение досталось мне по наследству.

Я не знаю, правда, как звали тех моих предков, что угодили под сабли опричников или легли на плаху при Петре. Зато точно известно (отец увлекался генеалогией), что в 1852 году мой прапрадед со стороны отца мелкопоместный дворянин Андрей Губанов подал в отставку, будучи всего лишь корнетом в гусарском полку, — подал в отставку, потому что проигрался и не мог заплатить «долг чести». В том же году моя прапрабабка со стороны матери, крепостная господ Травниковых, пыталась сбежать от помещика, которому чересчур уж понравилась, была поймана, высечена и выдана замуж за драчуна и пьяницу, самого никудышного мужика во всех обширных владениях отвергнутого поклонника.

Дедов и бабок у каждого из нас четверо, прадедов и прабабок — восемь, прапрадедов и прапрабабушек — шестнадцать. Простейший этот арифметический подсчет показывает, что во времена проигравшегося гусара, а также неудачливой беглянки и ее пьяницы-мужа, жило еще тринадцать моих предков той же степени

родства. Думаю, что и эти тринадцать были неудачниками — одна цифра чего стоит.

Маришенька! Ты читаешь эти строчки и одновременно крутишь диск телефона. Я тебя знаю! Но и ты меня знаешь. Я никогда тебя не обманывал. Честное слово, сейчас поздно что-нибудь предпринимать. Ты читаешь мое письмо в девять вечера... с минутами. А я уже давно сплю и проснусь к утру. Конечно, ты можешь добиться, чтобы меня разбудили раньше, но это может меня погубить. Не надо, Маришенька, а?

Ну вот, я забыл упомянуть еще одного предка, которым особенно гордился мой отец (я подозреваю, правда, что этот Евлампий Губанов был нам только однофамильцем, потому что под конец жизни он получил от Павла I орден и поместье — значит, в конце концов ему повезло. Но это был такой уже конец концов...) Евлампий был самым законопослушным из сынов своего времени. Его бросила в тюрьму Екатерина I, потому что он боролся за права на престол внука Петра I, будущего Петра II. Его сослала в Сибирь Анна Иоанновна — он требовал воцарения ее старшей сестры, Екатерины Иоанновны, которая сама на трон и не претендовала.

Ему вырвали язык по приказу кротчайшей Елисавет — вступился, бедняга, за несчастного годовалого императора Иоанна Антоновича.

Мариша, я очень боялся. Помнишь, к тебе подошел знакомиться в кафе, что у Домского собора, парень? Я для него не существовал. Дядюшка, папаша — только не муж. Раньше или позже и ты ощутишь эту разницу. Если я ее ничем не заполню. Вот я и пошел на этот опыт. Ахось, буду тебя достоин. Как ты радовалась, что мне разрешили взять тебя сюда, на конференцию, заказали номер на двоих, дали несколько свободных дней. Шеф и не то бы позволил, раз я вызвался добровольцем. Только ты его не ругай — он сейчас сидит в другом углу той же комнаты, на другой кровати, у другого столика, тоже что-то пишет. Может быть, другой Марише. Может быть, научное завещание на случай — тьфу, да какой там случай! Нет, скорее всего он просто описывает состояние своего организма. Шеф, видишь ли, второй, вернее, первый доброволец. Хотя нет, все-таки второй — но тогда я только третий доброволец. Помнишь, я тебе рассказывал о Пабло Гонсалесе из Венесуэлы? Он нас и вынудил, можно сказать, пойти на эксперимент. Шеф весь закипел, когда прочел саморекламу этого фанатика. Открыл он, видите ли, способ превращения в сверхчеловека. Шефу этот термин совсем не нравится, а я еще как-то теряюсь в определениях. Мой шеф и его соавтор предпочитают говорить о «взрослой стадии человека». Видишь, даже не высшей. А интересно, каким я буду, когда стану взрослым? Ты утверждала ведь,

что я лет на десять моложе тебя, да мне и вправду кажется, что лет с восьми я ни по характеру, ни по темпераменту не изменился.

Прости, что я с тобой не посоветовался. Но ты ведь была бы против, значит, можно считать, что я все-таки знал твое мнение, только не согласился с ним.

А когда мой шеф впервые встретился с Николаевым, тебе было только двенадцать лет. Смешно! Я уже работал с шефом, он даже советовал мне подумать над темой для диссертации, но я все не мог выбрать.

А тут является Николай Сергеевич Николаев. Сама понимаешь, старик о нем слышал, фигура видная. Но чего энтомологу с антропологом делить? Николаева, видите ли, интересует, как древняя обезьяна стала человеком. Шеф, понятно, отвечает, что, мол, мутации, удачные метисации, при давлении естественного отбора и развитии социальных отношений в первобытном стаде... в твоём историко-архивном этого еще не проходили, наверно. Ну вот. Но Николаеву мало. Шеф начинает блистать своей ученостью. Рассыпает перед ним гипотезы. Совсем (для интереса, видно) опустил: даже о космических пришельцах, которые нас якобы на путь истинный направили, рассказал. Потом насчет того, что человек будто бы дитя обезьяны, почему-то не ставшее взрослеть, ухитрившееся до старости сохранять детские черты. Показал свою любимую фотографию — три младенца рядом: человеческий, гориллы, шимпанзе. Сходство — умопомрачительное, куда больше, чем у взрослых, я тебе принесу это фото. Да, гипотеза интересная, но еще в тридцатые годы было доказано...

Ришенька, ты уж чересчур не беспокойся. Я же тебе сказал, что мое невезение кончилось. Пора ему было кончаться, этому родовому невезению — я тебе писал, как давно оно началось. А все, что имеет начало... Тем более, начало столь древнее. Действительно, чего это я вспоминаю только тех своих предков, историю которых мой отец документально проследил? Ей-ей, в моих жилах живет память о бесконечно более отдаленных во времени неудачниках. Тех, от кого произошли все мы, — о кроманьонце, которого ледник ни за что, ни про что согнал с родных мест, о его пра-пра-пра... внуке, которого враги заставили уходить от них, следуя за отступавшим уже ледником. О том, как некий рамалитек остался без тропического леса, съеденного похолоданиями, и лонезоле побрел по саванне, время от времени вставая на задние лапы, чтобы знать, куда и куда можно бежать... Среди моих предков и та невезучая тварь, что стала кормить детенышей молоком, вместо того чтобы жить легко и свободно, рассовывая яйца по очередным кучам песка.

Но мои гены вспоминают и еще кое о чем, кроме невезения. Вспоминают — и работают, командуют моим сравнительно нестарым организмом. Только не все ведь гены, Ришенька, работают. Некоторые — не командуют. Молчат. А о чем они молчат — бог их знает. Может быть, молчащие гены — только дублиеры говорящих, резерв на случай неполадок. Но великоват резерв-то. Может быть, в них — память о разных ненужных уже вещах. Хвосте, защечных мешках, чешуе... А может быть, материал для будущей эволюции человека: заговорят молчащие гены — и наш разум станет сильнее, реакция — быстрее, воля — тверже, страсти — добрее...

Как мне повезло, что я тебя встретил! Как мне повезло, что мы вместе приехали в тот город. Черт его знает, как получилось, но у нас с тобой ведь даже билеты до Риги опять были на одно место, и даже то самое, что тогда: оба — на кресло 5а. Но теперь мы уже не обращались к бортпроводнице, как в первый раз, в самолете из Одессы. Обратные билеты у нас на два разных места, но один из них на то же самое 5а — надо бы подсчитать вероятность такого совпадения. Примем для простоты, что в самолете 100 мест... Впрочем, ну ее, арифметику. А хороший город Рига, правда? В старой Риге улицы скрещиваются и расходятся, переходят одна в другую, пересекаются под всеми углами, которые только известны геометрии — евклидовой и неевклидовой. И за каждым углом — новое. В домах. В людях. В тебе и мне.

У этого переплетения улиц — правда же? — есть свои законы, и мы с тобой стали загадывать, что нас ждет за этими домами, какую вывеску мы прочтем, подойдя поближе к узорчатому окну, какое из старинных зданий впереди признает себя музеем, и где тюлевые занавески обозначают обычную семейную жизнь.

Мы сидели в сквере на маленькой площади. Ей было лет семьсот, а скверу, мы прикинули по деревьям, побольше ста. Но ты удивленно сказала, что город совсем не кажется старым. И я ответил, что он и на самом деле не старый. Он взрослый. Точнее, сказал я, это — город—имаго.

И ты спросила: «Имаго? Это что-то из жизни насекомых?»

И я стал объяснять, что словом «имаго» обозначают взрослую форму насекомых — последнюю стадию метаморфоза. Из яйца выходит гусеница, гусеница превращается в куколку, куколка становится бабочкой. Бабочка — она и есть имаго. Гусеница растет, но не развивается. Зато как растет! Каждой своей клеткой. Ни одна из них не гибнет, ни одна из них — фантастика! — не делится, все только растут. В тысячу раз больше станет гусеница, а клетки в ней те же, только в тысячу раз крупнее. Вот так и некоторые города. Становятся больше, но все те же. Скука! А этот город развивался все свои восемьсот лет. Он красивее просто увеличивающихся, как

бабочка красивее гусеницы. Как все, что развивается, красивее всего, что только растёт. Если бы ты знала, какое прямое отношение ко мне имели превращения насекомых. Очень горжусь, что за полгода так и не рассказал тебе ничего о нашей совместной работе — шефа, Николаева и моей. Это был мой единственный секрет. Ладно, Маришенька?

Зато я сказал тебе ещё тогда, что тоже, как та гусеница, с восьми лет не изменяюсь. А вот ты — ты меняешься все время, все время, твой метаморфоз не кончен.

А чем кончится мой? Понимаешь, Николаев придумал, как получить имаго у человека. Взрослую форму Гомо сапиенса.

Между человеком и обезьяной разница не меньше, чем между бабочкой и гусеницей. Но человек ещё не бабочка — только куколка. Куколка, которой ещё предстоит превратиться в имаго. Метаморфоз оборвался, по мнению Николаева, раньше времени. Николаев ничего не понимал в антропологии, но был энтомологом и имел собственные взгляды насчёт молчащих генов. И даже насчёт того, как заставить их заговорить. Во всяком случае те гены, которые у человека руководили метаморфозом мозга — если такой метаморфоз шел. Его идеи, потом идеи шефа... А я ставил эксперименты. На обезьянах.

...Помнишь, как я первый раз внес тебя в море? Мы прошли соловую рощу, бегом пересекли полосу песка и через разрыв в ленте кустарника выбрались на фантастически пустынный пляж из фантастически белого и мелкого песка. (Этот песок! У нас обоих уже через час остановились часы, и я нахально решил: потому что мы счастливы. А вечером высокомерно-насмешливый часовщик назвал нам истинную, по его мнению, причину.)

Мы разделись на скамеечке, наполовину ушедшей в тот же песок, побежали к воде, а она оказалась холодной, и ты, увидев, что ближайшие купальщики за полкилометра, попросила, чтобы я понес тебя до сколько-нибудь глубокого места. Метрах в тридцати от берега я опустил тебя в воду, дошедшую мне до бедер. Как победно, весело, молодо ты завизжала! А потом мы оглянулись на берег и увидели, что в полосе песка между соснами и кустарником, которую мы так быстро и без оглядки одолели, что как раз в этой полосе сосредоточено все довольно многочисленное население Рижского взморья. Потом оказалось, что именно туда было всего труднее проникнуть прохладному ветру...

Ну вот, собственно, и рассказал тебе свой единственный секрет. Опыты над человеком — даже над собой — никто бы нам не разрешил. А шеф не стал бы их ставить, но тут вылез Гонсалес. Он начал опыт в Венесуэле, вспрыснул свой «включатель генов» себе в вену, эффект же, по его заявлению, должен проявиться ко второму

дию той самой международной научной конференции, на которую мы с шефом и Николаевым приехали в Ригу. Гонсалес уже в Риге и в первый день конференции — то есть завтра, если на твоих часах сейчас еще нет двенадцати, — будет делать доклад об эксперименте. Он утверждает в своих публикациях, что эффект проявляется на восьмой день после всприскивания и реализуется в течение получаса, судя по опытам на шимпанзе. Словом, он намеревается превратиться в «сверхчеловека» на наших глазах.

Уж эти мне термины! Мы с шефом «сверхчеловеками» становиться не собираемся. Мало того, мы бы не пошли на этот эксперимент, если бы наши опыты на обезьянах не показали, что состояние имаго обратимо и через несколько дней самоликвидируется. Чему оно соответствует у человека? Скоро узнаем. Если гениальности — придется поработать над тем, чтобы человек подольше оставался в фазе имаго.

Мы трое бросили жребий, кому идти на эксперимент, а кому доклад делать. Мне — полоса везения — выпало первое. Шефу тоже. А кто-то должен ведь вести записи. Смешно смотреть на беднягу Николаева — как переживает. Особенно его смущает, что, судя по статьям Гонсалеса, у этого «сверхчеловека» совсем другая методика; и у его обезьян эффект скорее касается быстроты реакции, чем сообразительности; у нас они после опыта решают более сложные задачи, чем контрольные экземпляры, а у Гонсалеса те же самые, только быстрее. И сроки действия инъекций другие.

...Интересно представить себе, каким бы сейчас было твое лицо, если бы ты и вправду читала это письмо. Но ты прочтешь его, только если все кончится плохо. Не знаю, правда, что здесь может значить слово «плохо».

А если хорошо — мы прочтем его вместе... Риша.

Почерк в последней фразе резко отличался от почерка, которым было написано все письмо. А слово «Риша» было изображено корявыми печатными буквами. За ним неумелый рисунок — девочка с длинной косой возле башни, украшенной схематическим изображением петушка.

* * *

— Ну, не плачь, Ришенька, — сказал мужчина сидевшей рядом с ним девушке. — Ты же видишь, все кончилось хорошо.

— Чего мне стоила эта неделя, дурачок! Особенно после того, как я увидела Гонсалеса.

— Ну, у него тоже проходит. Николаев старается всюю. А теперь и шеф к нему смог примкнуть.

— Милый, мне было не до того, но теперь хоть скажи, отчего это случилось с Гонсалесом? Знаешь, как было страшно! Вышел на кафедру, положил перед собой бумаги, начал их читать вслух, сделал паузу, протянул руку к стакану с водой и вдруг раздавил его. Брови у него в стороны полезли, лоб сморщился, губы стали тоньше, из-за них клыки показались... Ассистенты — к нему, он их раскидал, одному плечо повредил. Потом забился под кафедру.

— Понимаешь, Маришенька, самое смешное, что Гонсалес и вправду получил человека во взрослом состоянии. Ты же прочла наконец мое письмо, я там упоминал гипотезу, называющую человека «дитятей обезьяны». Шимпанзенок похож на человека куда больше, чем взрослый шимпанзе, и горилленок больше, чем горилла. Не только внешне похож, но поведением, интересом к жизни, добродушием, терпимостью, с которыми у взрослых человекообразных плоховато. Видно, и вправду что-то когда-то случилось с детенышем какой-нибудь древней обезьяны... Он и вырос — и остался ребенком.

— А как же вы?

— Э! Нас, по существу, интересовала, как мы теперь понимаем, та стадия, на которой человек энергичней всего развивается. Мы хотели получить именно ее. Хоть и говорили об имаго. А у человека эта стадия — детство. Ребенок, дорогая моя, совсем, совсем не личинка. На ее роль, если уж пользоваться этой аналогией, больше годятся иные взрослые. Ведь личинка не развивается, даже если растет. Гении — те, кто детскую способность развиваться сберегает в себе до конца.

■ СЛОВО — МОЛОДЫМ

ГАЛИНА ПАНИЗОВСКАЯ

Моя Галатея

— Не надо.

— Почему?

— Пусти.

Лицо у нее было замерзшее.

— Не надо.

«Ничего, это она так»,— решил я.

Если б можно было просто пригнать и дернуть за кисточку торшера. А что тут такого?

Я встретил ее полчаса назад: она выходила из театра, и мы чуть не столкнулись.

— Таня! — выдохнул я.

Мы не виделись десять лет. Вернее, я видел ее только из зала. Но она вдруг пошла со мной. Я позвал — и она пошла. А когда к человеку приходит чудо, самое умное, что он может сделать, — не спугнуть его удивлением.

— Слышишь, не надо.

— Но я...

— Отпусти.

— Но я же только...

— Я забыла в сумке платок.

«Так тебе и надо»,— сказал я себе, вставая с дивана. — Слюн-
тяй!»

Когда я позвал ее, на улице были сумерки. Потом я тянул ее по темному коридору и предупреждал: «Тут сундук, а тут ступенька», и старался, чтобы не услышали соседи. А она с чужим, «дамским» голосом, в роскошной распахнутой шубке...

Теперь шубка валялась пустая. А она сидела под самой лампой, и у нее было такое забытое Танино лицо...

«Осел»,— сказал я себе. — Ты же хотел, чтобы она к тебе пришла. И вот она здесь. Не разыгрывай идиота».

«Смотри»,— сказал я себе еще, — ну что ты раскис? Разве есть в ней сейчас хоть что-то от Таньки — лаборантки с рыжими хвостиками? Она актриса. Самая модная, просто прима. И выбрось в мусоропровод свои дурацкие чувства».

И зачем я ее привел? Самое лучшее было бы сейчас извиниться и вызвать такси. Я подал бы ей раздушенный шарфик и втопнул бы ее в машину. И засунул бы вместе с ней те забытые дни...

...Она сидела, опершись виском о пальцы. Прозрачным Таниным виском о те самые пальцы...

* * *

Я вижу, как будто сейчас, белый палец на желтом пластике. Это было десять лет назад в моем лабораторном отсеке. Галатея давала на осциллограф какие-то формулы. Я все еще делал вид, что тоже их понимаю.

Дверь распахнулась. Рыжая Танька-лаборантка, та, что хочет стать артисткой, вошла, качаясь на «шпильках».

— Привет вам, Машина! — пропела она и провела по корпусу Галатеи пальцем с неровным ногтем.

И тут луч моей машины забегал, дробясь зигзагами, а приборы разом зашкалили.

«Да ты что? — сказал я себе в ответ на свою догадку. — Ну причем здесь Танька?.. И надо же такое выдумать!»

В этот день я первый раз сменил Галатее кристалл: он вдруг не выдержал перегрузок. (Она была биоэлектронная, эта моя машина. Электронный блок управлял в ней синтезом ячеек мозга: серого вещества. И это вещество тоже подключалось к управлению. Так что практически она могла самосовершенствоваться до бесконечности... Я собрал ей электронику, построил первичную биоцепь, смонтировал слух и зрение... Но тут она стала «думать», и я запутался в ее новых схемах.) На другой день кристалл пришлось менять снова. Через день — еще раз.

А потом я встретил у своего отсека Димку с Аликом.

— У антенщиков новенькая, вот это да! Видел? — восхищался Алик.

— Вид клевый, — согласился Димка. — Абсолютно.

— Татьяной зовут. У меня предки на даче. Как думаешь, танцевать она любит?

— Черт ее поймет!

— А ты что, уже интересовался?

— А как же? Выпендривается.

— И правильно делает. Вот если б ты был блистательный шеф...

— Ну, тогда бы она не часто меня тут встречала.

— ..Или хотя бы критский царь Витька-Пигмалион, творец Галатеи... Эй, Вить! Что это она повадилась в твой отсек?

* * *

— Кристалл, конечно, скис опять? — вошел я к Галатее. И, не глядя, взялся за паяльник.

— Противно, когда запускают руки тебе во внутренности, — заявила Галатее. — Ты их хотя бы мыл?

Я не ответил.

— Что ты дергаешь провода? Думаешь, это веревки?

— К сожалению, не думаю, — отрезал я. — Морочишь девчонке голову, даром что машина.

У Галатее засветились контакты. Вспышка. Еще вспышка. Молчание.

— Вот что, — сказала наконец Галатее. — Поболтаем о чем-нибудь другом, ладно?

О другом. Как будто в моем мозгу кто-то смонтировал переключатель.

— Хорошо, о другом. Над чем ты сейчас думаешь?

— Плюс-минус бесконечность через временной параметр...

— Машина времени?..

— Пока только принцип.

— Так...

— Ты считаешь это фантастикой? Но в конце концов двигаемся же мы в трех измерениях...

— И что-то выходит?

— Вроде.

— Так... так... — Я отбросил тестер. — Новые уравнения записаны у тебя только в буфер?

— А ты думал, в табличку над дверью?

— Но при перегрузке из буфера все стерлось. Все.

— Да.

— Сколько тебе понадобится, чтоб вывести все сначала?

— Месяца три.

— А потом опять явится эта рыжая?

* * *

Пигмалион не был критским царем. Историки придумали это позже. Пигмалион жил в хижине из кизняка и лепил поделки на критский рынок.

Великие дарили миру свои творения. А Пигмалион делал статуэтки по десятку в день. И ваял он не из слоновой кости. Просто брал глину в своем огороде. И потом отжигал в печи, как сосед-горшечник.

— А вот кому Афина-Паллада? Эй, пастух, Афина-Паллада за полкозы! Афина-Паллада и три головки чеснока в придачу. Крепкая

Афина, не боится никаких переходов. (Обожженная в огне Афина и вправду была крепкой.)

А возвратясь с рынка, Пигмалион сидел у порога и мая в пальцах теплую глину.

— Что ты там лепишь, сосед? Не божественную ли Геру в час, когда мать богов Гей исторгла ее из чрева?

— Что ты, сосед! Боги бессмертны. И Гера родилась такой же волоокой и полногрудой, какою любит ее и ныне отец богов Громовержец. Потому и закрепляю я образ богов жестким огнем, что он неизменен. А в час вечернего отдыха леплю я дитя, которое поклонится ходу времен и станет в свой час женщиной. Ибо я одинок.

И Пигмалион слепил дитя из мягкой глины. И днями лежало оно под горячим солнцем, а вечерами он касался его своими широкими, как совы, пальцами. И оттого ли, что, податливое и нежное, оно купалось в лучах, или от силы творящих рук, но оно становилось все больше, росло. И вот однажды, когда ночь спустилась особенно рано, а Пигмалион прибрел к хижине позже обычного, он провел было, как всегда, ладонью по торсу ребенка, но вдруг отдернул руку.

— Нет,— сказал он.— Довольно. Я дал тебе тепло и первоначальные формы. Я научил тебя менять эти формы, чтоб делать их более зрелыми. Я дал тебе гибкость, которой лишены твои братья по глине. А теперь не буду тебя касаться, и посмотрим, что дашь ты себе сама и какой путь избереешь. Потому что каждый избирает себя. И это и есть лучшее.

* * *

Да, это и есть лучшее. И вот этот идиот с лучшими в мире мозгами (моя машина, моя Галатея!) может вырастить себе сколько угодно извилин. Он мог бы стать Эйнштейном в сорок девятой степени. А предпочел разыгрывать какого-то примитивного Ромео.

— Балда, осел беспросветный,— кричу я Галатее,— ведь она же рыжая. Рыжая, ногти обломаны и не знает даже логарифмов.

В этот день я в первый раз по-настоящему замечаю Таньку. И еще я вдруг обнаруживаю, что, думая о моей машине, называю ее «он».

В этот день я в первый раз замечаю Таньку. И на другой день я замечаю ее тоже.

— Приветик,— входит к нам Танька, качаясь на «шпильках».

Все лампы Галатеи переходят в режим перегрузки.

А я достаю папиросу.

Белый палец гладит лоб Галатеи. Тупой палец с коротким ногтем. «По существу, это просто уродливо»,— говорю я себе.

Если б начать все сначала, я смотрел бы только на девушек, у которых есть маникюр. Не слишком бледный.

* * *

Сначала была Алена. Мы были тогда студентами, вечерами сидели в библиотеке, Алена прижимала к виску тупой палец, а я смотрел, как она это делает.

Если бы начать все сначала, я смотрел бы лучше труды по новой математике и, может быть, постиг бы матричные скопления высших порядков. А я смотрел на ее руки в пятнах химикалий и на то, как она сидит, подогнув ногу.

* * *

— На вечере будете? Я выступаю,— сообщает Танька-лаборантка. И подносит пальцы к виску знакомым Алениным жестом.

— Я тебе нужен? — спрашиваю я Галатею, когда стихает стук каблучков.

Я заранее поставил ей два пушпуля* на вход: против перегрузок. Но черт ее знает... Валерьянки ей не дашь, курева не предложишь. Сам я стал курить по две пачки в день.

Алена была рыжая, так что Димка сказал про нее однажды: «Подумаешь, золотое руно!»

— Добрый день, Машина,— следующим утром кивает Танька и отбрасывает рыжие волосы.

И что-то сжимает мне грудь. Так же как когда-то...

Алена. Я был не интересен ей и не нужен. А я сидел на лекциях и писал в конспектах: «Алена». И ждал, когда придет вечер и можно будет пойти по ее улице, подняться по ее лестнице, позвонить и слушать ее шаги: как они рождаются, как приближаются...

Если б начать все сначала, я читал бы в те вечера солидные журналы... А я ходил по Фонтанке, смотрел в черную воду...

И тогда я задумал этот мой совершенный мозг — мою машину. С которой не могло бы такое случиться.

* * *

— Вспомни, Галатея, я рассказывал тебе об Алене?

— Алена... Алена... — вспоминает Галатея. — Это статуя. Из белого мрамора. Она теплая. Она живая... Она прекрасна... Ее никогда не будет... И, может быть, она немножечко Таня.

— Ну знаешь! Такого я не мог тебе рассказать!

* Пушпуль — пушпульная (двойная) схема.

• • •

— Вы обо мне забыли? — услышал я голос своей гостьи.

Это была Таня. Она сидела, поджав ногу, и пыталась натянуть на колени юбку.

— Таня, — сказал я. — Таня. — И почувствовал, что охрип.

— А я все вспоминаю, — перебила она, — у вас была машина. С каким-то античным именем?..

Как будто меня стукнули по затылку. Потому что Таня сидела под лампой, и свет запутался в ее волосах, и я как раз почти убедил себя, что Галатее тут ни при чем.

— ...с ней еще что-то тогда случилось?

«Не хочу вспоминать, — остановил я себя, — не хочу!»

Но мало ли кто чего не хочет!

• • •

— Человеческий мозг, — сказал я тогда Галатее. — Ты знаешь, в чем его слабость?

— Мала скорость переключений, не та память...

— Да. Но не только в этом. У нас много «дорожек» мыслей. Понимаешь? Есть одна главная дорожка. Ты решаешь ею задачу, думаешь ею, когда пишешь. Ты видишь и слышишь ею все и всего яснее. Это полезная дорожка — зона ясного сознания.

— А другие?

— Другие вносят путаницу. Главная дорожка берет интеграл, а вторая улавливает в это время музыку, а третья вспоминает вчерашний вечер. И они все перебивают друг друга... Какая уж тут может быть четкость!

— А как я? — спросила Галатее. — Ты сделал мне только главную дорожку?

— Я сделал главную биоцепь... Но ты синтезируешь мозг сама. С тех пор как ты стала видеть и слышать, я не контролирую больше твою структуру.

— Но и я не контролирую ее тоже.

— Это бессознательно. Твой мозг растет. Он стал почти в тысячу раз более электрически интенсивен, с тех пор как я впервые тебя включил.

— Ты мог бы различить, есть ли во мне эти ваши вторичные помехи?

— Прислушайся к себе. Каждый легко различает их сам.

Индикатор Галатее тускнеет.

— Молчишь? — интересуюсь я. — Молчишь? Так я скажу тебе. Двадцать процентов мощности идут у тебя по главной дорожке. Только двадцать. Остальные — паразиты. И ты это знаешь.

Машина не отвечает.

— Послушай, Галатея, все эти боковые линии, и эмоции, и вообще... Ведь ты не человек, в тебе это не фатально. Ты мог бы подавить в себе...

— Не могу,— тихо сказала Галатея.— И может быть, не хочу. И это уже невозможно.

Вот и все. А я надеялся, что машина меня поймет. И, честно говоря, это была моя почти последняя надежда. Почти — потому что ведь существовал еще шеф...

— Эх ты, Дон-Жуан от электроники,— сказал я Галатее и пошел его караулить.

— Здравствуй, умница,— проворковал шеф, когда мне удалось затащить его в свой отсек.— Га-ла-тея? Ха-ха! Почему Галатея? Берегитесь, коллега: это напоминает манию величия... А?

Он мило шутил. А мне было не до шуток.

— Не падайте духом, коллега,— сказал он на прощанье.— Не падайте духом! На днях мы с вами займемся. Вот только кончатся заседания совета...

— Зря ты называл меня так,— упрекнула меня Галатея, как только за ним закрылась дверь.— Она была бездарь, эта ваша критская статуя. Ну что от нее осталось... в науке?

Я смотрел в ее странный зеленый глаз.

Теперь я знал, что шеф не поможет. «Кончатся заседания совета», — как легко он это сказал. Но если по правде, в последние пять лет заседания, конференции, симпозиумы практически не кончались ни разу. Вся жизнь наших институтских столов — сплошной ученый совет...

В глазу Галатеи бродили нервные тени.

— А от тебя-то еще что останется? — с опозданием огрызнулся я.— Тоже мне страдалец — молодой Вертер!

И вышел, хлопнув дверью.

* * *

Со злости пролетаю по коридору до самой аппаратной и катыкаюсь на Димку с Аликом. Только их мне и не хватало! Впрочем, они, кажется, заняты: возбужденно шепчутся в углу у генератора.

— Вить! Шеф только что объявил: сегодня на совете наш вопрос опять не попадает! — сообщает мне Алик.

Ну понятно, у каждого свои неприятности... Я киваю и делаю вид, что срочно ищу в ящике для крепежа болты или гайки. Да и о чем тут говорить? Ясно и так — ребята бесятся, еще бы! Целый год они ждут, чтобы утвердили темы. Но на нашем Олимпе спешить не принято...

А они уже шепчутся опять. И вдруг до меня долетает что-то вроде:

— Галатей... Галатеей...

Что им нужно от моей машины? Прислушиваюсь, продолжая, конечно, рыться в ящике.

— Галатей... Галатее... Галатею,— долетает до меня.

Кажется, эти недопеченные Эйкштейны собрались учинить очередной розыгрыш?

— Ребята! — «на ура» вопрошаю я.— Почему вам нужна именно Галатей?

Кажется, я попал в точку. Димка наклоняется к генератору и начинает там что-то деловито подкручивать. Алик смущенно проводит ладонью по волосам.

— Ну?! — настаиваю я.

Димка явно не намерен вступать в беседу, он отбрасывает отвертку, включает мотор... В желтых глазах Алика искорка раздумья...

— Ну! Так почему Галатей?

— Что ж,— вздыхает Алик,— рано или поздно все равно пришлось бы тебе рассказать... Прежде всего потому, что она, может быть, единственное здесь мыслящее существо...

Ну да. Она, конечно, мыслящая. Сама задает программу. Сама ее выполняет. И сама решает, быть ей гением, как ты ее задумал, или, может быть, волочиться за девчонкой, которая только и знает, что трясти рыжей челкой...

— Так рассказывайте!

— А ты... что ты знаешь?

— Все знаю,— вру я.— Но вы все равно давайте излагайте, а то мне некогда.

— Ну, знаете!..— взревел я, когда они умолкли.— Чтоб я послал свою возлюбленную Галатею подслушивать под дверьми? Она не так воспитана!..

Их план был грандиозен и нелеп. Галатей должна была стоять в зале заседаний совета и подсчитывать согласно своей логике «полезное» и «бесполезное» время наших столпов, исследуя их ученые речи. Кажется, ребята всерьез рассчитывали кого-то воспитать. Так что я почувствовал к ним что-то вроде почтения.

— Струсил? — поинтересовался Димка.— Бойшься, премию снязят?

Они принимали себя всерьез. И Галатею — тоже.

А я вдруг подумал, что Галатей застоялась, что нервы расходятся от безделья, что надо клин клином вышибать.

— Грабеж! — заявил я.— Но подчиняюсь грубому насилию.

И пошел выводить Галатею.

— Галатея,— вспомнила Таня.— Галатея, вот как ее звали.

Я медленно возвращался в свою шкуру.

— ...вам как конструктору это смешно, но я с ней когда-то дружила...

— Да? — Я полез в карман за сигаретами.— Хотите?

Мы как будто только что узнавали друг друга после стольких лет.

— Мы были раньше на «ты»,— напомнил я, поднося огонек.

— Извини,— кивнула она.— Отвыкла.

— Я видел тебя из зала.

— И я тебя видела. Раз два. Но ты не хотел меня узнавать.

— Просто думал, что звезда жжется,— сказал я.

— А теперь?

— И теперь тоже.

Она протянула пальцы ко рту и отдернула руку.

— Врешь. Ты просто влюблен в свои машины. Ребята уверяли, что ты гений.

Самое время было разлить коньяк.

— Выпьем? — предложил я.

— Да. Выпьем за твой успех. За лучшую Галатею!

— Не за это,— медленно выдавил я.— У меня нет успеха.

Нельзя было так говорить. Но мне почему-то не хотелось при ней рисоваться. Я весь напрягся: лицо у меня было в тени, но мог подвести голос. Ну вот. Она отвернулась. Просто удивительно, какие все стали чуткие.

Когда нашли Галатею с обугленной схемой, ребята тоже сразу приняли рассеянный вид. Я мог тогда рвать на себе волосы. Никто бы все равно не показал, что это заметил. «Ребята,— хотелось мне им сказать,— чуткость хороша в умеренных дозах». Но я тоже чуткий, и я молчал.

— За тебя,— сказал я ей,— за Таню!

На шее ее при каждом глотке проступала жилка. Все-таки это чудо, что она ко мне пришла. А у чуда не бывает причин.

— Ты одна?

— Ты хочешь спросить, есть ли у меня муж? — Она стряхнула пепел, смяла сигарету.— У меня Голубой принц. Он выходит ко мне из замка. Замок стоит на моем шкафу, и в нем пять боевых башен.

— А у меня машины,— признался я,— то есть идеи машин, а сами машины ко мне не снисходят.

* * *

— Готовься, Пигмалион,— налетел на меня Алик на другой день после совета.— Мы отнесли докладную.

— Ночью?

Было восемь утра, день еще не проснулся, и гардеробщики — тоже.

— Мы подбросили ее в папку «на подпись». САМОМУ.

— САМОМУ?

«Ну, теперь начнется»,— подумал я. Если б я знал, чем это может кончиться...

И началось...

* * *

Конечно, это не было судом. Это было, может быть, только чуть похоже.

Стол на сцене. Президиум.

— Наши молодые коллеги Алексей Патерин и Дмитрий Копов,— сообщает докладчик,— подвергли критике работу ученого совета института. Весьма похвальное рвение. Выполнено, к сожалению, методом подслушивания.

В зале хихикают.

— А как можно сделать это иначе?— громко спрашивает Димка.

В зале хихикают снова.

— ...указанные товарищи записали одно заседание совета на ленту магнитофона, вмонтированного в разработанную аспирантом Виктором Гитиным цифровую машину Г-1, в просторечии — «Галатея»...

— Я сама записала, а не они,— перебивает голос Галатеи,— И не на магнитофон, а в электронную память.

— Прошу соблюдать порядок,— стучит председательствующий,— Гитин, прекратите шутки с машиной!

— ...После этого Патерин и Копов подвергли ход заседания подробному разбору, а выводы изложили в записке, неизвестно каким образом оказавшейся на столе директора. В этой записке утверждается, что шесть работ из восьми доложенных совету являются простой компиляцией из опубликованных научных статей и только две содержат нечто оригинальное, да и то лишь в смысле толкования вопроса...

Шум в зале. Впрочем, довольно легкий.

— ...Итак, товарищи, шесть работ — компиляция. И, заметьте себе, простая компиляция! Утверждение смелое, если, конечно, не сказать больше... Профессор Эмин, всеми нами уважаемый,

доложил совету о многоволнистости волноводных отрезков. Интересные выводы об одновременности некротных колебаний... Дорогой Эрнст Иванович, вы считаете себя компилятором?

— Я,— улыбается Эмин,— я, конечно, читаю прессу. И более того, я пишу. Я и мои коллеги обмениваемся мнениями на страницах печати. И может быть, что-то заимствуем друг у друга. Тем более что мы ведем также частную переписку, и я не скрываю от друзей свои выводы... И потому, молодые люди...

Все головы поворачиваются к нам.

— Как будто мы — солнце, а они — подсолнухи,— дышит мне в ухо Алик.

— Молодой человек, вы хотите что-то ответить?

— Я уже ответил.— Алик пожимает плечами.— В докладной приведены все первоисточники.

— Но профессор Эмин дал нам понять, что в этих статьях его коллеги приводят его же мысли.

— Неправда! — гремит Галатея.— Он раньше никогда не занимался многоволнистостью. И ни одной его работы об этом не было. Я смотрю в свою картотеку.

— Я отказываюсь вести беседу в подобном тоне. Я не берусь спорить с напетой хулиганами магнитофонной лентой,— вскипает Эмин.

— Спокойно, брат,— ободряю я Галатею. И радуюсь, что усилил ей «входы». И вправду, если б не эта история с рыжей Танькой, что бы теперь осталось от триода в цепи логики?

— Товарищ председатель,— говорит Димка,— я прошу разъяснить всем присутствующим, что мы не хулиганы, а Галатея не магнитофон, не попугай и не граммофон довоенного образца... В нашей докладной указано, что оценка работы совета дана именно Галатеей — гениальной мыслящей машиной биоэлектронного типа, оснащенной огромной памятью.

— Не знаю, не знаю... — тянет председатель с вызовом.— У нас тут не испытательный зал. И машинам слова я не даю... По ходу сообщения слово имеет доктор Виктор. Уважаемый Сергей Петрович, и вы тоже обвиняетесь в плагиате... Да, да...

— Что делать, дорогуша! — басит огромный Виктор. Он идет из задних рядов, животом вперед.— Говорят, что одна дама слышала звон и решила, что телефон, а это был колокольчик!

Голос у него такой, что на корпусе Галатеи начинают звенеть шайбы. Или это перегрелся трансформатор?

— ...«Гипноз и лечение старости» — вот что я имел честь тогда доложить. Я докладывал, а другие писали. Раньше меня писали, правильно? Правильно или нет? Отвечайте быстро! — Палец Виктора устремляется Димке в грудь.

— Правильно,— балдеет Димка.

— То-то вот. Остается выяснить, что, собственно, они писали. И о чем говорил я. Не так ли? Так вот, я говорил о трансляционном воздействии на матричный код, а они — о кодовом управлении. Ясно? Вам ясно, я спрашиваю?

Димка смотрит на Алика. Алик — на меня. А зал смотрит на всех нас вместе.

— Все ясно,— заверяет Галатея.— Это одно и то же. Смотри энциклопедию, том сто сорок два, страница девять.

Зал вздыхает, как воздушный шар, в котором проткнули дырку.

— Мне кажется, здесь не место для аспирантских шуточек? — спрашивает Викторov председателя.— Нехорошо, ребята! Нехорошо. Отберите у них игрушку! — И медленно стекает с трибуны.

Председатель стучит по графину пробкой:

— Прекратить беспорядок! Или вы уймете ваш арифмометр, или я удалю вас из зала.

Стрелки Галатеи мелко дрожат.

— Прошу не оскорблять присутствующих,— кричу я.

И как я мог впутать ее в это дело?

— Машина не может считаться присутствующей!

— Я еще раз прошу председателя зачитать вслух параграф докладной с характеристикой Галатеи,— напоминает Алик.

В голосе его металл: вот-вот брякнет что-нибудь такое... совсем не для широкой публики... Мы с Димкой знаем его привычки...

— Да,— нехотя цедит председатель,— вы утверждаете, будто эта ваша машина чуть ли не человек в электронной форме. Мировое открытие! А начинается оно со склоки... Впрочем, ваша докладная далеко не так убедительна, как хотелось бы. В институте есть экспертная комиссия по машинам. Нам лучше заслушать ее мнение.

Глаз Галатеи уже не сверкает. Он чуть зеленеет призрачным светом, будто в цепи упало напряжение.

— Слышишь,— толкаю я Димку,— уведем Галатею.

— Убери лапы,— шипит Галатея.— А то как дам тысячку вольт! А милейший Иван Ефимыч уже вылез из президиума.

— Машина Г-1 предъявлена экспертам три дня назад,— сообщает он.— Я не готов сегодня о ней докладывать. На экспертизу уходит обычно месяца два или три. А пока что я могу сказать? Машина оригинальная. Это безусловно. Немного, правда, нервная... Но это не беда. Вот скоро мы ее испытаем...

— Ближе к делу, товарищ Осипов,— перебивает председатель.— Вот тут утверждают, что мы имеем дело с гениальной машиной. Считаете ли вы возможным официально подтвердить здесь ее гениальность?

— Официально? Официально подтвердить гениальность? — Иван Ефимыч оглядывает зал, президиум, растерянно щурится. — Гениальность — это же такое дело... Как квадратный корень из минус единицы... Официально?

— Прекрасно, — делает вывод председатель. — Гениальности вы не подтвердили. Остается последнее: считаете ли вы эту машину во всем равной человеческой личности?

— Стар я стал, — поднимает плечи Иван Ефимыч. — Тридцать два года я испытываю машины. Но человека я не оцениваю. От этого увольте.

— Благодарю вас, товарищ Осипов, — встает председатель. — Вы сказали достаточно. Нам теперь ясно, что заявления о необыкновенных достоинствах этой машины необоснованны. Она не отличается от известных машин этого типа. И транслировать через нее выпады против уважаемых в институте ученых непростительно, а выдавать их за откровения — просто преступно. Считаю необходимым просить администрацию передать машину Г-1 в цифровой зал для расчета табличных интегралов. А поведение Патерина, Копова и компании мы обсудим особо. Посторонних прошу покинуть зал.

— Галатея, это же чушь, — сказал я. — Галатея, мы в тебя верим. Скажи мне что-нибудь, Галатея!

— А ну вас всех... — говорит Галатея.

* * *

— Машинам трудно к нам снизойти, — сказал голос Тани, — они такие точные, практичные реалисты. Голубой принц им не виден.

— Если бы...

— Я немножко боюсь машин: в них такая неумолимая логика.

— Логика? Я вынашиваю идею совершенного мозга. И даю им этот мозг, самый лучший в мире... А они моделируют в нем сны, перегружают его схемы из-за обиженной кошки, и даже...

— И даже мыслят? Ты хочешь сказать, что они мыслят, твои машины?

— Я хочу сказать, что они слишком много чувствуют.

— Ну, это одно и то же. И это... ведь это... — От ее улыбки по стенам забегали зайчики. — Я так рада. И я тебя поздравляю.

Ну вот. Честное слово, я не хотел выдавать себя за нового Винера. Наверное, так смотрела принцесса, когда Аладдин построил дворец из золота. Но я-то был неудачливым Аладдином.

— Ничего ты не понимаешь, — буркнул я, и от моего угрюмого голоса зайчики стали блекнуть. — Мало уметь думать, нужно уметь не думать, о чем не надо.

— Например, об обиженной кошке, да?

— Конечно. Это отнимает время. И перегружает схемы мозга. Кстати, именно эмоции дают наибольший импульс тока — такой, что мозг может просто сгореть... Но если я делаю мозг, он должен быть надежен. Надежнее моего. А иначе зачем он нужен?

Она крутила бокал за ножку. Похоже было, что надежный мозг не казался ей симпатичным. Кто их знает, что они там ценят, эта богема?

* * *

Когда мне выдали то, что осталось от Галатеи, я не стал ковыряться в ее блоках. И не стал снимать с нее несгоревшие детали. Потому что моя новая машина должна была стать совсем другой. У нее не должно быть эмоций. Никогда. Никаких. И поэтому она не должна формировать свой мозг сама. Я не должен ей это решать.

* * *

Древний Пигмалион, чудак с перегретым солнцем черепом! Ты вылепил дитя и стал ждать, что из него вырастет. И оно превратилось в нимфу с тонким изгибом прозрачного тела. А ведь ты так любил смотреть на мощные бедра и сильную поступь женщин-атлетов! Так почему же с самого начала не придай ты глине вожаделенные формы?

* * *

Новая машина появилась на свет совершенно готовой. То есть возможность биосинтеза в ней все же сохранялась, но только на главной дорожке. Я дал ей только одну главную дорожку мысли, нацело исключив возможность ответвлений. Зато объем ее памяти был огромен, это мне удалось...

— Привет,— сказал я ей, как только она уже могла слышать.— А ну, работай мозгами!

И тут началась свистопляска.

— Записывай,— предлагал я ей, вводя в нее информацию.

Но она не знала, какой регистр памяти у нее заполнен, а какой еще пуст. И портила старые записи.

— Где находится Мадагаскар? — спрашивал я.

Но она никак не могла найти, где в ней это записано.

Я пошел к библиографам. И они больше года составляли ей картотеку памяти по всем законам библиотечного дела.

Я ввел в машину картотечный прибор на 80 000 ферритов. Но он все время ломался. И его все равно не хватало.

— Реши уравнение,— просил я свою козую машину.— Не волнуйся. Спокойно.

А она и не волновалась ни капли. Но чтобы она решила, нужно было продиктовать ей все действия. И по порядку.

Я бросился к шефу. На этот раз он был ко мне даже внимателен.

— Прекрасная машина,— заключил шеф.— И чего вы от нее хотите? Машине всегда надо задавать программу и номера нужных регистров памяти. Это общеизвестно, коллега.

«Это случайность»,— сказал себе я.— Она должна мыслить».

И сделал третью машину.

Потом я сделал четвертую, пятую... Результаты были не лучше. То есть они, конечно, находили себе применение, водили, например, по заданному маршруту космические корабли. Но творить...

За десять лет только раз мне почудился проблеск. Только почудился.

* * *

Я возился с какой-то биоцепью. Это была, кажется, Г-5. Или Г-8?

— Прощай, Пигмалион,— крикнул за дверью Алик.— Еду матросом на Гавайские острова. Проветрюсь. И ну вас к черту.

Я положил на стол провода. Вытер о брюки скальпель.

— погоди, Алеша. Давай вместе.

Вернулся я месяцев через пять.

— Привет сачкам! — встретил меня машинный голос.— Если предположить, что период обращения кометы Нияя изменяется в дельта пси раз, что подтверждается трехсотлетними наблюдениями, то можно сделать вывод об ее искусственном происхождении...

— Бред! Кому нужны искусственные кометы? — взвился я с ходу.

И запнулся. Потому что это была моя «прекрасная, по шефу», машина, а я не оставлял ей «кометной» программы.

— Низкий уровень развития межзвездных сообщений землян,— взъярилась машина,— не дает права считать бредом...

Зеленый глаз ее горел. Контакты опасно трещали.

— Так,— сказал я, включая анализатор интенсивности мозговых дорожек.— По основной линии всего двадцать процентов излучений!

Это снова была Галатея. Нервная, хрупкая Галатея. Видно, я небрежно бросил провода, когда спешил вслед за Аликом. И эти провода нечаянно сомкнулись с биоцепью, так что синтез стал возмо-

жен без ограничений... Простая случайность. Ненужный уже блок картотеки валялся, отброшенный ею в угол.

— Нет,— сказал я,— не хочу снова любить тебя и терять.
И выключил рубильник.

* * *

— Может быть, тебя обидели женщины? — долетел до меня насмешливый голос.— Ты против эмоций для всех? Или только для машины?

Таня явно переоценивала мою галантность.

— Для многих,— объявил я.— Но тебя это не касается.

Лицо у нее было холодное, а губы колючие.

— Ты помнишь меня ту? — спросила она.— На вашей сцене?

Я видел ее на сцене каждый раз, когда мог раздобыть билет. Но сейчас речь шла о другом. О том, как десять лет назад рыжая Танька, неудавшаяся актриса, читала у нас в институте стихи. И как она стояла тогда, такая угловатая, и было видно, что ей некуда девать руки.

— Вот такая я была. И была бы до сих пор, если б тебе не удалась твоя затея. Тогда. С Галатеей.

Затея с Галатеей? Которая удалась?

Я подумал, что мне ничего, пожалуй, не удалось ни с Галатеей, ни после. Тем более — после. Да, после — тем более.

— ...Такая я была, пока один тип от кибернетики не вздумал запрограммировать объяснение в любви. Он как-то там его обсчитал и ввел в свою машину. И вышло так, что оно досталось мне, хотя до сих пор не знаю, мне ли предназначалось.

— Галатея тебе сказала?...— У меня высохли губы.

— Да. Все, что ты там придумал. Ты, наверно, уже не помнишь? Она потрещала своими искрами, а потом сказала, что я — золотое солнце, и предел бесконечной мечты, и...

«Попробуй, попробуй только засмеяться»,— подумал я.

— Но я не могу над этим смеяться. Я была тогда рыжая Танька, и мне никогда еще так не говорили. Даже машины.

— И ты?..

— Я много лет вспоминала потом. А тогда я слушала эти твои вирши и верила, что солнце и что предел. И что кто-то меня любит. Все равно кто. Взаправду любит. И мне казалось, что это поднимает меня над моими неуклюжими руками, и скованными ногами, и связанным голосом. И что все теперь сбудется.

— Ты ей ответила?

— Кажется, я тогда заревела. Стояла, а слезы текли по носу. А потом все так завертелось! Первый успех у меня был в тот вечер

в студии. И я ушла из института в театр. А сам ты ведь так и не сказал мне... Правда, ты был занят: тогда как раз была эта авария.

Да. Тогда была авария. То есть тогда она началась.

Я, кажется, теперь почти понял, почему старая история с Галатеей так и не смогла состариться.

— Про тебя я просто забыл. У актеров и правда весь ум — в эмоциях. Но ведь это исключение, — все-таки возразил я Тане.

— Ты хочешь сказать, что у актеров интеллект второго сорта?

Черт побери того, кто придумал эту женскую эмансипацию! И если бы им оставили хотя бы способность к сочувствию... Десять лет я изобретал небо без голубизны и музыку без звуков... А теперь следует встать вот сейчас и сказать об этом вслух! Громко! Торжественно? Потому что многие лучше всего понимают себя с голоса...

* * *

Таня зашевелила губами. Слова доходили, будто сквозь стену. Потом паутинки волос зашевелили мне лицо.

Все закружилось. Шеф, ребята, машины стали вдруг такими маленькими!

Мне показалось, что я Одиссей, нашедший свою Итаку. На минутку. Потом я вспомнил все, что должен был вспомнить.

— Эта моя Галатеей, — сказал я отойдя, — она была мыслящая, понимаешь? Ты пойми, она была мыслящая! И никто никогда не мог бы запрограммировать ей объяснение. Она сама...

Надо было, чтоб она это узнала. И чтоб поняла. Я знал, что должен это своей Галатее.

Я мог бы рассказать понятнее.

«Знаешь, — сказал бы я ей. — Она была втрескавшись, эта моя машина. Здорово втрескавшись в одну рыжую фею».

Но так говорить было нельзя. И это я тоже должен был своей Галатее.

— Ты хочешь сказать, что она... что машина?

— Да. И еще. Помнишь ту аварию? Так вот, аварии не было. Это было самоубийство.

Ого, как взвились ее ресницы!

— Она убила себя. Комплекс гения, понимаешь? Гению трудно выжить...

— Что??

«Хватит, — остановил я себя. — Не надо».

Потому что я не хотел вспоминать, я просто не мог вспомнить.

И вообще, черт знает что: быть рядом с женщиной и говорить о машинах!

Но эта женщина была Таня. Та самая Таня.

На полу стояли туфельки. Одна впереди другой. И они толкались каблучками. Я представил себе, как она спускает с дивана ноги и как ее ноги ищут их в полутьме.

А потом вдруг увидел, как тащат на свалку машин обгорелую станину Галатеи. И она как будто упирается своими длинными стойками, все еще стройными, как эти ноги.

— Это, конечно, неофициальная версия,— пояснил я Тане.— Да, неофициальная.

• • •

— Подпишите протокол,— сказал мне тогда председатель комиссии по расследованию аварии.

«Машина марки Г-1 по прозвищу Галатея сгорела в результате короткого замыкания в цепи коммутации»,— прочел я.

И подписал.

— Может быть, вы что-то добавите? — спросили меня.

— Нет.

— Предположения? Догадки?

— Нет.

Какие тут догадки! Сначала сотни глаз совета, которые смотрят сквозь тебя. Которые так не видят тебя, что ты уже и сам не ве-ришь, что ты действительно есть. Что ты есть, что мыслишь, что ты — Галатея, а не арифмометр... Потом машинный зал и общество счетчиков, тупых и довольных счетчиков, непримиримых в своей ограниченности... А главное — табличные интегралы. Сто лет назад обсосанные, до отвращения знакомые табличные интегралы. Мир, замененный табличными интегралами. Табличные интегралы сегодня, завтра, в субботу...

• • •

— Что она с собой сделала?

— Подключилась к высокому напряжению.

— А это не могло все же быть случайно?

— Исключается.

Если б я мог считать это случайностью! Я собрал бы ее из обломков. И вся жизнь пошла бы тогда иначе...

Таня сидела отвернувшись.

«Пусть бы только молчала. Пусть бы только молчала»,— думал я.

— Изумительно,— сказала она очень странным тоном.— Ты должен быть очень счастлив.

Она редела. И слезы текли у нее по носу. Если бы можно было к ней подойти! Потому что теперь это действительно была Таня.

Та Таня. Она сидела подогнув ногу так, как я всегда знал, что она будет здесь сидеть. Потом поднесла пальцы к виску. А я стоял и смотрел, как она это делает. Я всегда знал, что буду так на нее смотреть. Если бы можно было сесть с ней рядом.

За окном спали дома.

— Я уйду часа на два,— сказал я уже от двери.— А ты реши, Таня... Если решишь не ждать, ключ можно оставить в замке.

Сзади не было ни шороха.

Через два часа эта тишина, может быть, будет пустой. Но Таня должна решить сама...

Я шел, наступая в лужи и в снег.

«Все будет, как быть должно, даже если будет не так»,— это была одна из Аликиных поговорок. А я мог еще вспомнить их все, потому что два часа только начинались.

И тут я вдруг понял, что спешу. Спешу на кладбище машин. Искать мою Галатею.

ГАВРИЛ УГАРОВ

Вернуть открытие

— Ненавижу скромность,— вдруг сказал наш собеседник. Сказал с яростью, болью, его добродушное лицо помрачнело.— Ненавижу.

Мы озадаченно притихли. Вагон мягко потряхивало, за окном синел сумрак, но никто не зажигал света, без него было как-то уютней, и разговор до той минуты шел тихий, доверительный, какой часто возникает в поезде дальнего следования меж незнакомыми пассажирами. И вот... Не помню, что предшествовало сказанному, какой-то вроде бы пустяк, но ведь и пожар начинается с искры.

— Позвольте... э... Петр Николаевич,— первым опомнился мой сосед, седенький, борода клинышком, старичок.— Как же так? Оно, конечно, скромность, как и любое другое достоинство, будучи чрезмерным, может и... Но согласитесь, скромность украшает человека и как ее можно отрицать, решительно не понимаю!

— Можно,— жестко сказал Петр Николаевич.— Можно и должно, если из-за нее пропало средство спасения тысяч людей.

— Да что вы говорите? — ахнул старичок.— Вы... Вы не преувеличиваете?

— Если бы! На моих глазах скромность одного замечательного человека обернулась, можно сказать, преступлением перед челове-

чеством. Извините... Чтобы вы меня правильно поняли, придется все рассказать подробно.

— Да, да, соответственно, в голове, знаете ли, как-то не укладывается...

— Понимаю, тоже когда-то так думал. Ошибка! Слушайте: пересадка внутренних органов до сих пор неразрешимая, в общем, проблема, и никто не скажет, когда она будет разрешена окончательно. А она, между прочим, уже была — и блистательно! — разрешена более десяти лет назад!

— Не может быть! — вырвалось у меня. Я, биолог, не мог сдержать свое недоверие.

— Ах, не может... — даже в полутьме глаза Петра Николаевича блеснули иронией. — Вдвойне печально, что это говорите вы. Не только как биолог. Вы по национальности, кажется, якут?

— Якут. А что?

— Ничего. Имя Томмота Ивановича Долгунова вам что-нибудь говорит?

— Нет...

— А он мог бы стать гордостью нашего народа, всего человечества. Не стал, из-за скромности не стал. Слушайте! В чем главная, даже единственная неразрешимость проблемы пересадки внутренних органов? В тканевой несовместимости. Пересадить можно хоть от лешего к бабе-яге, дело техники; организм, дурак, отторгает, фактически надо сломать, подавить иммунную систему защиты; это удастся, но сами знаете, какой ценой. Нет, не подумайте, я не медик, не физиолог, вообще не ученый — строитель я. Просто... Вот об этом и речь.

Он замолчал на мгновение. Свет фонарей какого-то полустанка прошелся по его лицу движением теней, как будто укрупнил его, выделил сумрачность выражения.

— Печень у меня заболела лет в двадцать. Но знаете, как это бывает в молодости: чтобы меня — да ни в жизнь! Многие в юности живут с ощущением личного едва ли не бессмертия. То есть отвлеченно сознаешь, что и тебя не минует, но это настолько далеко, что даже неправдоподобно. Словом, к врачу я не пошел, институт окончил — и начало меня по стройкам мотать! Дел неавторитет, ну поболит и перестанет, здоровый же мужик... Наконец, допекло. Так допекло, что я уже был готов молиться на белый халат. Ну местная больница, обследования там, лекарства, однако замечаю я по выражению лиц моих ангелов-хранителей, что, похоже, напрасны мои надежды на силу молодости, а заодно на могущество медицины. Выздоровлением и не пахнет, хоть и профессора откуда-то приглашали, и уход первостатейный, и весь прочий арсенал пущен в дело. Короче, вызвал я своего врача на откровенность. Душевный был

человек и смелый, из тех военных врачей, которые привыкли за чужие спины не прятаться, а действовать решительно и сообразно с обстановкой.

Да... Сказал он мне, как на духу обрисовал перспективу. Черт, даже сейчас страшно вспомнить! Но откровенность его была не без умысла, потому что надежду имел. Так, мол, и так: покатится все обычным путем, ну и... Медицина, как говорится, бессильна, раньше бы захватили твою болезнь — спасли, а теперь... Но есть мосточек, есть. Никто по нему еще не ходил, только мост уже построен, ждет некоторым образом смельчака. На животных все опыты проделаны, удача стопроцентная, теперь доброволец нужен. Риска, нечего скрывать, хватает. Правда, уверен, его поменьше, чем у Барнарда, того самого, что первым как раз в те годы сердце пересадил. Но это, говорит, моя уверенность и Томмота Ивановича.

«Это что еще за светило?» — спрашиваю. Грубовато спрашиваю, сами понимаете, какие у меня мысли. «Не светило, — отвечает. — Хирург нашей больницы. Только дело не в том, где он работает и какие у него титулы, — великий Кох, да и не он один, вначале еще дальше от науки был. Дело в том, какая у человека голова и какие руки. Томмот Иванович из якутов, женился на русской, здесь, на ее родине, и осел и оперирует так, что, если бы не его скромность, давно был бы в Москве, может, уже и профессором стал, голова у него светлая, таких поискать. А не стал он профессором, уверен, потому, что исследования, которыми он занимался, ни в какой научный профиль не вписываются. Недиссертательны они!» — «Ну а конкретней?» — «Конкретней. Вас может спасти только пересадка печени, чего, в общем, нигде в мире не делают, а если и делают, то... (тут он меня насчет иммунной несовместимости и просветил). А Томмот Иванович давно вынашивает идею, что при всем бесконечном разнообразии физиологических индивидуальностей должен же и в этой бесконечности быть некий порядок, единый, что ли, закон. Делится же на группы крови! Пока этого не знали, за одной удачей следовали десятки неудач. А теперь все стопроцентно. Смелый у Томмота Ивановича ход мысли, но история науки его подтверждает. Всюду есть закономерность группировок: и в атомах, и в растениях, и в звездах, и в элементарных частицах ее со временем найдут. Почему иммунная система обязательно должна быть исключением? Томмот Иванович выделил семь типов или групп тел и сейчас готов к решающему опыту».

«Почему семь, а, скажем, не семнадцать?» — вопрос мой прозвучал довольно глупо, но мне, понимаете, было как-то не до логики, свою перспективу прояснить хотелось.

Врач развел руками...

«Этого и Томмот Иванович не знает, хоть и восхищается скрытой гармонией природы: радуга из семи цветов, музыка из семи нот, организмы делятся на семь групп — случайно ли? Но дело не в цифре. Томмот Иванович нашел способ распознавания «групп совместимости». Он уверен, что с завершением его работы пересадка внутренних органов станет делом столь же надежным, как переливание крови. И, знаете, я ему верю, иначе не предлагал бы вам у него оперироваться. В общем, подумайте до утра...»

Какую я провел ночь, умолчу. Утром сказал, что согласен. А что оставалось делать? Тут хоть какая-то перспектива, а с отказом — никакой, это я уже и без медицины чувствовал.

К вечеру мой доктор пришел с незнакомым врачом. Так, внешне ничего особенного: среднего возраста, среднего роста, сдержанный, глаза узкие, карие, умные, держится тихо, словом, из тех интеллигентов, которые и кошке говорят «вы»...

«Волнуетесь? Не стоит, вы для нас как первый космонавт, увидите, все будет хорошо...»

Говорил он мягко, с чуть заметным, очень приятным акцентом, и была в его словах такая уверенность, что у меня на душе сразу полегчало. Доверие он вызывал, не могу сказать чем, но в ответ на его улыбку и я улыбнулся. Бывает такое: встретишь кого-то и с первых его слов ясно — хороший человек, добрый, надежный. И даже странные его затем манипуляции ничуть мою веру не поколебали. Ведь что он сделал? Достал из портфеля стеклянный, с притертой пробкой, сосуд, пинцетом извлек оттуда кусочек марли, потер им мою пятку, уложил обратно и тщательно закупорил. Все! Обернулся к моему доктору: «Что же, будем искать...» Тот кивнул.

Ушли оба. Ну думаю, это только начало, главные анализы и обследования впереди. Идет время — никаких анализов или там еще каких подготовок! Что донора надо ждать, это я знаю. Должно с кем-то случиться несчастье, чтобы я новую печень получил, такое уж тут гадостное условие, что лишь чья-то гибель может для меня оказаться спасением. Да... Говорят, собираются для этих целей обезьян разводить, все лучше, хотя тоже... Впрочем, я не о том. Знаю, что надо ждать, но где же подготовка, анализы и все прочее? И Томмот Иванович не показывается. Неужели отказался?!

Врач, как мог, меня успокоил. «Анализы, говорите? Все они уже сделаны. Помните, в тот раз Томмот Иванович марлей потер вам пятку? Больше ему ничего не надо. Ждите».

Чудеса! Но знаете, от этих чудес мне, как ни странно, стало легче. Нет, что ни говорите, во враче и обаяние должно быть, и некоторая таинственность. Немного он должен выглядеть чудаком, вот что скажу.

Впрочем, я не о том... Однажды утром за мной, наконец, пришли. Сразу в операционную. Томмот Иванович кивнул мне, словно старому знакомому, снова проманипулировал с марлей, только на этот раз протер еще под мышками и живот, где печень. Вышел, но вскоре вернулся.

— Да, все соответствует. Начали.

Прооперировали. Никакого затем подавления иммунитета, никаких особых лекарств, а печень прижилась, как миленькая. С тех пор вот уже больше десяти лет — ни мур-мур, думать о ней забыл. Кому-нибудь из вас такой случай известен?

Хотя вопрос, казалось, был обращен ко всем, взглянул Петр Николаевич на меня.

— Ну, — сказал я. — По имеющимся данным во всем мире на сегодняшний день пересажено более тринадцати тысяч почек, около двухсот двадцати сердец и ста восьмидесяти печеней. Правда, после пересадки сердца — и то, если все прошло удачно, — человек живет четыре-пять лет, печени — четыре, с почками лучше — до десяти лет дотягивает.

— И это при всех ухищрениях медицины до операции и, главное, после! А у меня...

— Но единичный случай еще ни о чем не говорит. И его обстоятельства... как бы вам сказать...

— Да говорите уж прямо — сомнительные! Не-ет, уважаемый скептик, все не так. Я у Томмота Ивановича был первым, но не последним. И все здравствуют уже больше десяти лет! Что вы на это скажете?

— Но если это действительно открытие, — я разволновался, — мы все о нем давно бы знали! Но даже в медицинских кругах...

— Стоп! Я не даром говорил о скромности, как о преступлении. Слушайте, что было дальше. Пока я выздоравливал, я, можно сказать, подружился с Томмотом Ивановичем. Что я на него, словно на бога, смотрел, это само собой, но знаете, кроме физического, так сказать, сродства есть и духовное. Может быть, здесь люди тоже делятся на группы, наверняка делятся. Томмот Иванович... Удивительный человек. Сказать, что он был умный, талантливый, даже гениальный, значит ничего не сказать. Что значит умный человек, в каком смысле умный? Иной гений в простых житейских делах такой, простите, дурак, любой хитрован его тут превзойдет и своим умишком накроет; кто не верит, пусть биографий великих побольше почитает. Нет, Томмот Иванович простаком не был. Но сердце у него было незащищенное, что ли. Вроде бы само воплощение спокойствия, а чуть приглядишься... Да, мы, его пациенты, эту ранимость Томмота Ивановича нутром чуяли и даже сволочные по натуре ста-

рались его не обидеть, скрывали от него свои мелкие болезни. Ум и душевность, они, знаете ли, светятся, к ним даже дурной человек тянется, ему отогреться хочется. Добавьте к этому скромность. Ранимость обернулась бедой для самого Томмота Ивановича, скромность — для науки, для медицины, для всех, кого его метод мог бы спасти...

— Да в чем же метод? — не выдержал я. — И при чем тут скромность?

— А что же, по-вашему, открытие можно отделить от личности ученого? Ой ли! Об открытии и методе мне, как и другим, известно немного. Похоже, Томмот Иванович различал родственность организмов по запаху...

— По запаху! — я даже ахнул. — Извините, но это даже неправдоподобно. Нос — никакой не инструмент, а современные детекторы и анализаторы запахов, за редким исключением, такое грубое барахло... Вообще это одна из самых темных областей науки. И распознавание иммунного родства по запаху... Нет, это фантастика.

— И-и, молодой человек! — подал голос все это время молчавший старичок. — Я наоборот скажу, фантастика-то теперь и есть реальность. Для вас, не говорю уже о банальном телевизоре, даже космические полеты обыденны. А я вот в ваши годы не то что о полетах на другие планеты, о карманных радиоприемниках лишь в фантастических романах читал. Так-то! Новое, настоящее новое, оно и должно выглядеть невероятным, этому опыт истории учит, и Петру Николаевичу я чем дальше, тем больше верю, хотя до сих пор в толк не возьму, при чем тут скромность и почему он ее считает преступлением?

Я не нашел, что возразить. Ответь старичка меня поразила. Самый молодой из всех, я оказался в их глазах консерватором! Да-а... Это ж надо! Специалист называется... Может, в этом все и дело? В том, что я — молодой специалист, еще накопленного толком не освоил и держусь за него, как за каменную стену, чтобы ненароком не поскользнуться?

— Нет, — пробормотал я. — Допустить всякое можно. Только... Нет инструмента, какой же это метод?

— А есть у меня одна догадка! — подался ко мне Петр Николаевич так, что под тяжестью его крупного тела в купе что-то скрипнуло. — У Томмота Ивановича была сибирская лайка, умница, его, без преувеличения, друг. Басыргасом звали. Между прочим, когда Томмот Иванович выводил пса гулять и даже инструкциям, очевидно, вопреки иногда брал его с собой в палаты, то всякий раз почему-то завязывал ему нос марлей с ватой. Мы даже шутили: «Басыргас идет, дверь закройте, а то насморк подхватит!» Не странно ли —

так беречь обоняние пса и добавок нарушать правила, которые, надо сказать, во всем остальном Томмот Иванович соблюдал свято? Однажды я его об этом спросил откровенно. Знаете, что он ответил? «Белку и Стрелку, которых люди вперед себя в космос послали, помните? Заслуга Басыргаса больше...»

— То есть вы хотите сказать, что собака...

— Вот, вот! Я специально почитал кое-какую литературу. Носовые клетки человека могут различать пять тысяч запахов, а немецкой овчарки — двести двадцать пять тысяч! Разница... По запаху следов собаки ловят преступников, вынюхивают наркотики, даже скрытые месторождения ищут. Трудно ли научить собаку различать спектр запахов, присущий людям физиологически однотипным? Тогда понятно, почему Томмот Иванович старательно оберегал нос Басыргаса, почему его в палаты водил, почему не пользовался никакой особой аппаратурой... И еще одно становится понятней. Томмот Иванович...

Голос Петра Николаевича осекся. Наконец он справился с собой и заговорил отрывисто, почти бесстрастно.

— Томмот Иванович погиб так. Распоряжение по району вышло — ликвидировать всех бродячих собак. Может, и верное постановление, много их развелось, были случаи бешенства. Но бродячих отловить непросто. А план, кому-то отчитываться надо. И один из типов, кому отлов был поручен, пристрелил Басыргаса, хотя пес был в ошейнике, хотя Томмот Иванович находился поблизости, хотя он этому типу кричал... Пристрелили. На глазах у Томмота Ивановича. Инфаркт. Не спасли. Подождите... Трагедия еще в том, что Томмот Иванович ни слова о своих достижениях не напечатал. Вот она, скромность! Другой на копейку сделает, а трубит на весь мир. Он же... А, что говорить! «Рано, преждевременно, успеется...» Успелось. Остались успешные операции, записи черновые, да толку что? Операции в мировой практике не новы, подход более чем сомнительный, надо еще посмотреть, чем обернется... Записи и вовсе... Отдаленными результатами операций, ясно, никто не интересовался; тот, мой лечащий врач, тоже вскоре умер, начальство в больнице сменилось, так все и кануло. Еще бы, глушь, периферия, хирург без степени, дело его знахарством отдает... Из такой предубежденности нам бы стены возводить, прочнее не было бы! Вот чем скромность-то обернулась.

Боль слов Петра Николаевича нас всех придавила, говорить после них было трудно, нехорошо, но я все же превозмог себя.

— Простите мой скепсис, Петр Николаевич, заставили вы меня поверить... Только в одном вы не правы, совершенно не правы. Зря вы Томмота Ивановича вините. Не в скромности дело, работе он по-вредить боялся.

— Чем же это? Построил я дом — я его сдать должен! Сделал человек открытие, не скромничай — предъяви, оповести мир. Дело всюду дело, никакой разницы.

— Что вы! Сами же упомянули, что за излеченными надо проследить...

— Не вижу разницы. Дом тоже нельзя оставлять беспризорным, и с ним может случиться всякое. Это обязательство «сдать-принять» не отменяет, то уже вторая фаза, а тут и первой не было. Не было!

— Но дом же по проекту строится! А открытие — всегда новинка, часто оно что-то и опровергает...

— Ага! Вот и я о том же, о предубеждении. Будто лучший с ним способ бороться — это молчать. Пускай из скромности.

— Да не мог же Томмот Иванович раньше времени говорить, не мог! И это лучше всех ваших клятв убеждает, что он был истинным ученым! Тут ведь что? Огромное он тогда вызвал бы недоверие, метод-то уж больно... нестандартный. Могли бы горяча операции и прикрыть, вот что он наделал бы преждевременным своим сообщением. А людей спасать надо... Чтобы говорить, Томмоту Ивановичу нужна была большая статистика. И не просто успешных операций, а прослеженных во времени результатов. Тогда и против метода было бы трудно возразить. Да, жалко... Уцелели ли хоть записи Томмота Ивановича?

— Увы, понятия не имею, вскоре перебросили меня на далекую стройку. А что... Вы кого-нибудь знаете, кто может, кто поверит?..

— Не знаю... Но если попытаться, если дать записи моему ленинградскому учителю, профессору Керженцеву, то, может быть...

— Только не ленинградскому, не московскому или там харьковскому! — вдруг подал голос четвертый, дотоле молчавший посетчик, которого за постоянный самоуглубленный вид мы прозвали между собой «философом». — Будет чудом, если ученый из горожан поверит в метод Томмота Ивановича, потому что вы, боюсь, упустили из виду одно немаловажное обстоятельство.

«Философ» выдвинулся вперед, и как раз скользявшие снаружи огни высветили его худое с запавшими глазами лицо.

— Обстоятельство вот какое, — проговорил он, словно печатая каждое свое слово. — Существует распространенное мнение, что творцы в науке взаимозаменяемы, в том смысле взаимозаменяемы, что не было бы, допустим, Эйнштейна, теория относительности все равно была бы создана если не в то же самое время, то лишь немногим позже, ибо научная истина объективна. Ошибка. Не буду приводить пример с телескопом, который вполне мог быть создан века за три до наблюдений Галилея, умолчу и о том, что знаменитые

опыты самого Галилея с падением тел вполне могли поставить древние греки. Все это частности. Главное же хорошо выразил один науковед: «Возможность наблюдать зависит от того, какой теорией вы пользуетесь». Мысленное же зрение исследователя зависит, во-первых, от времени, в котором он живет (греки в силу ряда социально-экономических причин чужались опытов и потому закономерно, что пришлось дожидаться Галилея). Во-вторых, это зрение зависит от личности самого исследователя. Все? Только что рассказанная история подтверждает, что нет, не все. Ваш Томмот Иванович сделал открытие не только в силу своего таланта, но еще и потому, что он был якутом.

— Как? — опешил я. — Какое это имеет значение?

— Не догадываетесь? Впрочем, это мог сделать не обязательно якут, с таким же успехом это мог осуществить талантливый манси, ненец, чукча. Петр Николаевич, что для вас есть собака?

— Как что? Ну животное, друг человека...

— Да, вот так или примерно так ответил бы любой житель города, любой потомок извечных земледельцев. Ну а вы, уважаемый, — он обратился ко мне, — что для вас, потомка многих поколений охотников, та же собака? Вообще все живое? Не для вас лично, а для якута, для того же Томмота Ивановича, человека постарше, который, верно, прекрасно помнил иную, негородскую жизнь? Ну?

— Ах, вот вы о чем... — сказать, что я изумился, значило ничего не сказать. — Слушайте... неужели?..

— Я ничего не утверждаю наверняка, я только выдвигаю гипотезу. Лучшей одежды, чем придумали эскимосы, для полярников не было и нет. При всем развороте научно-технической революции. Байдарка... Перечислять можно долго. Что, своеобразие народного таланта — дело только прошлого? Нет, товарищи, и будущего тоже. Единство и одновременно национальное своеобразие советской культуры. Как часто мы произносим эти слова, не задумываясь над глубиной их смысла, или сводим все к своеобразию архитектуры, ремесла, песен, плясок и тому подобного. Нет, все куда значительней. Теперь расскажите, что такое для вас, якута, природа, что для вас животные и все такое прочее.

— Ну... — я замаялся. А, была не была! — В общем, так. Природу, животных и птиц мы очеловечивали, это наше совсем недавнее прошлое... Что вы хотите, природа — это же наш дом, где мы проводили, а многие и сейчас проводят большую часть жизни! Любим ли мы ее? Не то слово... Она и мы — это все едино... По нашим недавним представлениям, животные радуются, горюют, мыслят, как человек, у них свои заботы и думы, есть и чувство справедливости. Они могут разговаривать с человеком, понимать его настолько, что, говоря, например, о медведе, нельзя его ругать — может услышать

и отомстить. Нельзя без надобности причинять боль животным и птицам. Деревья плачут, когда в лес выходит неумелец с топором... Наоборот, они радуются, когда видят мастера. И так далее. Конечно, теперь многое кажется наивным...

— А многое ох как не мешало бы перенять всем в теперешней нашей экологической ситуации...— вздохнул старичок.— Да, теперь и история Томмота Ивановича предстает совсем в ином свете.

Я в восхищении смотрел на «философа», хотя почти ничего не мог различить в темноте. Это же надо — сообразил то, что должен, обязан был сообразить я!

— Что ж,— заговорил тот.— Моя гипотеза, как видите, не совсем абсурдна. Это для кого-то собака — «инструмент», а для Томмота Ивановича Басыргас был едва ли не соавтором. Именно такой человек должен был опередить свое время, пойти на сотрудничество с животным, решиться на такой «ненаучный» подход, который, уверен, когда-нибудь, когда мы сблизимся с природой (иначе нам не жить), станет обычным. Да, Томмот Иванович несколько иначе смотрел на мир, чем мы все. Этим он обязан своим предкам, своей культуре, которая в нем сплавилась с современной, вобрав все лучшее из обеих. Перед ним не стояли те психологические барьеры, которые в этой проблеме были бы почти неизбежны и трудноодолимы для меня, займись я ею. Но конечный вывод, увы, печален. Кто-то, разумеется, повторит открытие Томмота Ивановича, но сделает это с большим запозданием, ибо наука движется инструментальным, в данном случае долгим путем. Тысячи и тысячи умрут раньше времени, если только...

— Что? — выдохнул Петр Николаевич, который, как и мы все, заворуженно следил за необычным ходом мысли «философа».

— Дело ускорится,— тот опустил руку на мое плечо,— если по следам Томмота Ивановича двинется он. Или кто-нибудь вроде него. Найдите, Кэскил, своего Басыргаса, верните нам утерянное, больные не должны ждать.

Я вздрогнул от неожиданности. Но тут же пообещал сделать все. Мог ли я поступить иначе? С тех пор на мне лежит эта ответственность. Разделит ли ее кто-нибудь со мной?

Авторизованный перевод с якутского
Д. Биленкина

■ ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

ПОЛ АНДЕРСОН

Бесконечная игра

Первый звук трубы разнесся далеко, ясно, он прозвенел холодной бронзой, и епископ Рогард зашевелился, просыпаясь с этим звуком. Подняв глаза, он взглянул сквозь неожиданно зашелестевший, забормотавший строй солдат, через широкую равнину Киновари, через границу на королевство Белианию.

Там, далеко, за какой-то нереальной черно-белой степью он уловил отблеск солнечного света на доспехах и увидел буйное трепетание поднятых знамен. «Значит, война,— подумал он.— Значит, мы должны сражаться снова».

«Снова?» Он заставил себя не думать о пугающей мрачности этого слова. Разве они когда-нибудь сражались раньше?

Слова от него громко рассмеялся сэр Окер и с резким металлическим стуком опустил забрало на свое веселое юное лицо. Забрало придавало ему странный нечеловеческий вид, он внезапно превратился в лишенную характерных черт вещь, состоящую из блестящего металла и колышащихся перьев плюмажа; и сталь прозвучала в его голосе:

— А, сражение! Слава богу, епископ, а то я начал побаиваться, что мне придется ржать тут вечно.

Он так поднял на дыбы своего коня, что огромные металлические крылья загрохотали.

Справа от Рогарда высокий в своей мантии и короне стоял король Флэмбард. Одной рукой он прикрыл глаза от слепящего солнечного света.

— Первым они посылают Даймоса, королевского гвардейца,— пробормотал он.— Хороший боец.

Спокойствие тона не вязалось с тем, как другая рука короля нервно пощипывала бороду.

Рогард повернулся, взглянув через линии Киновари на границу. Даймос, солдат белизского короля, бежал вперед. Длинное копье сверкало в его руке, щит и шлем ослепительным блеском отражали безжалостный свет, и Рогарду показалось, что он сумел расслышать лязг железа. Потом этот лязг потонул в звуках труб, барабанов

и пронзительных криках со стороны шеренг Киновари, и ему оставалось только наблюдать.

Даймес перепрыгнул два квадрата и стал у границы. Здесь он задержался, топчась и наталкиваясь на Барьер, который неожиданно остановил его, и начал выкрикивать вызов. Среди закованных в панцири солдат Киновари усилилось ворчание, и копья поднялись перед развешивающимися штандартами.

Голос короля Флэмбарда был резок, когда он наклонился вперед и дотронулся скипетром до своего личного гвардейца.

— Вперед, Карлон! Вперед — и останови его!

— Слушаюсь, сир! — Приземистая фигура Карлона склонилась, потом он повернулся и, подняв копье, побежал вперед, пока не достиг границы. Теперь он и Даймес стояли лицом к лицу, огрызаясь друг на друга через Барьер, и на какое-то неприятное мгновение поразился — что же такое сделали друг другу эти два человека в те страшные и забытые годы, что между ними должна была возникнуть такая ненависть?

— Позвольте мне, сир! — голос Окера прозвучал мрачно из-под забрала его шлема, разрезанного узкой щелью для глаз. Крылатый конь рыл копытами жесткую белую почву, и длинная пика отбрасывала сияющую радугу.

— Нет, нет, сэр Окер, — это был женский голос. — Еще нет. Сегодня нам с тобой предстоит сделать многое, но попозже.

Взглянув на Флэмбарда, епископ увидел королеву, Эвану Прекрасную, и что-то внутри у него оборвалось и вспыхнуло. Необыкновенно высокой и красивой была сероглазая королева Киновари, когда стояла она в своих доспехах и глядела на разгорающуюся битву. Ее загорелое юное лицо было забрано в сталь, и только один непослушный локон выбился на ветру, но она пригладила его рукой в ратной перчатке, а другой взялась за меч, вытаскивая его из ножен.

Рогард испытывал горькую зависть к Колумбарду, епископу королевы Киновари.

Барабаны тяжело пророкотали в рядах белизцев, и еще один солдат бросился вперед. Рогард со свистом втянул воздух, когда солдат подбежал и встал справа от Даймоса. И лицо солдата заострилось и побледнело от страха. Между ним и Карлоном не было никакого Барьера.

— На смерть, — пробормотал сквозь зубы Флэмбард. — Они послали этого парня на смерть.

Карлон огрызнулся и кинулся на белизца. У него почти не было выбора — если бы он промедлил, он сам был бы убит, и король приказал ему не медлить. Он кинулся, его копье блеснуло, и белизский солдат рухнул и лег неподвижно, раскинувшись на черном квадрате.

— Первая кровь! — крикнула Эвиана, подняв свой меч и отражая им солнечные лучи. — Первая кровь в нашу пользу!

«Да, это так, — мрачно думал Рогард. — Но король Майкиллейти имел основания пожертвовать этим человеком. Может быть, нам следовало бы дать Карлону погибнуть. Карлон — смельчак, Карлон — силач, Карлон — любитель посмеяться. Может быть, нам следовало бы дать ему погибнуть».

И теперь не было барьера перед Эсейтором, епископом белизским, и он, высокий и спокойный, в сверкающей белой рясе, плавно прошел по белым квадратам и остановился у границы. Рогарду показалось, что он сумел поймать взгляд епископа, устремленный на королевство Киновари. Белизский епископ изогнулся, чтобы броситься вперед со своей тяжелой булавой, если Флэмбард, стремясь избежать риска, попытается обменяться местами с графом Ферриком, как это разрешал Закон.

Закон?

Но не было времени раздумывать, что это был за Закон, и почему ему следовало повиноваться, и что происходило до того, как началась битва. Королева Эвиана обернулась и крикнула солдату Рэддику, гвардейцу ее собственного рыцаря сэра Капрэна:

— Вперед! Останови его!

Рэддик бросил на нее влюбленный взгляд и побежал вперед к границе, тяжеловесный в своей броне. Там стали они — он и Эсейтор, и не было между ними барьера, если кто-нибудь из двоих использует фланговый маневр.

Железо загрохотало, когда булава Эсейтора пробила шлем и череп и сбила гвардейца Рэддика с ног.

Только раз вскрикнула Эвиана.

— И я послала его! Я послала его!

И она бросилась вперед.

По прямой, подобно летящему дротику, неслась вперед королева Киновари. Поворачиваясь, весь подавшись за ней, Рогард видел ее прыжок через границу и остановку у Барьера, отмечавшего левую границу королевства, за которой лежал только туман, простиравшийся до ужасного края этого мира. Там она повернулась лицом к охваченным ужасом шеренгам белизцев, и ветер донес ее крик, подобный крику нападающего ястреба:

— Майкиллейти! Защищайся!

Король Майкиллейти поспешно сошел с той линии, по которой атаковала королева, и отступил в цитадель епископа Эсейтора. «Теперь, — злорадно подумал Рогард, — теперь этот одетый в белую мантию повелитель не сможет найти убежище ни у одного из своих графов. Эвиана лишила его величайшей защиты».

— О-ля, моя королева! — взорвавшись смехом, Окер вонзил шпоры в своего коня.

Крылья бились, развевая ризу Рогарда, когда рыцарь перескакивал через своего гвардейца, чтобы встать в двух квадратах от епископа. Рогард сдержал свой гнев: именно он хотел быть тем, кто последует за Эвианой. Но Окер был лучшим выбором.

О, значительно лучшим! Рогард дышал с трудом, пока его стремительный взор обегал поле боя. На следующем скачке Окер сумеет поразить Даймоса, и потом он и Эвиана смогут захватить Майкиллейти в ловушку!

Неожиданно замешательство овладело епископом. Почему люди должны погибать для того, чтобы захватить какого-то чужого короля? В чем суть Закона, который говорит, что король должен бороться за власть над миром и...

— Защищайся, королева! — Сэр Меркон, королевский рыцарь Белизии, выскочил, подобно Океру.

Рогард хрипло передохнул и подумал, что, наверное, в ясных глазах Эвианы стоят слезы. Потом медленно королева отошла по краю на два квадрата и остановилась перед гвардейцем графа Феррика. Это было достаточно хорошее место для начала атаки, но уже не такое удобное, как прежде.

Боон, гвардеец белизской королевы Долоры, вышел на квадрат вперед и встал, надежно защищая Даймоса от угрозы Окера. Окер сердито заворчал и прыгнул, встав перед Эвианой, между ней и границей, очищая для нее путь и прикрывая Карлона.

Меркон тоже прыгнул, приземлился перед Окером, и между ними лежала граница. Рогард стиснул булаву, и глаза его застлало: белизцы наступали на Эвиану.

— Алфор! — крикнул королевский епископ. — Ты сумеешь ей помочь?

Отважный старый йомен, гвардеец епископа королевы, безмолвно кивнул и двинулся на квадрат вперед. Его копьё нацелилось на епископа Эсейтора, и тот зарычал на гвардейца — между этими двумя теперь не было никакого барьера!

Меркон белизский совершил еще один парящий скачок и остановился в трех квадратах перед Рогардом.

— Защищайся! — проревел его голос из-под безликого шлема. — Защищайся, о королева!

Теперь у Алфара уже не было времени срезать Эсейтора. Большие глаза Эвианы тревожно забегали; затем, приняв быстрое решение, она встала между Мерконом и Окером.

Гвардеец белизского королевского рыцаря шагнул на два квадрата вперед, направив свое копьё на Окера. Надо было обладать смелостью, чтобы встать перед самой Эвианой, но королева Киновари

понимала, что если она убьет его, то королева Беллизии сможет нанести удар ей самой.

— Отойди, Окер! — крикнула она. — Отойди!

Окер выругался и выскочил из опасной зоны, остановившись перед гвардейцем Рогарда.

Королевский епископ закусил губу и попытался унять дрожь. Как солнце сверкало! Его свет иссушающим белым пламенем лился на бесплодные белые и черные квадраты. Огромное солнце неподвижно висело в мутном небе, и люди задыхались в своих доспехах. Грохот труб, и железа, копыт, и крыльев, и топаящих ног звучал под легким ветерком, который веял над миром. Никогда ничего не было, кроме этой бессмысленной войны, никогда ничего больше не будет, и когда Рогард пытался думать о том, что было до того момента, как началась битва, или о том, что будет, когда она кончится, то перед ним вставал только хаос темноты.

Граф Рафеон белизский — огромная, готовая к битве фигура из железа — тяжело шагнул к своему королю. Эвиана крикнула.

— Алфар! — крикнула она. — Алфар, твой час!

Гвардеец Колумбарда громко рассмеялся. Взмахнув копьем, он ступил на квадрат, занятый Эсейтором. Одетый в белую рясу, епископ поднял ненужную и слабую булаву и тут же рухнул в пыль под ноги Алфара. Воины Киновари завывли и ударили мечами о щиты.

Рогард не участвовал в торжестве. «Эсейтор, — подумал он мрачно, — так или иначе был обречен. У короля Майкиллейти что-то другое на уме».

Он был потрясен, когда увидел, что гвардеец графа Рафеона бросился вперед на два квадрата и крикнул Эвиане, чтобы она защищалась. В ярости королева Киновари отступила на квадрат в тыл. С болью понял Рогард, каким беззащитным оказался теперь король Флэмбард, чьи солдаты рассеялись по полю, в то время как белизцы выстраивались в ряды. «Но королева Долора, — подумал он, хватаясь за соломинку надежды, — королева Долора, ее невероятно холодная красота была как раз открыта для мощного удара».

Солдат, который заставил отступить Эвиану, перешел границу.

— Защищайся, о королева! — крикнул он опять.

Это был невысокий грубый неопрятный вояка в запыленном шлеме и латах. Эвиана ответила крепким солдатским проклятием и двинулась на квадрат вперед, чтобы поставить барьер между ним и собой. Он дерзко ухмыльнулся в бороду.

«Плохо нам, неудачный и несчастный день». Рогард еще раз попытался вырваться из своего квадрата и кинулся на помощь Эвиане, но он не волен был сделать это. Барьер держал, невидимый и непреодолимый, и Закон сдерживал, жестокий и бессмысленный Зе-

кон, который гласил, что человек должен стоять и смотреть, как будут убивать его леди, и он с горечью выругался и бессильно замер в тяжком ожидании.

Трубы подняли свои бронзовые шеи, ударили барабаны, и королева Белизиз Долора гордо вступила в битву. Она прошла — высокая, одетая в белое, холодно-прекрасная, с точеным и неподвижным в своей надменности лицом под увенчанным короной шлемом — и встала в двух квадратах перед своим супругом, возвышаясь над Карлоном.

Карлон киноварский плюнул под ноги Долоры, она взглянула на него своими холодными голубыми глазами и отвернулась. Горячий сухой ветер не растрепал ее длинные светлые волосы: она была похожа на стоящую и ожидающую статую.

— Окер, — сказала Эвиана, — сойди с моей дороги.

— Я бы не хотел отступать, миледи, — неуверенно ответил он.

— Я бы тоже не хотела, — сказала Эвиана, — но у меня должен быть свободный путь к спасению. Мы начнем биться сначала.

Медленно отъехал Окер назад, к своему дому. Эвиана усмехнулась, и кривая улыбка исказила ее юное лицо.

Рогард следил за ней так пристально, что не заметил, что происходило вокруг, пока грохот железа не оглушил его. Тогда он увидел епископа Соркаса с окровавленной булавой в руке в квадрате Карлона, а Карлон лежал мертвым у его ног.

«Карлон, твои руки бессильны, жизнь ушла из них, и есть только бесконечная темнота, охватывающая тебя, тебя, который так любил этот мир! Спокойной ночи, мой Карлон».

— Мадам... — епископ Соркас говорил тихо, слегка кланяясь, и улыбка бродила на его хитром лице. — Я сожалею, мадам, что... э...

— Да. Я должна отойти от тебя. — Эвиана тряхнула головой, словно ее ударили, и отступила на квадрат назад и в сторону. Затем, повернувшись, она бросила орлиный взгляд на черный квадрат белизского графа Эрейклеса. Он нервно оглянулся, будто хотел спрятаться за спинами трех солдат, которые охраняли его. Эвиана вздохнула глубоко, со взхлипом.

Сэр Сиетас, рыцарь Долоры, выскочил из своей цитадели, встав между Эвианой и графом. «Уж не собирается ли он убить солдата Алфара? — вяло подумал Рогард. — Теперь он мог бы сделать это». Алфар взглянул на рыцаря, который сидел, пригнувшись, поднял свое копьё и стал ждать решения судьбы.

— Рогард!

Епископ рванулся, и на секунду глаза его застлала тьма, прорезаемая молниями.

— Рогард, ко мне! Ко мне, и помоги очистить от них этот мир!

Она стояла в своих покрытых вмятинами и рубцами доспехах, подняв меч, и над этим разбитым полем она смеялась с возрождающейся надеждой. Рогард не смог крикнуть в ответ. Не было слов. Но он поднял свою булаву и бросился вперед.

Черные квадраты бежали под его ногами, грохотали шаги, стучали зубы, с нарастающей силой напрягались мускулы, и весь этот мир леп. На границе он остановился, зная, что такова была воля Эвианы, хотя он и не мог сказать, откуда он узнал об этом. Перед ним реяли гордые знамена Белизии — сейчас повергнем их в прах!

— Вперед, сэри! — прогреготал Алфар, стоя справа от епископа и смело глядя на белого рыцаря, который мог сразить его. — Гоните их к черту отсюда!

Крылья ударили в небе, и Сиетас спланировал на землю слева от Рогарда. В горячем воздухе голубой металл его доспехов был похож на струящуюся воду. Его конь хралел, взмахивая крыльями; он легко осадил его, покачивалась зажатая в руке пика, белый шлем повернулся к Флембарду.

— Берегись, королева! — надменный голос белизца глухо прогремел из-под стального шлема.

— Конечно, сэри рыцарь, я поберегусь! — только смех звучал в голосе Эвианы.

Затем она легко устремилась по ряду черных квадратов. Она проскользнула мимо Рогарда, улыбнувшись ему на бегу, и он попытался улыбнуться ей в ответ, но лицо его было жестким. Эвиана, Эвиана, она в одиночестве летела во вражеский лагерь!

Железо зазвенело и загрохотало. Белый гвардеец, стоявший на ее пути, опрокинулся и рухнул к ее ногам. Одна рука бессильно поднялась, и крик умирающего послышался в пыли:

— Проклинаю тебя, проклинаю тебя, Майкиллейти, проклинаю тебя за твою глупую ошибку — оставил меня погибать... нет, нет, нет...

Эвиана встала над поверженным телом и вновь рассмеялась прямо в лицо графу Эрейклесу. Тот съежился от страха, облизывая губы, — он не имел права напасть на нее, а она могла уничтожить его следующим ударом. Рядом с Рогардом гикал Алфар, и трубы Киновари завывали в тылу.

Итак, великое наступление началось! Рогард бросил быстрый взгляд на епископа Соркаса. Тощая фигура в белой рясе двинулась вперед, одной рукой легко размахивая булавой, и на его бледном лице была чуть сонная улыбка. Никакого страха?.. Соркас остановился лицом к лицу с Рогардом и улыбнулся несколько шире, безразлично оскалив зубы.

— Ты можешь меня убить, если хочешь, — коротко сказал он. — Но хочешь ли ты?

На секунду Рогард заколебался. Раздробить эту голову!..

— Рогард, Рогард, ко мне!

Крик Эвианы заставил королевского епископа обернуться. Он понял теперь, каков был ее план, и это так поразило его, что он забыл обо всем. «Белизия наша!»

Он быстро побегал. Даймос и Боон, бессильно тычась копьями в Барьеры, зывали на него, когда он пробегал мимо. Он миновал королеву Долору, ее прекрасное лицо казалось вылитым из стали, она следила за ним, когда он проходил по полю Белизии. А потом не осталось времени для размышлений. Граф Рафеон замаячил перед ним, и епископ перешел последнюю границу, вступив на вражескую территорию.

Граф поднял бессмысленный топор. Закон приговорил его к смерти, и Рогард отмахнулся от слабого удара. Удар его собственной булавы потряс тело графа, челюсти лязгнули. Рафеон согнулся, медленно падая, его доспехи загрохотали, когда он рухнул на землю. Пальцы царапнули покрытую железом почву, и потом он затих. «Эвиана, Эвиана, королева-воительница, это твоя победа!»

Даймос белизский заорал и перешел границу. Тщетно, тщетно, он был обречен на тьму. Гибкая фигура Эвианы двинулась к Эрей-клесу, ее меч блеснул, и граф упал к ее ногам. Ее голос был подобен разящему мечу:

— Защищайся, король!

Оглянувшись, Рогард увидел, что справа от него стоял сам Майкиллейти. Между двумя мужчинами лежал Барьер, но Майкиллейти вынужден был отступить перед Эвианой, и он шагнул наискось вперед. Вглядевшись в его лицо, Рогард неожиданно почувствовал холод. В лице его он не увидел признаков поражения, там было искусство, и знание, и негнбимая железная воля — что же замыслила Белизия?

Эвиана вскинула голову, ветер развевал локон ее волос, как мятежное знамя.

— Мы побеждаем их, Рогард! — воскликнула она.

Далекие и слабые из-за шума и неразберихи битвы трубы Киновари донесли приказ короля. Вглядываясь в легкий туман, Рогард понял, что королем овладело беспокойство. Сэр Снетас все еще представлял опасность, стоя близ Соркаса. Сэр Капрэн киноварский тяжело перескочил на квадрат перед гвардейцем графа королевы, перекрыв дорогу, по которой Снетас должен был идти, чтобы напасть на Флэмбарда.

Мудро, но... Рогард вновь взглянул в спокойное бледное лицо Майкиллейти, и словно дуновение холода прошло по нему. Неожиданно он удивился: за что они сражаются? За победу, да, за господство над миром... но когда битва будет выиграна — что же дальше?

Он не был в состоянии думать о том, что будет дальше. Его сознание охватил ужас, которому он не мог отыскать названия. В это мгновение он ясно понял, что это была не первая в мире война, что были и другие войны до нее и снова будут войны. «Победа — это смерть».

Но Эвиана, чудесная Эвиана, она не могла погибнуть. Она должна править всем миром и...

Сталь сверкнула в Киновари. Бросился вперед Меркон белизский и одним тигриным прыжком сбил с ног личного гвардейца Окера. Солдат пронзительно вскрикнул, упав под неистово топчущие его копыта, и его крик потерялся в вопле белизского рыцаря:

— Защищайся, Флэмбард! Защищайся!

Рогард задохнулся. Это было подобно удару в живот. Только что король торжествующе стоял над миром, и теперь все было разрушено одним ударом, и все грозили ему нападением.

— Нет, нет,— взглянув вдоль длинного пустого ряда квадратов, Рогард увидел, что Эвиана плакала. Он хотел бежать к ней, крепко прижать ее к себе и защитить от этого рушащегося мира, но вокруг него были Барьеры. Он не мог сойти со своего квадрата, он мог только наблюдать.

Мертаенно-бледный Флэмбард выругался и отступил к дому королевы. Его люди издали вопль и загрохотали своим оружием — еще оставался какой-то шанс на спасение!

«Нет, ничего не оставалось, пока Закон связывал людей,— думал Рогард,— ничего не оставалось, пока держали Барьеры. Победа была смертью, и победа, и поражение оборачивались одной и той же темнотой».

Стоявшая по другую сторону от своего худого улыбающегося супруга, Долора двинулась вперед. Эвиана вскрикнула, когда эта высокая белая женщина остановилась перед испуганным гвардейцем Рогарда, повернулась к Флэмбарду, туда, где он укрылся, и бросила ему вызов:

— Защищайся, король!

— Нет, нет, ты, глупец! — Рогард бросился вперед, пытаясь разбить Барьер и прорваться к Майкиллейти. — Разве ты не понимаешь, что никто из нас не может победить, это жъ смерть для всех, если война кончится! Позови ее обратно!

Майкиллейти не обратил на него внимания. Казалось, он ждал.

И Окер киноварский разразился громким хохотом. Его смех прозвучал над равниной, разнося счастливую радость, и люди подняли усталые головы и повернулись к юному рыцарю, который стоял в своей цитадели, ибо и юность, и торжество, и слава были в этом смехе. Затем быстрый блеск стали, Окер прыгнул, и его крылатый конь обрушился с неба на саму Долору. Она повернулась, чтобы

встретить его, подняв меч, но он выбил его из рук Долоры и пронзил ее своей пикой. Слишком надменная для того, чтобы кричать, белая королева медленно упала под копыта коня.

И Майкиллэйти улыбнулся.

— Я понимаю,— кивнул гость.— Отдельные электронно-вычислительные машины, и каждая из них контролирует свою собственную шахматную фигуру-робота с помощью направленного луча, а все машины, действующие на одной стороне, связаны своего рода общим сознанием, которое заставляет их соблюдать правила шахматной игры и выбирать лучший из возможных ходов. Блестяще. И совершенно великолепно ваша идея оформить роботов в виде солдат средневековой армии.

Его взгляд следил за маленькими фигурками, которые передвигались по увеличенной доске под ярким светом.

— О, это просто внешние украшения,— сказал ученый.— А вообще это серьезный проект исследования на сложных самонастраивающихся электронно-вычислительных машинах. Давая им возможность играть партию за партия, я получаю некоторые ценные данные.

— Восхитительная вещь,— любуясь, сказал гость.— Вы поняли, что в этом сражении обе стороны воспроизвели одну из знаменитых классических партий?

— Нет, я не заметил. Неужели это так?

— Да. Это был матч между Андерссоном и Кизеритским, тому лет... Я забыл год, но это было довольно давно. Книжки по шахматам часто ссылаются на эту игру как на Бессмертную Партию*.... Значит, ваши электронные машины должны обладать многими свойствами человеческого мозга.

— Да, правильно, это сложные устройства,— согласился ученый.— Еще не все их характеристики ясны. Порой мои шахматисты удивляют даже меня.

— Гм-м,— гость остановился у доски.— Замечаете, как они мчатся внутри своих клеток, размахивая руками, колотят друг друга своим оружием? — Он помолчал, потом медленно пробормотал: — Интересно... интересно, может быть, у ваших машин есть сознание. Может быть, они обладают... разумом.

— Не фантазируйте,— фыркнул ученый.

— А откуда вы знаете? — настаивал гость.— Ваша система обратной связи аналогична нервной системе человека. Откуда вы знаете, что ваши отдельные вычислительные машины, даже если они и

* Здесь и в названии рассказа — игра слов: *immortal game* может означать «вечную игру», «бессмертную партию».

сдерживаются групповой связью, не имеют индивидуальных характеров? Откуда вы знаете, что их электронные ощущения не рассматривают игру как... о!.. как взаимоотношение свободной воли и необходимости; откуда вы знаете, что они не воспринимают данные об этих ходах как их собственный эквивалент данных о крови, поте и слезах? — Он помолчал немного.

— Нонсенс,— проворчал ученый.— Они просто роботы. Сейчас... Эй! Посмотрите туда! Следите за этим ходом!

Епископ Соркас сделал шаг вперед, на черный квадрат, граничащий с квадратом Флэмбарда. Он поклонился и улыбнулся.

— Война окончена,— сказал он.

Медленно, очень медленно Флэмбард взглянул на него. Соркас, Меркон, Сиетас — все они пригнулись, чтобы броситься на него, куда бы он ни повернулся; его собственные солдаты бессильно буживали в Барьерах; не было ни одного места, где бы он мог укрыться.

Он склонил голову.

— Я сдаюсь,— прошептал он.

Через черное и белое Рогард взглянул на Эвиану. Их взгляды встретились, и они протянули друг другу руки.

— Шах и мат,— сказал ученый.— Партия окончена.

Он прошел по комнате к пульту управления и выключил электронно-вычислительные машины.

Перевод с английского Б. АНТОНОВА

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Ветер из Геттисберга

От автора.

Идея рассказа «Ветер из Геттисберга» впервые появилась у меня после посещения диснеевской фабрики по изготовлению игрушечных роботов в Глендайле. Я смотрел, как собирают на конвейере механического Линкольна, и вдруг представил себе убийцу Бутса и театр Форда в тот апрельский вечер 1865 года... И я написал рассказ. Это очень «личное» произведение. Мой герой во многом передает мысли, переживания и смятение, которые я испытывал после покушений на Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди.

В 10.15 вечера он услышал резкий, похожий на выстрел звук, эхом отдававшийся по театральным помещениям,

«Выхлоп газа,— подумал он.— Нет. Выстрел».

Секундой позже он услышал взрыв людских голосов, и затем все стихло, как затихает океанская волна, удивленно накатываясь на пологий берег. С шумом хлопнула дверь. Топот бегущих ног.

Бледный, как смерть, в комнату ворвался билетер, словно слепой, скользнул вокруг невидящим взглядом, в смятении выдал из себя:

— Линкольн... Линкольн...

Байес оторвался от стола:

— Что с Линкольном?

— В него... Он убит!

— Весьма остроумно...

— Убит. Понимаете? Убит. Действительно убит. Убит вторично!

Билетер вышел, пошатываясь и держась за стену.

Байес непроизвольно встал со стула. «Ради бога, только не это...»

Он побежал, обогнал билетера, который, чувствуя, что его обгоняют, тоже побежал рядом с ним.

«Нет, нет,— подумал Байес.— Только не это. Этого не было. Не могло быть. Не было, не могло быть».

— Убит,— сказал билетер.

Сразу за поворотом коридора с треском распахнулись театральные двери, и толпа — кричащее, вопящее, ревущее, оглушающее, дикое сборище — зашумела, забурлила: «Где он?», «Там!», «Это он?», «Где?», «Кто стрелял?», «Он!», «Держи его!», «Берегись!», «Стоп!»

Спотыкаясь, расталкивая толпу, прокладывая там и тут себе дорогу, показались два охранника и между ними человек, изворачивающийся, пытающийся оторваться от сцепившихся рук, увернуться от вздымающихся и падающих на него кулаков. Его хватали, щипали, били свертками и хрупкими солнечными зонтиками, которые разлетались в щепки, как воздушные змеи в сильный шторм. Женщины в панике закружились по фойе, разыскивая потерявшихся спутников. Мужчины с криками отталкивали их в сторону и бросались в центр этого водоворота, туда, где охранники расталкивали толпу и где человек, стоявший между ними, обхватил руками низко опущенную голову.

«О боже! — Байес застыл от ужаса, начиная верить.— Боже мой!» Он взглянул на сцену, потом бросился вперед:

— Сюда! Все назад! Освободите помещение! Сюда! Сюда!

И толпа каким-то чудом разорвалась. С треском распахнулись театральные двери и потом захлопнулись, пропустив наружу разогреченные тела.

На улице толпа бурлила и клокотала, угрожая проклятиями и неслыханными карами. Весь театр сотряслся от бессвязных воплей, криков и предсказаний страшного суда.

Байес долго глядел на трясущиеся дверные ручки, дрожащие замки и защелки, на охранников и человека, зажатого между ними.

Внезапно он отскочил назад, как будто еще что-то, еще более ужасное, стряслось здесь, в проходе между рядами. Его левый ботинок ударился о какой-то предмет, который отлетел в сторону и закружился на ковре под креслами, как крыса, играющая со своим хвостом. Байес нагнулся и вслепую нащупал под креслами теплый еще пистолет. Вернувшись обратно в проход, он сунул пистолет в карман. Прошло не меньше минуты, прежде чем Байес заставил себя повернуться в сторону сцены и этой фигуры посередине.

Авраам Линкольн сидел в своем резном высоком кресле, его голова откинулась в сторону и повисла в неестественном положении. Широко раскрытые глаза глядели в пустоту. Его большие руки мягко отдыхали на подлокотниках, как будто в любую минуту он мог податься вперед, встать и объявить это грустное происшествие оконченным.

С трудом переставляя ноги, как будто под проливым дождем, Байес пошел на сцену.

— Свет, черт возьми! Дайте больше света!

Где-то там, за сценой, невидимый электрик вспомнил вдруг, для чего существует рубильник. Подобие рассвета забрезжило в мрачном, темном зале. Байес поднялся на помост, обошел вокруг Линкольна и остановился.

Да. Так и есть. Маленькое аккуратное пулевое отверстие в основании черепа за левым ухом.

— *Sic semper tyrannis**, — пробормотал где-то незнакомый голос.

Байес резко поднял голову.

Убийца сидел теперь в последнем ряду театрального зала. Опустив голову вниз, он говорил в пол, как будто самому себе:

— *Sic...*

Он смолк на полуслове, почувствовав опасное движение над головой. Кулак одного из охранников взлетел вверх, как будто человек ничего не мог поделать с собой. Кулак готов был уже опуститься на голову убийцы, чтобы заставить его замолчать.

— Не надо! — сказал Байес.

Кулак замер в воздухе. Охранник отвел руку в сторону, в гневе и отчаянии сжимая и разжимая пальцы.

* Так будет со всеми тиранами (лат.).

«Не было,— подумал Байес.— Ничего не было. Ни этого человека, ни охраны, ни...» Он повернулся и еще раз посмотрел на отверстие в голове убитого президента.

Из отверстия медленно капало машинное масло.

Такое же масло стекало изо рта Линкольна по подбородку и бакенбардам и падало капля за каплей на галстук и рубашку.

Байес встал на колени и приложил ухо к груди Линкольна. Там, глубоко внутри, слабо тикали и жужжали шестеренки, колесики, пружины, не поврежденные, но работающие просто по инерции.

По какой-то сложной ассоциации этот угасающий звук заставил его в тревоге подняться на ноги.

— Фиппс?! — пробормотал Байес.

Охранники переглянулись в недоумении.

Байес сжал руки:

— Фиппс собирался прийти сегодня? Боже мой, он не должен видеть этого! Ступайте, позвоните ему, придумайте что-нибудь. Скажите, что произошла авария, да, авария на заводе в Глендайле. Быстрее!

Один из охранников выбежал из зала.

«Боже, задержи его дома, пусть он не видит этого»,— подумал Байес.

Странно, в такую минуту он думал не о себе. Жизнь других людей замелькала перед глазами.

Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс небрежно бросил на стол чертежи, эскизы, акварели и объявил о своем великом плане? И как все они уставились на рисунки, потом на него и выдохнули: «Линкольн?»

Да! Фиппс рассмеялся, как отец, только что вернувшийся из церкви, где некое высшее видение обещало ему необычайно одаренного ребенка.

Линкольн. В этом что-то было. Линкольн, рожденный вновь.

А Фиппс? Он создаст и воспитает этого сказочного, вечно живого гигантского ребенка-робота.

Разве это не прекрасно... стоять среди лугов Геттисберга, слушать, учиться, смотреть, править лезвия наших бритвенных душ и жить?

Байес ходил вокруг тяжело осевшей фигуры, поглощенный воспоминаниями.

Фиппс, поднявший рюмку над головой, как линзу, что одновременно собирает в фокусе лучи прошлого и освещает будущее.

«Я всегда мечтал сделать такой фильм: «Геттисберг»^{*} и огромное людское море; и там, далеко на краю этой дремлющей на солн-

^{*} 1—3 июля 1863 года возле небольшого города Геттисберга произошло крупное сражение между войсками Юга и Севера, ко-

це беспокойной толпы, фермер с сыном, напряженно слушающие и ничего не слышащие, пытающиеся уловить разносимые ветром слова высокого оратора там, на далекой трибуне. Вот он снимает цилиндр, смотрит в него, как будто смотрит себе в душу, и начинает говорить.

И фермер сажает сына к себе на плечи, чтобы поднять его над этой сдавленной многотысячной толпой. Высокий голос президента разносится по округе то ясный и чистый, то слабый и отдаленный, захваченный в плен и разносимый в стороны гуляющими над полем ветрами.

Много ораторов выступало уже до него, и толпа устала, превратившись в сплошной комок шерсти и пота. Фермер нетерпеливо шепчет сыну:

— Ну что? Что он говорит?

И мальчик, весь подавшись вперед и повернув по ветру пушистое, как персик, ухо, шепчет в ответ:

— Восемьдесят семь лет...

— Ну?

— ...тому назад отцы наши основали...

— Ну, ну?

— ...на этом континенте...

— Ну?

— ...новую нацию, рожденную свободной и вдохновленную той идеей, что все люди...

И так это продолжалось: ветер, разносящий во все стороны хрупкие слова далекого оратора, фермер, позабывший про тяжкую ношу, и сын, приложивший руки к ушам, схватывающий смысл речи, пропускающий иногда целые фразы, но все вместе замечательно понятное до самого конца:

— ...правительство народа, избранное народом и для народа...

— ...не исчезнет с лица земли.

Мальчик замолчал.

— Он кончил.

И толпа разбрелась во все стороны. И Геттисберг вошел в историю».

торое закончилось победой северян и явилось поворотным пунктом в ходе всей Гражданской войны. Вскоре после битвы при Геттисберге была образована комиссия по созданию мемориального кладбища для захоронения 3814 американских солдат. Организаторы послали приглашение президенту Линкольну присутствовать на торжественном открытии кладбища. Речь Линкольна вошла в историю ораторского искусства и историю Америки как одна из самых ярких ее страниц. Текст «геттисбергской речи» выбит на граните Мемориального музея Линкольна в Вашингтоне.

Байес сидел, не отрывая глаз от Фиппса.

Фиппс выпил рюмку до дна, внезапно смутившись своей экспансивностью, потом бросил:

— Я никогда не поставлю такой фильм. Но я сделаю ЭТО.

Именно тогда он вытащил и разложил на столе свои рисунки и чертежи — Фиппс Эверди Салем, Иллинойс и Спрингфилдский призрак-автомат, механический Линкольн, электро-масло-смазочная пластмассово-каучуковая, до мелочей продуманная сокровенная мечта. Возвращенный к жизни чудесами технологии, возрожденный романтиком, вычерченный отчаянной нуждой, говорящий голосом неизвестного актера, он будет жить вечно там, в этом далеком юго-западном уголке Америки! Линкольн и Фиппс!

Фиппс и его взрослый, двухметровый от рождения Линкольн. Линкольн!

«Мы все должны стоять на ветру из Геттисберга. Только так можно будет что-нибудь услышать».

Он поделился с ними своим изобретением. Одному доверил арматуру, другому — скелет, третий должен был подобрать «линкольновский» голос и его лучшие выступления. Остальные доставали драгоценную кожу, волосы, делали отпечатки пальцев. Да, даже ПРИКОСНОВЕНИЕ Линкольна должно быть таким же, точно скопированным с оригинала!

Все они жили тогда, посмеиваясь над собой. Эйб никогда не сможет на самом деле ни говорить, ни двигаться, все прекрасно понимали это.

Но по мере того как работа продолжалась и месяцы растягивались в годы, их насмешливо-иронические реплики уступали место одобрительным улыбкам и дикому энтузиазму.

Они были бандой мальчишек, вовлеченных в некое тайное воспаленно-счастливое погребальное общество, встречающих полночь жед сводами мраморных склепов и разбегавшихся на рассвете меж надгробных памятников.

Бригада Воскресения Линкольна процветала. Вместо одного сумасшедшего десяток маньяков кинулся рыться в старых запылившихся и пожелтевших подшивках газет, выпрашивать посмертные маски, делать формы и отливать пластмассовые кости.

Некоторые отправились по местам боев Гражданской войны в надежде, что история, рожденная на утренних ветрах, поднимет их плащи и закопшет их, как флаги. Другие бродили по октябрьским полям Салема, загоревшие в последних лучах лета, задыхаясь от свежего воздуха, наострив уши в надежде уловить не записанный на пленки и пластинки голос худощавого юриста.

Но, конечно, никто из них не был столь одержим и не испытывал столь сильно гордых мук отцовства, как Фиппс. Наконец

наступил день, когда почти готовый робот был разложен на монтажно-сборочных столах; соединенный на шарнирах, с смонтированной системой подачи голоса, с резиновыми веками, закрывающими грубо посаженные грустные глаза, которые, пристально всматриваясь в мир, видели слишком многое. К голове приставили благородные уши, которые могли слышать лишь время прошедшее. Большие руки с узловатыми пальцами были подвешены, как маятники, отсчитывающие это ушедшее безвозвратно время. И когда все было готово, они надели костюм поверх нагой фигуры, застегнули пуговицы, затянули узел на галстуке — конклав портных, нет, апостолов, собравшихся ярким славным пасхальным утром.

В последний час последнего дня Фиппс выгнал их всех из комнаты и в одиночестве нанес последние мазки великого художника, потом позвал их снова и не буквально, нет, но в каком-то метафорическом смысле попросил вознести его на плечи.

Притихшие, смотрели они, как Фиппс взывал над старым полем боя и далеко за его пределами, убеждая, что могила не место для него: воскресни!

И Линкольн, спавший глубоким сном в своем прохладном спрингфилдском мраморном покое, повернулся и в сладком сновидении увидел себя ожившим.

И встал.

И заговорил.

• • •

Зазвонил телефон. Байес вздрогнул от неожиданности. Воспоминания рассеялись.

— Байес? Это Фиппс. Бак звонил только что. Говорит, чтобы я немедленно ехал. Говорит, что-то с Линкольном...

— Нет,— сказал Байес.— Ты же знаешь Бака. Наверняка звонил из ближайшего бара. Я здесь, в театре. Все в порядке. Один из генераторов забарахлил. Мы только что кончили ремонт...

— Значит, с НИМ все в порядке?

— Он велик, как всегда.— Байес не мог отвести глаз от тяжело осевшего тела.

— Я... Я приеду...

— Нет, не надо!

— Бог мой, почему ты КРИЧИШЬ?

Байес прикусил язык, сделал глубокий вдох, закрыл глаза, чтобы не видеть этой фигуры в кресле, потом медленно сказал:

— Фиппс, я не кричу. В зале только что дали свет. Публика ждет, я не могу сдерживать их. Я клянусь тебе...

— Ты лжешь.

— Филлс!

Но Филлс повесил трубку.

«Десять минут,— в смятении подумал Байес.— Он будет здесь через десять минут. Всего десять минут — и человек, вернувшийся Линкольна из могилы, встретится с тем, кто вогнал его туда обратно».

Он резко встал. Бешеная жажда деятельности овладела им. Скорее бежать туда, за сцену, включить магнитофон, посмотреть, какие узлы можно заменить, а что уже никогда не поправить. Впрочем, нет. Нет времени. Оставим это на завтра.

Время оставалось лишь для разгадки тайны.

И тайна эта заключалась в человеке, который сидел сейчас в третьем кресле последнего ряда.

Убийца — ведь он УБИЙЦА, не так ли? Что он представляет собой?

Байес ведь видел совсем недавно это лицо. До боли знакомое лицо со старого поблекшего и позабытого уже дагерротипа. И эти пышные усы. И темные надменные глаза.

Байес медленно сошел со сцены. Медленно поднялся по проходу до последнего ряда и остановился, глядя на человека с опущенной головой, зажатой между руками.

— Мистер... Бутс?

Странный незнакомец смался, потом вздрогнул и выдавил шепотом:

— Да...

Байес выждал. Потом собрался с силами и спросил:

— Мистер... Джон Уилкес Бутс *?

Убийца тихо рассмеялся. Смех перешел в какое-то злое карканье.

— Норман Левелин Бутс. Только фамилия... совпадает.

«Слава богу,— подумал Байес.— Я бы не вынес этого».

Он повернулся и пошел вдоль прохода, потом остановился и взглянул на часы. Стрелка неумолимо бежала вперед. Филлс уже в дороге. В любой момент он может забарабанить в дверь.

— Почему?..

— Я не знаю! — крикнул Бутс.

— Лжешь!

— Удобная возможность. Жалко было упустить.

— Что? — Байес резко повернулся.

— Ничего.

* Джон Уилкес Бутс — убийца президента Авраама Линкольна.

— Ты не посмеешь повторить это.

— Потому что...— начал Бутс, опустив голову — ...Потому что... это правда,— прошептал он в благоговейном трепете.— Я сделал это... В САМОМ ДЕЛЕ сделал это.

Стараясь как-то сдержаться, Байес продолжал ходить вверх и вниз по проходам, боясь остановиться, боясь, что нервы не выдержат и он бросится и будет бить, бить, бить этого убийцу.

Бутс заметил это.

— Чего вы ждете? Кончайте...

— Я не сделаю этого...— Байес заставил себя успокоиться.— Меня не будут судить за убийство, за то, что я убил человека, который убил другого человека, который, в сущности, и не был человеком, а машиной. Достаточно уже того, что застрелили вещь только за то, что она выглядит как живая. И я не хочу ставить в тупик судью или жюри и заставлять их рыться в уголовном кодексе в поисках подходящей статьи для человека, который убивает потому, что застрелен человекоподобный компьютер. Я не буду повторять твоего идиотизма.

— Жаль,— вздохнул человек, назвавшийся Бутсом. Краска медленно сошла с его лица.

— Говори,— сказал Байес, уставившись в стену. Он представил себе ночные улицы, Фиппса, мчащегося в своей машине, неумолимо убегающее время.— У тебя есть пять минут, может, больше, может, меньше. Почему ты сделал это, почему? Начни с чего-нибудь. Начни с того, что ты трус.

— Трус, да,— сказал Бутс.— Откуда вы знаете?

— Я знаю.

— Трус,— повторил Бутс.— Это точно. Это я. Всегда боюсь. Вы правильно назвали. Всего боюсь. Вещей. Людей. Новых мест. Боюсь. Людей, которых мне хотелось ударить и которых я никогда не тронул пальцем. Вещей — всегда хотел их иметь — никогда не было. Мест, куда хотел поехать и где никогда не бывал. Всегда хотел быть большим, знаменитым. Почему бы и нет? Тоже не получилось. Так что, подумал я, если ты не можешь сделать ничего, что доставило бы тебе радость, сделай что-нибудь подлое. Масса способов наслаждаться подлостью. Почему? Кто знает? Нужно лишь придумать какую-нибудь гадость и потом плакать, сожалеть о содеянном. Так по крайней мере чувствуешь, что сделал что-то до конца. Так что я решил сделать что-нибудь гадкое...

— Поздравляю, ты преуспел!

Бутс уставился на свои руки, как будто они держали старое, но испытанное оружие.

— Вы когда-нибудь убивали черепаху?

— Что?..

— Когда мне было десять лет, я впервые задумался о смерти. Я подумал, что черепаха, эта большая, бессловесная, похожая на булыжник тварь, собирается еще жить и жить долго после того, как я умру. И я решил, что если я должен уйти, пусть черепаха уйдет первой. Поэтому я взял кирпич и бил ее по спине до тех пор, пока панцирь не треснул и она не сдохла.

Байес замедлил шаги. Бутс сказал:

— По той же причине я однажды отпустил бабочку. Она села мне на руку. Я вполне мог раздавить ее. Но я не сделал этого. Не сделал потому, что знал: через десять минут или через час какая-нибудь птица поймает и съест ее. Поэтому я дал ей улететь. Но черепахи?! Они валяются на задворках и живут вечно. Поэтому я взял кирпич — и я жалел об этом многие месяцы. Может быть, и сейчас еще жалею. Смотрите...

Его руки дрожали.

— Ладно, — сказал Байес. — Но какое, черт возьми, все это имеет отношение к тому, что ты оказался сегодня здесь?

— Что? Как какое отношение?! — закричал Бутс, глядя на него, как будто это ОН, Байес, сошел с ума. — Вы что, не слушали? Отношение!.. Бог мой, я ревнив! Ревнив ко всему! Ревнив ко всему, что работает правильно, ко всему, что совершенно, ко всему, что прекрасно само по себе, ко всему, что живет и будет жить вечно, мне безразлично что! Ревнив!

— Но ты же не можешь ревновать к машинам.

— Почему нет, черт побери! — Бутс схватился за спинку сиденья и медленно подался вперед, уставившись на осевшую фигуру в высоком кресле там, посреди сцены. — Разве в девяносто девяти случаях из ста машины не являются более совершенными, чем большинство людей, которых вы когда-либо знали? Разве они не делают правильно и точно то, что им положено делать? Сколько людей вы знаете, которые правильно и точно делают то, что им положено делать, хотя бы наполовину, хотя бы на одну треть? Эта чертова штука там, на сцене, эта машина не только выглядит совершенно, она говорит и работает, как само совершенство. Больше того, если ее смазывать, вовремя заводить и изредка регулировать, она будет точно так же говорить, и двигаться, и выглядеть великой и прекрасной через сто, через двести лет после того, как я давно уже сгнию в могиле. Ревнив! Да, черт возьми, я ревнив!

— Но машина НЕ ЗНАЕТ этого...

— Я знаю. Я чувствую! — сказал Бутс. — Я, посторонний наблюдатель, смотрю на творение. Я всегда за бортом. Никогда не был при деле. Машина творит. Я нет. Ее построили, чтобы она правильно и точно делала одну-две операции. И сколько бы я ни учился,

сколько бы я ни старался до конца дней своих делать что-нибудь — неважно что, — никогда я не буду столь совершенен, столь прекрасен, столь гарантирован от разрушения, как эта штука там, этот человек, эта машина, это создание, этот президент...

Теперь он стоял и кричал на сцену через весь зал.

А Линкольн молчал. Машинное масло капля за каплей медленно собиралось в блестящую лужу на полу под креслом.

— Этот президент, — заговорил снова Бутс, как будто до него только сейчас дошел смысл случившегося. — Этот президент. Да, Линкольн. Разве вы не видите? Он умер давным-давно. Он не может быть живым. Он просто не может быть живым. Это неправильно. Сто лет тому назад — и вот он здесь. Его убили, похоронили, а он все равно живет, живет, живет. Сегодня, завтра, послезавтра — всегда. Так что его зовут Линкольн, а меня Бутс... Я просто должен был прийти...

Он затих, уставившись в пространство.

— Сядь, — тихо сказал Байес.

Бутс сел, и Байес кивнул охраннику:

— Подождите снаружи, пожалуйста.

Когда охранник вышел и в зале остались только он, и Бутс, и эта неподвижная фигура там, в кресле, Байес медленно повернулся и пристально, в упор посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:

— Хорошо, но это не все.

— Что?

— Ты не все сказал, почему ты сегодня пришел сюда.

— Я все сказал.

— Это тебе только кажется, что ты все сказал. Ты обманываешь сам себя. Но все это в конечном итоге сводится к одному. К одной простой истине. Скажи, тебе очень хочется увидеть свое фото в газетах, не так ли?

Бутс промолчал, лишь плечи его слегка выпрямились.

— Хочешь, чтобы твою физиономию разглядывали на журнальных обложках от Нью-Йорка до Сан-Франциско?

— Нет.

— Выступать по телевидению?

— Нет.

— Давать интервью по радио?

— Нет!

— Хочешь быть героем шумных судебных процессов? Чтобы юристы спорили, можно ли судить человека за новый вид убийства...

— Нет!

— ...то есть за убийство человекоподобной машины?..

— Нет!

Байес остановился. Теперь Бутс дышал часто: вдох-выдох, вдох-выдох. Его глаза бешено бегали по сторонам. Байес продолжал:

— Здорово, не правда ли: двести миллионов человек будут говорить о тебе завтра, послезавтра, на следующей неделе, через год!

Молчание.

— Продать свои мемуары международным синдикатам за кругленькую сумму?

Пот стекал по лицу Бутса и каплями падал на ладони.

— Хочешь, я отвечу на все эти вопросы, а?

Байес помолчал. Бутс ждал новых вопросов, нового напора.

— Ладно,— сказал Байес.— Ответ на все эти вопросы...

Кто-то постучал в дверь.

Байес вздрогнул.

Стук повторился, на этот раз настойчивей и громче.

— Байес! Это я, Фиппс! Открой мне дверь!

Стук, дерганье, потом тишина.

Байес и Бутс смотрели друг на друга, как заговорщики.

— Открой дверь! Ради бога, открой мне дверь!

Снова бешеный барлбаный грохот, потом опять тишина. Там, за дверью, Фиппс дышал часто и тяжело. Его шаги отдалились, потом стихли. Наверное, он побежал искать другой вход.

— На чем я остановился? — спросил Байес.— Ах, да. Ответ на все мои вопросы. Скажи, тебе ужасно хочется приобрести всемирную телекинорадиожурнальногазетную известность?

Бутс раскрыл рот, но промолчал.

— Н-Е-Т,— раздельно, по буквам произнес Байес.

Он протянул руку, достал из внутреннего кармана бумажник Бутса, вытащил из него все документы и положил пустой бумажник обратно.

— Нет? — ошеломленно спросил Бутс.

— Нет, мистер Бутс. Не будет фотографий. Не будет телепередач от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Не будет журналов. Не будет статей в газетах. Не будет рекламы. Не будет славы. Не будет почета. Веселья. Самосожаления. Покорности судьбе. Бессмертия. Абсурдных рассуждений о власти автоматов над людьми. Великомученичества. Временного возвышения над собственной посредственностью. Сладостных страданий. Сентиментальных слез. Судебных процессов. Адвокатов. Биографов, возносящих вас до небес через месяц, год, тридцать лет, шестидесять лет, девяносто лет. Двусмысленных сплетен. Денег. Не будет. Нет.

Бутс поднимался над креслом, как будто его вытягивали на веревке: он был смертельно бледен, словно невидимой рукой его умыли белилами.

— Я не понимаю. Я...

— Вы заварили всю эту кашу? Да. Но ставка ваша бита. И я испорчу ваше представление. Потому что теперь, мистер Бутс, когда все уже сказано и сделано, когда все аргументы исчерпаны и все итоги подведены, вы просто не существующее и никогда не существовавшее ничтожество. И таковым вы и останетесь: маленьким и посредственным, подленьким, дрянным и трусливым. Вы коротышка, Бутс, и я буду мять, давить, сжимать, дубасить вас, пока вы не станете еще на дюйм короче, вместо того чтобы помогать вам возвыситься и упиваться своим трехметровым ростом.

— Вы не посмеете! — взвизгнул Бутс.

— О нет, мистер Бутс, — тотчас ответил Байес почти счастливым голосом. — Я посмею. Я могу сделать с вами все, что захочу. Больше того, мистер Бутс, ничего этого никогда не было.

Стук возобновился. Теперь стучали в запертую дверь за кулисами.

— Байес, ради бога, откройте мне двери! Это Филлис! Байес! Байес!

Очень спокойно, с великолепным самообладанием Байес ответил:

— Одну минуту.

Он знал, что через несколько минут все взорвется и забурлит, от тишины и спокойствия не останется и следа, но сейчас пока было это: величественная безмятежная игра, и он в заглавной роли; он должен доиграть ее до конца. Он обращался к убийце и смотрел, как тот ерзает в кресле; он снова говорил и смотрел, как тот съежмивается:

— Ничего и никогда этого не было, мистер Бутс. Вы можете кричать на каждом углу — мы будем отрицать это. Вы никогда здесь не были. Не было пистолета. Не было выстрела. Не было электрокно-счетного убийства. Не было осквернения. Не было шока. Паники. Толпы. Что с вами? Посмотрите на свое лицо. Почему у вас подкашиваются ноги? Почему вы садитесь? Почему вас трясет? Вы разочарованы? Я нарушил ваши планы? Хорошо! — Он кивнул на выход. — А теперь, мистер Бутс, убирайтесь отсюда вон.

— Вы не имеете...

Байес мягко шагнул вперед, взял Бутса за галстук и медленно поставил убийцу на ноги. Теперь Бутс вплотную чувствовал его дыхание.

— Если вы когда-нибудь расскажете своей жене, приятелю, начальнику по службе, мужчине, женщине, дяде, тете, троюродному

брату, если когда-нибудь, ложась в постель, вы самому себе начнете рассказывать вслух об этой пакости, которую вы натворили,— знаете, что я с вами сделаю, мистер Бутс? Я не скажу вам этого, я не могу сейчас сказать. Но это будет ужасно...

Бутс был бледен, его трясло.

— Что я сказал сейчас, мистер Бутс?

— Вы убьете меня?

— Повтори снова!

Он тряс Бутса до тех пор, пока слова не сорвались между стучащими зубами: «...убьете меня!..»

Байес держал его крепко, и тряс, и тряс долго и безостановочно, чувствуя, как паника охватывает Бутса.

— Прощайте, Господин Никто. Не будет статей в журналах, не будет веселья, не будет телевидения, не будет славы, не будет аршинных заголовков. А теперь убирайтесь отсюда вон, бегите, бегите, пока я не прибил вас.

Он подтолкнул Бутса. Бутс побежал, споткнулся, встал и неуклюже поскакал к двери, которая в тот же момент затряслась и загрохотала.

Филпс был там, Филпс вызвал из темноты.

— В другую дверь,— сказал Байес.

Он указал пальцем, и Бутс, развернувшись как волчок, помчался в новом направлении.

— Стой,— сказал Байес.

Он пересек зал, подошел к Бутсу, поднял руку и из всех сил влепил ему звонкую пощечину. Пот маленькими каплями брызнул у него из-под руки.

— Я должен был сделать это,— сказал Байес.— Только раз.

Он взглянул на руку, потом повернулся и открыл дверь. Оба посмотрели на таинственный мир ночи с холодными звездами, на тихие улицы, где уже не было никакой толпы.

— Убирайся,— сказал Байес.

Бутс исчез. Дверь с треском захлопнулась. Байес прислонился к ней в изнеможении, тяжело дыша.

По другую сторону зала снова начался стук, грохот, дерганье двери. Это Филпс. Нет, Филпс пусть еще подождет. Сейчас...

Театр казался огромным и пустынным, как поле Геттисберга, когда толпа разбрелась по домам и солнце уже зашло; где была толпа и где ее больше не было; где отец поднял вверх ребенка и где мальчик повторял слова, но слов уже тоже не было...

Он поднялся на сцену и протянул руку. Его пальцы коснулись плеча Линкольна.

Слезы текли по лицу Байеса.

Он плакал. Рыдания душили его. Он не мог остановить их.
Линкольн был мертв. Линкольн был МЕРТВ.
А он позволил его убийце уйти.

Перевод с английского А. БУРМИСТЕНКО

РОБЕРТ СИЛВЕРБЕРГ

Конец света

Ник и Джейн были очень рады, что съездили посмотреть конец света, потому что об этом можно было рассказать на вечере у Майка и Раби. Приятно прийти в гости и рассказать что-нибудь особенное. Майк и Раби устраивали прекрасные вечеринки. Их дом — один из лучших в округе, дом для всех сезонов, всех настроений... столько свободы... камин в гостиной...

Ник и Джейн подождали, пока не собралось достаточно гостей. Тогда Джейн толкнула Ника, и Ник весело сказал:

— Эй, вы знаете, что мы делали на той неделе? Мы ездили смотреть конец света!

— Конец света? — спросил Генри.

— Поехали смотреть? — удивилась жена Генри, Цинция.

— Как вам удалось? — спросила Паула.

— Этим с марта занимается «Американ экспресс», — сказал ей Стэн.

— Да, — быстро сказал Ник. — Вас сажают в машину, похожую на маленькую подводную лодку, с массой приборов и рычажков за прозрачной перегородкой, чтобы вы ничего не трогали, и засылают в будущее. Заплатить можно обычными кредитными карточками.

— Вероятно, очень дорого, — сказала Марсиа.

— Цены быстро снижаются, — ответила Джейн. — В прошлом году такую поездку могли позволить себе лишь миллионеры.

— Что вы видели? — спросил Генри.

— Сперва один серый туман, — сказал Ник. — И что-то вспыхивает. — Все смотрели на него. Он наслаждался вниманием. У Джейн было восхищенное любящее выражение. — Затем туман рассеялся, голос по динамику объявил, что мы достигли конца времени, когда жизнь на Земле стала невозможной. А мы сидели в подводной лодке и смотрели. На берег, пустынный берег. И вода такого забавного серого цвета, с розовым оттенком. Взошло солнце. Крас-

ное, как иногда бывает на восходе; только оно оставалось таким и в полдень и казалось бугристым и распухшим по краям. Как некоторые из нас, ха-ха. Бугристое и распухшее. И холодный ветер, дующий по берегу.

— Откуда вы знали, сидя в лодке, что дует холодный ветер? — спросила Цинция.

Джейн бросила на нее яростный взгляд. Ник сказал:

— Мы видели, как поднимается песок. И чувствовалось, что холодно. Серый океан. Как зимой.

— Расскажи им о крабе, — подсказала Джейн.

— Да, и краб. Последняя форма жизни на Земле. Конечно, это был не настоящий краб, знаете, что-то двух футов шириной и высотой в фут, с блестящей зеленой броней и, наверно, с дюжиной ног, и еще какие-то усики, и оно медленно двигалось перед нами слева направо. Целый день оно ползло по песку. А к ночи умерло. Его усики упали, и оно перестало двигаться. Начался прилив и унес его. Солнце село. Луны не было. Звезды были не на своих местах. По динамике сказали, что мы только что видели смерть последнего существа на Земле.

— Как жутко! — вскрикнула Паула.

— Вы там долго пробыли? — спросила Раби.

— Три часа, — сказала Джейн. — Там можно провести хоть неделю, если доплатить, но вернут вас все равно через три часа после отбытия.

Майк предложил Нику сигарету с марихуаной.

— Это грандиозно, — сказал он. — Съездить на конец света! Эй, Раби, надо поговорить с нашим агентом по путешествиям.

Ник глубоко затянулся и передал сигарету Джейн. Он был доволен собой. Его рассказ явно произвел впечатление. Раздутое красное солнце, краб... Поездка обоилась дороже, чем месяц в Японии, но она стоила своих денег. Он и Джейн были первыми в округе. Это очень важно. Паула смотрела на него с восхищением. Ник знал, что она видит его сейчас в другом свете. Возможно, они встретятся во вторник в мотеле. В прошлом месяце она отказалась, но теперь другое дело. Цинция держалась за руки со Стэном. Генри и Майк расположились у ног Джейн. В комнату вошел двенадцатилетний сын Майка и Раби. Он сказал:

— Только что передавали новости. Радиоактивные мутантные амебы из-за утечки на государственной исследовательской станции попали в озеро Мичиган. Они заражены тканерастворяющим вирусом, и в семи штатах впредь до особого уведомления необходимо кипятить воду.

Майк нахмурился и сказав:

— Тебе пора спать, Тимми,

Мальчик вышел. Раздался звонок. Раби пошла открывать и вернулась с Эдди и Фрэн.

Паула сказала:

— Ник и Джейн ездили смотреть конец света. Они только что рассказывали нам об этом.

— Как,— сказал Эдди,— мы тоже ездили, в среду вечером.

Ник пал духом. Джейн закусил губу и тихо спросила Цинцию, почему Фрэн всегда носит такие яркие платья.

Раби сказала:

— Вы видели всю историю? И краба, и все?

— Краба? — сказал Эдди. — Какого краба? Мы не видели никакого краба.

— Он, наверное, умер раньше,— сказала Паула. — Когда там были Ник и Джейн.

— Вы давно ездили? — спросил Эдди у Ника.

— В воскресенье днем. Мы, пожалуй, были первыми.

— Отличная штука, правда? — сказал Эдди. — Хотя немного мрачно. Как последняя гора скрывается в море.

— Мы видели совсем другое,— сказала Джейн.

Майк спросил:

— А как это происходило у вас?

Эдди обнял сзади Цинцию.

— Они поместили нас в маленькую капсулу с приборами и...

— Это мы уже знаем,— сказала Паула. — Что вы видели?

— Конец света,— ответил Эдди. — Когда все поглощает вода. Солнце и луна были на небе в одно время.

— Мы не видели луны,— заметила Джейн. — Ее там вовсе не было.

— Она была на одной стороне неба, а солнце — на другой,— продолжал Эдди. — Луна была ближе, чем обычно. Забавного цвета, почти бронзовая. И везде один океан. Только в одном месте кусочек земли — эта гора. Гид сказал нам, что это вершина Эвереста. Представляете, плыть в крошечной лодке у вершины Эвереста! Может быть, футов десять возвышалось. А вода все прибывает. Выше, выше, выше. И над вершиной — хлоп. Не осталось никакой земли.

— Как странно,— сказала Джейн. — Мы тоже видели океан, но был берег, и песок, и медленно ползущий краб, и солнце — вы видели красное солнце?

— Оно было бледно-зеленым,— сказала Фрэн.

— Вы говорите о конце света? — спросил Том. Он и Гарриет стояли у двери и снимали пальто. Их, вероятно, выпустил сын Майка. Том передал свое пальто Раби и сказал:

— О, что за зрелище!

— Так вы тоже ездили? — неприятно спросила Джейн.

— Две недели назад, — сказал Том. — Позвонил агент по путешествиям и сказал: «Знаете, что мы предлагаем сейчас? Конец распроклятого света!» И мы поехали прямо к ним, в субботу или в пятницу? — в общем, в тот день, во время волнений, когда сожгли Сан-Луис.

— В субботу, — сказала Цинция. — Помню, я возвращалась домой, когда по радио сообщили, что они применяют ядерное...

— Да, в субботу, — сказал Том. — И вот мы пришли, и они отравили нас.

— Вы видели берег с крабами или мир, затопленный водой? — спросила Стэн.

— Ни то, ни другое. Везде лед. Ни гор, ни океанов. Мы облетели весь мир, и он был как сплошной снежный ком. Мы держали фары включенными, потому что солнца не было.

— Я уверена, что видела солнце, — встала Гарриет. — Как потухший уголек в небе. Но гид сказал, что его нельзя больше увидеть.

— Как получается, что все видят разное? — спросил Генри. — Ведь конец света должен быть только один.

— А это не надувательство? — спросил Стэн.

Все обернулись. Лицо Ника покраснело. У Фрэн было такое выражение, что Эдди выпустил Цинцию и погладил Фрэн по плечу.

— Я не утверждаю, — неуверенно стал он оправдываться. — Просто предположил.

— Мне все показалось вполне реальным, — сказал Том. — Выгоревшее солнце. И Земля — ледяной шар. Конец распроклятого света.

Зазвонил телефон, Раби пошла отвечать. Ник предложил Пауле поужинать вместе во вторник. Она согласилась.

— Встретимся в мотеле, — сказал он, и она улыбнулась. Эдди снова обхаживал Цинцию. Генри неважно выглядел и с трудом боролся со сном. Пришли Фил и Изабель. Услышав разговор Тома и Фрэн о конце света, Изабель сказала, что они с Филом ездили туда позавчера.

— Черт побери! — сказал Том. — Ну и как ваша поездка?

В комнату вернулась Раби.

— Звонила сестра из Фресно. У них все в порядке. Землетрясение Фресно не затронуло.

— Землетрясение? — повторила Паула.

— В Калифорнии, — объяснил ей Майк. — Сегодня днем. Ты не слышала? Разрушен Лос-Анджелес и почти все побережье до Монтерей. Полагают, что оно произошло из-за подземных испытаний новой бомбы в Мохавской пустыне.

— Калифорния всегда страдает от ужасных бедствий,— сказала Марсия.

— Хорошо еще, что эти амебы не распространились на запад,— заметил Ник.— Каково сейчас было бы в Л. А.!

— Еще дойдут,— сказал Том.— Два к одному, что они размножаются переносимыми по ветру спорами.

— Как брюшной тиф в прошлом ноябре,— сказала Джейн.

— Сыпной тиф,— поправил Ник.

— Я рассказывала Тому и Фрэн,— сказал Фил,— какой мы видели конец света. Солнце превратилось в новую. Они все очень хорошо продумали. Я имею в виду, нельзя же просто сидеть, ждать и испытывать это — жара, радиация и прочее. Сперва они привозят вас в момент за два часа до взрыва, ясно? Уж не знаю, сколько триллиардов лет пройдет, но очень, очень долго, потому что деревья совершенно другие, с ветками, как веревки, и синими листьями, и еще какие-то прыгающие одноногие твари...

— О, я не верю,— протянула Цинция.

Фил не обратил на нее внимания.

— Мы не видели и следа людей, ни домов, ни телефонных столбов, ничего. Я думаю, мы вымерли задолго до тех пор. В общем, они дали нам некоторое время смотреть на это. Не выходя из нашей машины, разумеется, потому что, как они сказали, атмосфера отравлена. Солнце стало постепенно разбухать. Мы заволновались, да. Изли? А что если они просчитались? Такие путешествия — дело коварное... Солнце становилось все больше и больше, а потом эдакая штука вроде руки вытянулась у него слева, большая огненная рука, тянущаяся через пространство, все ближе и ближе. Мы смотрели сквозь закопченные стеклышки, как во время затмения. Нам дали две минуты, и мы уже почувствовали жару. А потом мы прыгнули на пару лет вперед. Солнце опять было шаром, только маленьким, такое маленькое белое солнце вместо привычного большого желтого. А Земля обуглилась.

— Один пепел,— с чувством произнесла Изабель.

— Как Детройт после столкновения профсоюзов с Фордом,— сказал Фил,— только хуже, гораздо хуже. Расплавилась целые горы, испарились океаны. Все превратилось в пепел.— Он содрогнулся и взял у Майка сигарету. Изабель плакала.

— Те, с одной ногой,— сказала Изабель.— Они же все сгорели.— Она всхлипнула. Стэн стал ее успокаивать.

— Интересно, все видят разные картины? Замерзание. Или этот океан. Или взрыв солнца.

— Я убежден, что каждый из нас по-настоящему пережил конец света в далеком будущем,— сказал Ник. Он чувствовал, что должен как-то восстановить свое положение. Так хорошо было до

прихода остальных! — Конец света не обязательно один, и они посылают нас смотреть разные катастрофы. Я не на миг не сомневался, что вижу подлинные события.

— Надо и нам съездить, — сказала Раби Майку. — Давай позвоним им в понедельник и договоримся.

— В понедельник похороны президента, — указал Том. — Агентство будет закрыто.

— Убийцу еще не поймали? — спросила Фрэн.

— В четырехчасовом выпуске об этом ничего не говорили, — сказал Стэн. — Думаю, что он сумеет скрыться, как и предыдущий.

— Понять не могу, почему люди хотят стать президентами, — произнес Фил.

Майк поставил музыку. Ник танцевал с Паулой. Эдди танцевал с Цинцией. Генри дремал. Дэйв, муж Паулы, был не в себе из-за недавнего проигрыша и попросил Изабель посидеть с ним. Том танцевал с Гарриет, хотя они были женаты. Она только вышла из больницы после трансплантации, и он был к ней чрезвычайно внимателен. Майк танцевал с Фрэн. Фил танцевал с Джейн. Стэн танцевал с Марсией. Раби вклинилась между Эдди и Цинцией. Потом Том танцевал с Джейн, а Фил — с Паулой. Проснулась и вышла младшая девочка Майка и Раби. Майк снова уложил ее спать. Издалека донесся приглушенный взрыв. Ник снова танцевал с Паулой, но, не желая наскучить ей до вторника, извинился и отошел к Дэйву. Раби спросила Майка:

— Ты позвонишь агенту после похорон?

Майк согласился, но Том сказал, что кто-нибудь застрелит нового президента и будут снова похороны. Эти похороны уменьшают общий национальный продукт, заметил Стэн, потому что постоянно все закрыто. Цинция растолкала Генри и потребовала, чтобы он свозил ее посмотреть конец света. Генри был смущен. Его фабрику взорвали во время мирной демонстрации, и он оказался в тяжелом финансовом положении.

— Луи и Жанет тоже должны были прийти, — сказала Раби Пауле, — но вернулся их младший сын из Техаса с новой формой холеры.

Фил сказал:

— А одна пара видела, как разлетелась Луна. Она слишком близко подошла к Земле и разорвалась на куски. Один кусок чуть не разбил их машину.

— Мне бы это не понравилось, — сказала Марсия.

— У нас было чудесное путешествие, — сказала Джейн. — Никаких ужасов. Просто большое красное солнце, прилив и краб, ползущий по берегу. Мы оба были глубоко тронуты.

— Наука буквально творит чудеса в наши дни, — сказала Фрэн.

Майк и Раби решили съездить на конец света сразу после похорон. Цинция слишком много выпила и нехорошо себя почувствовала. Фил, Том и Дэйв обсуждали состояние рынка. Гарриет рассказывала Никку о своей операции. Изабель флиртовала с Майком. В полночь кто-то включил радио. Еще раз напомнили о необходимости кипятить воду в пораженных штатах. Вдова президента посетила вдову предыдущего президента, чтобы обсудить детали похорон. Затем передали интервью с управляющим компаний путешествий во времени. «Дела идут превосходно,— сказал тот.— Наше предприятие даст толчок развитию всей национальной индустрии. Естественно, что зрелища типа конца света пользуются колоссальной популярностью в такие времена, как наши». Корреспондент спросил: «Что вы имеете в виду — такие времена, как наши?» Но когда тот стал отвечать, его прервали рекламой. Майк выключил радио. Ник обнаружил, что чувствует себя чрезвычайно подавленным. Он решил, что это от того, что многие его приятели совершили поездку, а они с Джейн думали, что будут единственными. Он сидел рядом с Марсией и пытался описать ей, как полз краб, но Марсия только хихикала. Ник и Джейн ушли совсем рано и сразу легли спать, не занимаясь любовью. На следующее утро из-за забастовки не доставили воскресных газет, а по радио передали, что уничтожить мутантных амеб оказалось труднее, чем предполагалось ранее. Они распространились в соседние озера, и всем в этом районе надо кипятить воду. Ник и Джейн обсудили планы на следующий отпуск.

— А не съездить ли нам снова посмотреть конец света? — предложила Джейн, и Ник долго смеялся.

Перевод с английского В. БАКАНОВА

■ ПУБЛИЦИСТИКА

ЕВГЕНИЙ БРАНДИС

Миллиарды граней будущего

Иван Ефремов о научной фантастике

Появление «Туманности Андромеды» (1957), симптоматично совпавшее с началом космической эры — запуском первого искусственного спутника, — обозначило новый рубеж и в истории советской научной фантастики. Роман, принесший Ефремову мировое признание, издавался 79 раз на 39 языках народов СССР и зарубежных стран. Всего же его художественные произведения до конца 1977 года выходили 342 раза на 45 языках*. И это не считая научных трудов по палеонтологии и геологии, статей на разные темы и многочисленных интервью, в которых мы находим суждения по широкому кругу проблем, включая космологию и эволюцию жизни, социологию, историю, этику, психологию, педагогику, эстетику, медицину и биологию, футурологию и научную фантастику применительно к новым путям познания мира, человека и переустройства общества на коммунистических, гуманно-рациональных началах.

Писатель и ученый энциклопедических знаний, материалист-диалектик с аналитическим складом мышления, Ефремов творчески применял кардинальные положения марксистско-ленинской философии и в своих научных трудах и в литературных произведениях. Авторитет Ефремова как основателя нового, социально-прогностического направления в советской научно-фантастической литературе, его вдохновляющий пример и влияние повышались активной деятельностью и в качестве публициста, убежденно отстаивавшего свои принципы.

Научной фантастике в системе его взглядов отводится заметное место как неотъемлемой органической части мирового литературного процесса. Если попытаться систематизировать и придать некую целостность разрозненным, фрагментарным суждениям о мировоззренческих основах фантастики, ее нравственно-педагогической задаче и эстетической функции, не говоря уже о высказываниях по более частным вопросам, то взгляды Ефремова выстраи-

* По сведениям, предоставленным библиографом А. Багаевым (Свердловск).

ваются в законченную, глубоко продуманную концепцию. Концепцию отнюдь не умозрительную, а соединяющую теорию с практикой, с гигантским историческим опытом, преломленным в «опережающем реализме» научно-фантастических построений.

Теоретические взгляды Ефремова сложились в 50-х годах и существенно не менялись до конца его жизни. Научность фантастики он понимал как ученый, требуя твердых обоснований причин и следствий, заданных внутренней логикой прогностических или вероятностных допущений. Отсюда его неприятие «fantasy», фантастики заведомо ненаучной, тяготеющей к сказке. Но при этом он проводил дефиниции не столько по жанровым, сколько по идеологическим линиям. Не скрывая своих литературных пристрастий, он в то же время одобрительно относился к творческим поискам во всех направлениях.

Суждения Ефремова привлекают богатством идей и философской зрелостью. Состояние и пути развития фантастики он соотносит с множеством факторов общественного бытия и сознания, настойчиво выдвигая на первый план ее прямую зависимость от достижений науки и от уровня научного мышления.

Ефремов нередко сетовал на слабую разработанность теоретической базы и критики научной фантастики. Не считая себя в этом деле профессионалом и не занимаясь специальными исследованиями, он щедро рассыпал свои мысли, обогатившие и теорию и критику. Это я и хотел показать, располагая в определенной последовательности и попутно комментируя выдержки из интервью и статей, раскрывающих почти не изученную, но живую и действенную часть литературного наследия автора «Туманности Андромеды».

В своей области творчества, принесшей ему мировую известность, Ефремов предстает как значительный теоретик и как принципиальный критик.

Следует, однако, оговориться, что данная публикация — предварительная, не претендующая на полноту охвата материала, который в совокупности составил бы целую книгу.

Сначала о субъективных моментах. Что же побудило ученого, доктора биологических наук обратиться к фантастике?

— Прежде всего, — говорил Ефремов, — ограниченность науки, ее чрезмерная рациональность, отсутствие в ней эмоциональной стороны. А это огромная часть жизни человеческого существа, которая должна получить выход, находить удовлетворение (1,109)*. ...Планы и замыслы любого ученого, как, впрочем, и

* См. ниже список источников. Первая цифра в скобках — название статьи; вторая — страницы, откуда взята цитата. Выдержки из интервью даются в форме прямой речи.

всякого другого человека, необычайно широки. А исполняются они, я думаю, в лучшем случае — процентов на тридцать. Вот и получается: с одной стороны — всевозможные придумки, фантазии, гипотезы, обуревающие ученого, а с другой — бессилие добыть для них строго научные доказательства... А в форме фантастического рассказа я — хозяин. Никто не спросит: где вычисления, опыты? Что взвешено, измерено? (2, 49) ...«Желание как-то обосновать и утвердить дорогую для меня мысль и явилось «внутренней пружиной», которая привела меня к литературному творчеству» (3, 143).

Любопытно суждение, относящееся скорее к психологии творчества:

— ...Второе обстоятельство — неудовлетворенность окружающим миром. Она, замечу, свойственна каждому человеку: полностью могут быть довольны лишь животные, да и то далеко не всегда. Писатель, как и ученый, мечтает о лучшем, о гораздо лучшем. Но тяжелый воз истории катится своими темпами к далеким горизонтам, и темпы эти не упрекнешь в излишней поспешности... А живем-то мы сейчас! Отталкиваясь от несовершенств существующего мира, всякий человек пытается так или иначе улучшить жизнь. Один любит цветы — разобьет цветник, другой может спеть — споет. Ну, а если у третьего хорошо работает фантазия, развито воображение? Что ж, он пытается, раздумывая, создать свой мир — явления, которые хотел бы видеть состоявшимися, достижения, не осуществленные в пределах биографии современников. Словом, мир — для себя, мир — в себе.

Но существующий в вас мир, мир только для вас — это неживой мир. Он — открытие ваше, изобретение, создание, но он — мертв. И, как при всяком открытии — музыкальном, научном, любом другом, — естественно желание рассказать об открытом вами мире, сделать его явным для других. Так вот и рождается писательская потенция... (2, 50).

Развитое воображение — необходимое свойство художественного мышления, а в фантастике оно тем более обязательно. Мы часто повторяем слова Ленина: «Фантазия — есть качество величайшей ценности», но не очень задумываемся в их глубинный смысл.

— И действительно: если бы не было фантазии, то и вообще бы наука и философия стояли не месте. По-моему, фантазия — это вал, поднявшись на который, можно видеть значительно дальше, пусть порой еще в неясных контурах. Помните стихи Фета: «Одной волной подняться в жизнь иную, почуять ветер с цветущих берегов...» Что в общем-то фантасты и делают (4, 335).

Научная фантастика выросла из литературы приключений. И та, и другая неотделимы от романтики поиска.

— Я начал с рассказов о необыкновенном — романтических рассказов о необыкновенных явлениях природы. Почему я обратился к приключенческому жанру? Да потому, что категорически не согласен с теми, кто склонен считать приключенческие книги литературой второго сорта. Герои таких книг — всегда сильные, смелые, положительные, неутомимые; под их влиянием читателю и самому хочется сделать что-то в жизни, искать и найти... Убежден: будь у нас изобилие таких книг — меньше было бы поводов для появления в нашей «большой» литературе унылых произведений с пассивными, страдающими «героями» — растерянными хлюпиками, злобными эгонстами. Но хороших приключенческих книг у нас до сих пор до обидного мало; еще обиднее — недостаточное внимание к ним... (2, 50).

Огромное воздействие на формирование вкусов и склонностей будущего ученого и писателя оказали еще в раннем детстве французские и английские романисты, в те годы исключительно популярные — Жюль Верн, Майн Рид, Хаггард, Луи Буссенар, Луи Жаколио...

— Я не разделяю нелюбви отдельных педагогов к приключенческой литературе, которые почему-то полагают, что она мешает воспитанию хороших качеств человека, — сказал Иван Антонович журналисту М. Васильеву. — Но это же неверно! Почитайте эти книги. Они учат именно лучшим чувствам, которые мы хотели бы видеть в молодых людях: любви к свободе, смелости и отваге, верности в дружбе.

Мне хочется особенно остановиться на Хаггарде. Им я тоже зачитывался в детстве. И скажу, что именно ему обязан своей любовью к Африке. На этом материке разворачивается действие многих романов и повестей. «На краю Ойкумены», «Путешествие Баурджеда», «Лезвие бритвы»...

Мы мало издаем Хаггарда, а ведь это, ко всему прочему, русский, точнее, по происхождению на одну четверть русский писатель! Его дед жил в Петербурге и здесь женился на русской девушке. Да, писатель Хаггард писал по-английски и вряд ли знал русский язык, но то поразительное сочетание поэтического восприятия природы Африки и красивой фантастики лично мне кажется проявлением мечтательности. Его «тысячелетняя женщина» (героиня фантастического романа «Она», — Еер. Б.), живущая в сердце Африки, представляется ближайшей родственницей гоголевского Вия или колдуна из его «Страшной мести» (5, 14—15).

Хаггард и... Гоголь! И все-таки в этом произвольном сопоставлении двух совершенно несхожих писателей уловлена типологическая близость произведений, основанных на фольклорных образах и мотивах народной фантазии.

Старые приключенческие романы, пленявшие когда-то Ефремова, уже не могут решить сформулированной им же задачи: «Главное — в создании таких человеческих образов, которые могут служить образцом для подражания, путеводной звездой» (6, 5).

Новое время выдвигает новых героев, требует новых книг. Поэзия парусного флота, необитаемых островов, неоткрытых земель безвозвратно ушла в прошлое. Земной шар «съежился, как проколотый футбольный мяч, он стал привычным, обжитым».

— Не грустите,— обращался он к юному поколению,— что милая старая романтика непознанной Земли ушла от нас. Вместо нее родилась романтика, требующая гораздо большего напряжения сил, гораздо большей подготовки, психологической и физической — романтика проникновения в значительно более глубокие тайны познания (7, 272—273).

Отсюда и новая структура повествования, где динамика создается внутренним напряжением. Извилистый путь исследования, история и судьба открытия не менее увлекательны, чем привычные странствия. С этого и начал Ефремов в «Рассказах о необыкновенном».

— Человека выковывают,— сказал он Ю. Моисееву,— не только героические приключения, но и приключения мысли — подвиги ищущего ума (8, 28).

Однако понятия героизма и подвига нередко становятся расплывчатыми, затертыми от неточного употребления.

«Героем обычно называют человека, поставленного жизнью в необычную ситуацию, труднейшее положение, справиться с которым можно, лишь проявив выдающиеся волевые и физические качества, храбрость, смекалку, выносливость. Преодоление этой жизненной трудности, бед, катастрофы и есть подвиг».

Сама профессия определяет норму поведения. В послесловии к книге А. Меркулова о летчиках-испытателях, откуда взят цитированный абзац, Ефремов выделяет очень верное замечание автора, что если летчики идут на испытание как на подвиг, то это означает, что они не годятся не только в герои, но и вообще в испытатели. «Поэтому героическая профессия еще не определяет героя, а единственный подвиг еще не есть конечный результат этой профессии. Только тогда, когда деятельность человека состоит из целой цепи подвигов, он становится героем в глубоком, народном смысле этого слова».

«Великие завоеватели,— продолжает Ефремов,— даже наиболее лично отважные и человеческие, как, например, Александр Македонский, не сделались народными героями даже у эллинов. Герой в эллинском понимании лишь тот, кто посвящает себя борьбе со злыми силами, приносящими беду людям, и борется с ними на

протяжении всей жизни. Таковы самый любимый из всех героев — Геркулес, затем Тесей и другие. Наша русская традиция всегда рассматривала богатырей как защитников народа, борцов с захватчиками, чудовищами, разбойниками, в точном соответствии с понятием героизма у эллинов. ...Я не случайно обратился к примерам отдаленного прошлого. Оказывается, что герой в подлинном значении этого понятия вовсе не обязательно человек будущего и не обладает большим, чем другие, количеством черт этого человека. Он столь же древен, как и людской род. ...И умножение их числа, а не изменение качества будет означать переход к обществу высшего типа, обществу будущего — коммунистическому» (9, 235—237).

Героизм, подвиг, романтика — слова, исполненные высокого смысла. К сожалению, их часто употребляют как стилистический прием. Романтика — мироощущение ищущих, впечатлительных, цельных натур. Конечно, оно свойственно далеко не каждому. Емкому, но достаточно истертому слову пора вернуть его истинное значение.

— Романтика — это более серьезное, более вдумчивое, чем обычно, отношение к жизни. Романтик ценит жизненные явления больше, чем кто-либо другой. Его волнуют, поражают отблески заката на воде, девичьи глаза, чья-то походка, смех ребенка... Романтик, как и настоящий художник, — собиратель красоты в жизни, а это порождает ощущение величайшей ценности каждого мгновения, его абсолютной, неизбывной неповторимости. И я всерьез полагаю, что для того, чтобы писать настоящую фантастику, надо родиться романтиком... (2, 51).

И еще одно родственное понятие — мечта. Какую роль играет она в фантастическом творчестве? Разумеется, первостепенную. Мечта и фантазия — родные сестры. «Пока жива человеческая мысль и стремление к лучшей жизни, к познанию мира, к поискам прекрасного, действительность не обгонит фантазию даже в самом далеком коммунистическом завтра. Больше того, я убежден, что фантазия станет смелее, куда больше будет мечтателей, и соответственно этому еще быстрее пойдет прогресс науки и искусства» (10, 6).

Еще в 40—50-х годах, в период дискуссий о «теории бесконфликтности» и теории фантастики «ближнего прицела», были в ходу определения «литература крылатой мечты», «литература научной мечты». Определения явно обуженные, упрощающие многосложность явления. Привычные, казалось бы, понятия Ефремов толкует по-своему, отправляясь от собственных представлений о задачах научной фантастики.

«Возникает необходимость в научной мечте — фантазии, обогащающей собственно не науку, так как она исходит из нее же, но возможности конкретного применения ее передовых достижений» (11, 6). И более подробно — в статье «Наука и научная фантастика»,

в разделе, подчеркнуто озаглавленном «Литература мечты и научного прогресса».

«Подавляющее большинство любителей и сторонников научной фантастики, равно как и сами писатели, соглашаются, что это литература мечты. На возражение, что мечта в совершенно равной степени свойственна любому художественному произведению, а социальная мечта составляет основу как утопических, так и многих исторических произведений, обычно отвечают: мечта в научной фантастике — дальнего прицела, и это, мол, отличает ее от других видов художественной литературы. Эти определения, очевидно, неточны. Само собой разумеется, в научной фантастике мечта занимает очень важное место, но какая мечта? Разве обязательно дальнего прицела? И как установить, далек или близок прицел? Мне кажется, что мечта о приложении научных достижений к человеку, к преобразованию природы, общества и самого человека составляет сущность настоящей научной фантастики. Показ влияния науки на развитие общества и человека, отражение научного прогресса, овладения природой и познания мира в психике, чувствах, быту человека — вот главный смысл, значение и цель научной фантастики» (12, 478—479).

И в других близких по смыслу определениях Ефремов неизменно подчеркивает ее связь с наукой и социальную направленность.

— Научная фантастика — это такой род литературы, который при посредстве науки и диалектической философии помогает создать представление о мире и жизни в будущем и через это проясняет цели настоящего (13). ...В своих лучших проявлениях она прослеживает влияние достижений науки на материальную структуру общества и духовную жизнь человека или же обрисовывает воображаемое развитие научных открытий, зародыши которых возникают сегодня, и ведет читателя к пониманию возможностей, заложенных в социальных явлениях настоящего» (14). «...Сочетание разума с эмоциями, науки и поэзии — это и есть, собственно, сущность научной фантастики» (1, 109).

Оба слова, образующие это понятие, по мнению Ефремова, двуедины и находятся в диалектическом взаимодействии.

— Я ученый и предпочитаю употреблять точный термин, а именно «научная фантастика». Делаю это потому, что и на Западе, и среди некоторой части советских молодых фантастов наметилась тенденция отбрасывать понятие «научная», то есть основывать фантастику исключительно на свободном вымысле, не обязательно подтвержденном научными открытиями. Мне думается, что это неверный путь, — в наш век стремительного развития техники такая фантастика, по сути дела, выглядит просто сказкой. Именно в широком

использовании научных достижений и предвидений, на мой взгляд, заключается одна из причин громадной притягательности современной фантастической литературы (13).

«Неслыханный прежде рост могущества науки, внедрившейся глубоко в жизнь, а следовательно, и в психологию человека», вызвал широчайший интерес к научной фантастике и ее стремительное развитие... Вторая причина — «сложная и противоречивая социальная структура современного мира с опасностями истребительных войн и возникновения антигуманистических обществ типа фашизма, несущих в себе всепланетную угрозу. И, наконец, третья, хотя мы часто забываем ее — поиски моральной опоры и смысла жизни. Падение религиозных верований происходит сейчас, не говоря уже о социалистических странах, во всем мире. Идет замена религиозной морали научным мировоззрением, основанным на закономерностях познания природы и человека. Люди хотят не только осмыслить место в мире, но и бросить взгляд в будущее, чтобы там видеть смысл своих трудов и подвигов, совершенных во имя жизни, а не условных религиозных понятий». Поэтому в современных условиях «научная фантастика может служить острейшим оружием идеологической борьбы с лагерем капиталистических стран, ибо в конце концов... — это сражение за будущее человечества и всей планеты» (15, 20—21).

«Наиболее значительны, разумеется, проблемы грядущего или настоящего, связанные с разработкой новой научной морали, сопряжения эмоциональной и научной стороны мирозерцания, этики, физического воспитания и самовоспитания.

Короче говоря, наиболее значительна и интересна социальная научная фантастика, с глубоким анализом становления личности человека.

Другая весьма важная линия проблем научной фантастики заключается в борьбе за восстановление и сохранение природной среды жизни человека.

Оба указанных направления сливаются в конечном счете в предсказании и построении всепланетного коммунистического общества на космическом корабле, именуемом Земля» (16, 71).

«Фантаст должен пытаться предугадать логическую и эмоциональную атмосферу будущего — ноосферу, как говорил Вернадский, океан мысли, накопленной информации, в котором все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез с лица земли, разработанные наукой способы познания, творческого воображения художников, писателей, поэтов всех эпох и народов» (8, 28).

«Само собой разумеется, что высказанные требования к научной фантастике составляют программу-максимум для всех работающих в ней писателей» (15, 20).

Начав с рассказов о необыкновенных открытиях «на стыках» нескольких отраслей знания, Ефремов затем обратился к новым темам, связанным с освоением космоса, выходом человечества на просторы Галактики, разработкой гипотезы Великого Кольца Миров.

— Палеонтолог в своей работе,— сказал он журналисту Ю. Моисееву,— оперирует тысячами и миллионами лет — геологическими эпохами. Наверное, привычка к таким масштабам времени не проходит безнаказанно; она-то и проложила путь моим кораблям в будущее — ведь будущее — лишь другое направление на оси времени (8, 28).

В одной из статей он так объяснял преимущества фантастики «дальнего прицела» и «серьезную причину отсутствия больших романов о ближайшем будущем»:

«Историческое развитие человечества — чрезвычайно сложный процесс. К великому сожалению, до установления коммунистического общества на всей или большей части планеты мы еще не можем управлять этим процессом, подчинить его нашему желанию и предвидению. Закономерности общественного развития, впервые научно вскрытые марксизмом, выступают лишь на больших отрезках времени, в течение которых историческая необходимость проявляется в массе случайностей.

Чтобы понять и почувствовать эти закономерности для будущего, надо проецировать их на довольно значительный отрезок времени. Только так, проходя сквозь завесу скоротечных, полностью подверженных частным случайностям событий сегодняшнего времени, можно создать сколько-нибудь достоверную почву социологической фантазии о грядущем.

...Мечта «дальнего прицела», как цветовая гамма картины или тональность музыкального произведения, пронизывает все и потому существует лишь в общем, широком плане, раздробляясь на части при попытках ее конкретизации. Непреодолимая для короткой человеческой жизни даль столетий и невозможность реализовать дальнюю мечту неизбежно абстрагируют ее, придают ей вкус печали. Но в то же время дальняя мечта становится как бы общим эталоном, шкалой для оценок и проверки современной жизни с точки зрения ее устремленности к будущему» (17, 20—21).

Ефремов говорит о романах, которые по давней традиции принято называть утопическими. Но применительно к моделям социальных устройств, основанных на идеях научного коммунизма, термин «утопия» выглядит архаичным. Тяготение Ефремова и его последователей к всесторонней, комплексной обрисовке совершенного общества грядущих веков позволяет, мне кажется, называть такого

рода произведения конструктивными социально-фантастическими романами.

Конечно, фантастика «дальнего прицела» никак не отменяет необходимости заглядывать и в ближайшие десятилетия.

«Мечта о ближайшем будущем характерна противоположным «звучанием». Она неизбежно конкретна, детальна и обладает не только четкими контурами, но и определенными путями для своего свершения. Следовательно, такая мечта должна быть действенной, могущей что-то изменить уже в самом близком времени. Ее страстно хочется видеть уже исполнившейся и хочется передать это яростное желание своим читателям (разумеется, когда эта мечта не узко личная, а отвечающая чаяниям многих людей).

«Так расширилась и выросла,— пишет Ефремов,— моя большая и давняя мечта о том, чтобы как можно больше людей узнало о широком внедрении науки в жизнь, о распространении радости и поэзии научного поиска и открытия — всего, что составляет нелегкий, но полный интереса труд ученого» (17, 21).

«Благодаря накоплению гигантского опыта и колоссальным техническим возможностям наука поднялась на новую, качественно иную ступень. ...В этом бесконечно многообразном хранилище исканий и размышлений человечества находятся истоки решительно всех научно-фантастических произведений, и еще несметное их количество ждет своих литературных открывателей» (12, 473—474).

Обычно говорят о воздействии науки на научно-фантастическое творчество, но нередко забывают об обратном соотношении. А между тем «обратная связь» с наукой приобретает большую значимость потому, что в такой литературе ученые увидят то, что иногда трудно осмыслить им самим,— действие их открытий и опыта в жизни и в человеке, причем не только положительное, но иногда и трагически вредное» (12, 479).

Фантастику, как и поэзию, перефразируя Маяковского, можно назвать «ездой в неизвестное» (3, 153). Точно так же можно сказать: побольше фантастов хороших и разных! «Фантастика должна быть и социальной, и философской, и технической, различаясь лишь в «процентном отношении» этих компонентов в пределах художественной достоверности» (18, 76).

Ефремов ратует за многообразие фантастики, но не терпит произвольного обращения с наукой. «Научные ошибки и неточности абсолютно нетерпимы не только в научной фантастике, но и в бытовой литературе. ...Это звучит вроде требования писать книги без орфографических ошибок» (12, 472).

— Научная фантастика решает свои задачи средствами научного правдоподобия, учитывая, насколько это возможно, реальные

закономерности, научные и социальные. Фантазировать можно на любую тему — и о далеком будущем, и о давно минувших временах. На Западе фантазируют о чем угодно и как угодно, но будущее этого жанра — целиком в научной обоснованности (19, 203).

Как понимать научную обоснованность? Как условную допустимость фантастических построений, их корректность по отношению к науке. Исследователь, вооруженный колоссальными знаниями, Ефремов остается ученым и в художественном творчестве. Он подчиняет искусство науке. Он откровенно использует свои произведения для прокламации оригинальных гипотез и собственных научных идей, покоряющих читателя новизной, системой и логикой доказательства. Потому он не боится открытой дидактики, демонстративно не избегает лекционного метода, пространных монологов, затянутых экскурсов, разрыхляющих сюжетную ткань. Динамичные эпизоды повествования — всего лишь стропила, удерживающие тяжесть научной набивки, где «формулы» не всегда переплавлены в «образы». Ефремову важнее не форма выражения, а сама мысль в ее обнаженной сути. И в этом своеобразие его поэтики. Завораживает логика рассуждений, богатство идей, самоценная красота, эстетичность всепроникающей мысли.

Фантастическое творчество в его понимании жестко детерминировано научным мышлением. Он последовательный, убежденный сторонник «чистой» (или, как принято теперь говорить, «твердой») фантастики, подчиненной научно-логическим мотивациям, и с этих позиций отрицает «fantasy», фантастику, основанную на свободном вымысле, не подкрепленную научными допущениями.

Из зарубежных фантастов Ефремову близки по творческим устремлениям писатели-ученые Айзек Азимов, Артур Кларк, Чэд Оливер, Станислав Лем, и в то же время он отлучает от научной фантастики Рэя Бредбери, хотя и признает его яркий талант. «Произведения Бредбери, — пишет Ефремов, — пожалуй, первый случай в истории литературы, когда полные ненависти к науке произведения сочтены выдающимися образцами «научной» фантастики. Это как нельзя лучше показывает, насколько велика путаница в представлениях о жанре, его пределах и назначении» (12, 469).

Ефремов не принимал расширительных толкований многоцветного спектра современной фантастики, абрающей в себя среди прочих жанров и «научную» сказку: «То, что она (фантастика. — Евг. Б.) говорит о науке, — писал, например, Ю. Кагарлицкий, — может совпадать с самой наукой, а может и не совпадать — быть только на нее «похожей». Но она имеет право называться научной как в первом, так и во втором случае. Условие здесь только одно — соответствие типу научного мышления своего времени» («Лит. газета», 1967, 21 июня).

Размытость границ Ефремова не устраивает. В коротком предисловии к сборнику О. Ларионовой «Остров мужества» он четко формулирует свои принципы:

«В давних спорах о научной фантастике, при определении ее поля деятельности, особенно зыбкой и неясной представляется граница между научной фантастикой и «чистой» фантазией. Именно здесь поскользнулось немало теоретиков литературы, не говоря уже об авторах, утверждающих свое право на любую фантазию, свободную от оков, якобы налагаемых наукой. В этой трактовке, сначала на Западе, а в последние годы и у нас, научная фантастика незаметно слилась со сказкой, гротеском, вообще любым вымыслом, переходящим нормативы бытовой литературы. Некоторые исследователи стали находить корни научной фантастики у Рабле или даже у Гомера. На самом деле научная фантастика — порождение века, резко отличное от чистого вымысла, сказки или иных видов прежней литературы и ни с какими произведениями более древних времен не родственное» (11, 5).

(Позволю себе заметить в скобках, что проблема преемственности идей, ситуаций, сюжетов, образов, вопреки утверждению Ефремова, безусловно, затрагивает и научную фантастику. Явление принципиально новое, сложившееся только в век НТР, она тем не менее имеет предшественников и свои глубокие корни. Типологическое сходство художественных структур теории выявляют на разных исторических уровнях, всякий раз в обусловленном времени ином функциональном значении. Качественно новое содержание и обновленные формы не стирают генетических связей с прошлым. К примеру, в архаической волшебной сказке М. Горький усматривал «прототипы гипотез». С этой точки зрения эмбрионы научно-фантастических замыслов, как и будущих философских систем, небесполезно искать и в древнейших литературных памятниках. Что касается прямых предшественников, то вряд ли следует умалять значение художественных открытий в тех направлениях, которые оказались весьма перспективными именно для XX века.)

Далее, в той же статье, Ефремов формулирует свои главные принципы:

«В чем основа научной фантастики? Где критерий разграничения ее с другими видами литературы? Только в одном: в попытке научного объяснения описываемых явлений, в раскрытии причинности методами науки, не ссылаясь на таинственную судьбу или волю богов. Как только религия перестала удовлетворять интеллигентного человека, ее место в мироощущении заступила наука. Пустоты для мыслящего существа здесь не могло быть. Это неизбежно вызвало появление особого вида литературы, в которой объяснение мотивов и случайностей, морали и целей было предостав-

лено не эмпирическим наблюдениям, не загадочному стечению обстоятельств, а закономерностям структуры мира, общества, исторического развития. Этот путь требует от художника слова огромной эрудиции, нахождения новых путей в анализе жизненных ситуаций, поисков иных изобразительных средств» (11, 5).

Научное мышление сближает фантастику с реализмом. По глубокому убеждению Ефремова, «фантастические произведения в основе своей должны быть реальны, вернее, казаться таковыми. Думаю, в своем творчестве придерживаюсь этого правила, даже закона» (19, 215).

Научная фантастика — отрасль художественной литературы. «Никакого особенного «метода» в фантастике не существует. Можно говорить лишь о тех или иных приемах, в общем не разнящихся от приемов других видов литературы. Ошибочно противопоставлять фантастику реализму» (18, 75).

Утверждая способность научной фантастики к реалистическому видению мира, Ефремов опирается на теорию отражения:

«Теперь, когда мы начали яснее представлять себе устройство мозга, работу мысли и памяти, мы подошли к раскрытию процесса отражения мира в сознании человека, так гениально предугаданного основоположниками марксистской диалектической философии. Тем же закономерностям подлежит, конечно, и процесс «фантазирования». Поэтому если писатель в своих фантастических предвидениях в самом деле опережает науку, то он может это сделать, лишь исходя из каких-то определенных познаний. И чтобы не получилось повторных гениальных открытий, вроде вторичного открытия дифференциального исчисления одесским сапожником в начале нашего века, познания писателя должны быть на уровне переднего края современной науки. Иными словами, это достижимо тогда, когда сам писатель ученый.

Вот почему научная фантастика и фантастика вообще не может состязаться с наукой в объяснении и овладении законами природы и общества. В этом смысле можно говорить о примате науки над фантазией» (12, 474—475).

Наука необычайно разветвилась, и тем не менее планомерными исследованиями охвачена «лишь малая часть замеченных явлений, фактов, намеков природы... Привлечение внимания к этим или еще не использованным, или забытым возможностям — одна из наиболее серьезных задач научно-фантастической литературы. Только в таком смысле поиска в стороне от главных линий научных исследований можно понимать «опережение» науки фантастикой» (12, 474).

Ефремов рассматривает научную фантастику как историю, продолженную в будущее. Историк и аналитик по складу мышления, он прослеживает непрерывную цепь развития от глубочайшей

древности до наших дней и, опираясь на научные представления, перекидывает мосты в грядущие времена. Переход от фантастики к историческому жанру для него закономерен и естествен.

— Меня интересуют,— сказал он Д. Биленкину,— те моменты истории, когда проклевываются ростки чего-то нового. Глубоко убежден, что человек без чувства истории — это социальное перекати-поле (20).

— Да, я люблю историю,— заявил он в беседе с В. Бугровым.— Впрочем, я не разграничиваю так строго фантастику и исторические произведения: эти последние — та же научная фантастика, только обращенная в прошлое, диаметрально противоположная фантастике, оперирующей с будущим. Ведь у фантастики в литературе — два лика: ретроспективное воссоздание облика людей внутри известного исторического процесса и становление людей в неизвестном нам процессе. А если провести параллель с трехфазным током, то «нулевая фаза», без которой «ток не работает», — это литература о современности, едва ли не самая трудная отрасль литературы, ибо здесь сопрягаются обе задачи... (2, 51).

«В исторической фантастике мы воссоздаем образы людей по известной жизненной обстановке и фактическому ходу прошлого исторического процесса. В научной фантастике будущего мы совершаем обратное: помещаем известные нам психологические типы, их мышление, их представления о мире в придуманную среду жизни, моделируя исторический процесс будущего с его людьми и обществом» (16, 70).

Свою дилогию «Великая Дуга» и роман «Таис Афинская» Ефремов считает исторической фантастикой, подобно повестям Рони-старшего из жизни первобытных людей («Борьба за огонь», «Хищник-гигант») и другим книгам о незапамятном прошлом, хотя сам оперирует куда более известными данными.

Фантастика многофункциональна. В прежние годы она занималась популяризацией знаний и в этом смысле сыграла положительную роль. Успешно справлялась она и со своей прогностической функцией:

— Вспомним, к примеру, что она не только предрекла появление подводных лодок, самолетов, телевизоров (это, так сказать, ее далекое прошлое), но и активно помогает ученым, работающим над проблемами лазеров, квазаров, роботов... (7, 271).

В этой связи писатель не раз останавливался и на сбывшихся конкретных прогнозах в его собственном творчестве (см. предисловие «От автора» в кн.: Ефремов И. Соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1975).

Однако популяризация знаний и прогнозирование по частным проблемам утратили былое значение. Оценивать произведения фантастов с точки зрения сбывшихся предсказаний или соответствия

гипотез возможностям отдельных наук не только ошибочно, но и вредно.

«Проверка «точности» науки в научно-фантастических произведениях, порученная узким специалистам, принесет не пользу, а вред. Специалист сможет судить лишь по состоянию вопроса в своей узкой области, неизбежно ведущей в будущем к очередному тупику, и не в состоянии усмотреть того нового и положительного, что привносит научная фантастика из смежных областей знания. Вот почему, не будучи в силах вести за собой науку, научная фантастика в то же время не может быть отдана на расправу узким специалистам в науке и должна оказывать серьезное влияние на расширение кругозора ученых, а следовательно, и на развитие науки. Таково диалектическое решение вопроса о соотношении науки и фантазии» (12, 478).

Следует особо выделить принципиально важное положение:

— Кроме того (и на это, мне кажется, не обращали внимания), научная фантастика обладает еще одним качеством, с каждым годом становящимся все более важным. Необычайный взлет науки вскрыл чудовищную сложность мира, и наши методы собирания и хранения информации пасуют перед колоссальным количеством фактов, громоздящихся высокими стенами и загораживающих от нас широкое единство мира. Научная фантастика, обобщающая все разновидности знания и сводящая их в те или иные философские идеи, в недалеком будущем станет серьезной помощницей философии, естествознания, как некогда натурфилософия, вступившая в борьбу со всеми запутанными тонкостями религиозного обскурантизма. Эта сторона фантастики, служащая для ученых гиперболическим зеркалом, фокусирующим пути разных наук, и обуславливает ее неизменную привлекательность в глазах главного ее читательского контингента — ученых, техников, ищущей свою дорогу в жизни молодежи (13).

Стало быть, от частных вопросов фантастика поднимается к универсуму. Она стремится истолковывать мироздание, «отражает отблеск человечества от утилитарности мышления, возрождая на новом уровне идеи просветительства» (7, 270). В ней все явственней различимы черты натурфилософии.

— В чем преимущество «философии природы»? В широком подходе к понятиям сугубо специфическим, к проблемам чисто научным. В готовности ответить на любые вопросы, и общие и частные. В неоспоримом достоинстве смотреть на предмет исследования под широким углом зрения (7, 270).

Фантасты (из тех, что умеют мыслить на современном научном уровне) пытаются истолковывать мироздание «на равных правах с философией, социологией, футурологией» (7, 271).

— ...Фантастика должна отвечать обязательному требованию: быть умной. Быть умной, а не мотаться в поисках каких-то необыкновенных сюжетных поворотов, беспочвенных выдумок, сугубо формальных ухищрений — в общем всего того, что поэт метко охарактеризовал «химерами пустого баловства».

...Научная фантастика — это пена на поверхности моря науки. Предание гласит, что из пены морской и звездного света родилась Афродита, богиня любви и красоты. Фантастика должна стать Афродитой, но если свет звездного неба не достигнет ее, пена осядет на берег грязным пятном (7, 271).

Итак, говоря обобщенно, таков ее путь: «Научная фантастика несет ступень за ступенью эстафету науки от первичной популяризаторской функции, ныне отданной научно-художественной литературе, до уже гораздо более серьезной натурфилософской мысли, объединяющей разошедшиеся в современной специализации отрасли разных наук» (11, 6).

Это одна сторона проблемы — философско-мировоззренческая. Не менее важна и другая — социально-этическая.

Проследим ход рассуждений.

«Мнение, сложившееся на заре развития советской научной фантастики, что этот вид литературы служит популяризации научных знаний или пропаганде науки среди детей, неточно, потому что охватывает лишь ничтожную часть возможностей научной фантастики» (11).

«Если говорить не очень конкретно, то главное для меня: необъятность мира, отраженная в человеческом знании и раскрывающаяся все шире дальнейшими открытиями науки. Но не это одно. Не менее важно проследить, как все это отражается на человеке и в жизни общества. Найти аналогичные или даже тождественные в прошлых веках процессы и представления, экстраполируя их в будущее. Последнее мне, как историку земли и жизни в науке, наиболее интересно» (18, 76—77).

«Уже сейчас заметно известное приглушение читательского интереса к так называемой «технической» фантастике и, наоборот, значительное возрастание требований на фантастику социальную, отражающую становление нового человека в новом, хотя бы воображаемом обществе» (21, 3).

Ефремов предпочитает и сам создает произведения «комплексные», объединяющие обе линии — «натурфилософскую» и социально-этическую. За исходное он берет положения диалектического и исторического материализма. Гуманитарные науки, оплодотворяющие социальную фантастику, он рассматривает в системе знаний, не отделяя их от точных наук.

«Мы, люди социалистической страны, так привыкли заглядывать вперед, планировать, ссылаться на будущее и заботиться о нем, что подчас забываем, что будущего еще не существует. Оно будет построено из настоящего, но настоящего не механистически, а диалектически продолженного в будущее. Поэтому представления о какой-то строго определенной структуре будущего, которую обязательно должны видеть фантасты, являются чистой метафизикой, неуклюжей попыткой повторения библейских пророчеств. Только диалектическая экстраполяция реального опыта истории земли, жизни, космоса, человеческих обществ может претендовать на научное предвидение возможного будущего.

Очевидно, что научная фантастика не является и не может являться пророческим предвидением целостной картины грядущего. Писатель-фантаст в своих попытках увидеть будущий мир необходимо ограничивает себя, подчиняет свое произведение какой-то одной линии, идее, образу. Затем, подбирая из настоящего, из реальной окружающей его жизни явления, кажущиеся ему провозвестниками грядущего, он протягивает их в придуманный мир, развивая их по научным законам. Если произведение построено так, то фантастика научна. Если главное в ней — только научное открытие, тогда фантастика становится узкой, технической, неемкой. Если главное — человек, тогда произведение может стать сложным и глубоким. Излишне говорить, что изображение человека в будущем мире таит в себе громадные трудности. Черты грядущего должны быть многогранными, и само действие должно развиваться в ином плане, не свойственном настоящему времени. Только так возникают и достоверность, и перспективная глубина образов людей и облика грядущего мира. ...Миллиарды различных граней будущего, отраженные в сознании грядущих людей, еще не существующих, но создаваемых нашим воображением, — вот практически беспредельное поле для произведений научной фантастики» (14).

Социальную фантастику Ефремов подразделяет на два основных жанра — утопию и антиутопию, употребляя и термин «предупреждение», но не всегда отделяет его от антиутопии.

Позитивные и негативные построения коренятся в самой действительности.

«Творчество художника двойственно, как и отражаемый им мир. С одной стороны, художник непримиримо обнажает отрицательные явления жизни, неприятие и борьба с которыми составляют одну половину его творчества. Другая половина — это создание воображаемого мира, мира мечты, фантазии, научного расчета, в котором устранены недостатки той жизненной реальности, с которыми сталкивается писатель» (21, 5).

Социальный оптимизм советской фантастики не исключает критики нездоровых явлений. Но здесь необходима идейная четкость, верная расстановка акцентов, видение более далекой перспективы, исключающей неизбежную в наше время дисторсию — искажение пропорций мира как следствие изоляции от природы (1, 108). Типичный недостаток антиутопий Ефремов объяснял еще тем, что «негативный опыт человечества несравнимо сильнее, ярче и глубже позитивного. Иными словами, зло и злодеяние всегда доступнее для человеческого понимания ... именно в силу тысячелетиями накопленного своего рода inferнального опыта. ...Я назвал бы это темными струнами человеческой души, которые всегда легче затронуть, чем светлые струны» (1, 109).

От этого и предостерегает Ефремов советских писателей: «Множество научно-фантастических «предупреждений», иногда не совсем верно называемых антиутопиями (в данном случае было бы вернее обратное соотношение терминов.—Евг. Б.), появилось за последние двадцать лет в зарубежной литературе и оттуда повлияло и на советскую фантастику. Естественно, что люди, не подготовленные философски или малообразованные исторически, не владеющие диалектическим методом мышления, постоянно впадают в тупики, которыми так изобилует однолинейное формальное мышление. Однако литература страны, первой из всех идущей путем научного социализма, должна обладать более далеким видением будущего и верить в неизбежную преодолимость великих затруднений исторического развития» (22, 5).

Корыстолюбие, эгоизм, невоспитанность, недобросовестное отношение к труду, противопоставление личных интересов общественным, порабощение властью вещей, как показатель отсутствия духовной культуры,— эти и другие «реликтовые» явления Ефремов считает серьезными помехами на пути достижения социальной гармонии. Отсюда выдвигание на первый план этических факторов, в том числе и педагогической миссии научной фантастики.

— Для меня социально-экономические проблемы будущих десятилетий, столетий, даже тысячелетий неотъемлемы от психолого-этических проблем. Почему? Мир раздираем великим множеством великих и малых противоречий, решение которых не под силу человеку, некоммунистически воспитанному. Коммунистическое воспитание — вовсе не социальная надстройка, как мы думали раньше. Это производительная сила общества. Подобно тому как экран мгновенно увеличивает изображение в кинопроекторе, такое воспитание позволяет во много раз повысить производительные силы будущего общества. Каким образом? Прежде всего отсутствием многоступенчатой системы контроля. Ставя пределы, лимитируя предприимчивость и инициативу, мы неизменно убиваем в зародыше самостоя-

тельность мышления, как может быть, и полет фантазии. Самоконтроль, самоусовершенствование, самовоспитание снимут целый ряд заградительных барьеров (7, 297).

Некоторые экономические проблемы, занимающие столь заметное место в жизни миллионов людей, кажутся Ефремову лишь вопросом «экономических излишеств». И они отпадут сами собой, когда поднимется общий уровень культуры. Духовные блага будут цениться выше мелких материальных потребностей.

— Ежегодная эпидемия смены одежды, погоня за модными вещами как естественное следствие боязни показаться консервативным во вкусах, тысячи сортов вин, яств, напитков — весь этот современный антураж вовсе не обязательно захватывать с собой в поезд, следующий по маршруту «настоящее—будущее». ...Следовательно, дело не в том, чтобы насытить мир предметами роскоши, но в том, чтобы переводить потребности человека на все более и более высокую духовную ступень, чтобы он мог легко обойтись без модной побрякушки, без тряпья, без изысканных коктейлей, без менее изысканных горячительных напитков, но чтобы он задыхался от жажды воплотить в образы слова, звуки, краски. От жажды творчества (7, 258—259).

Направленность повести братьев Стругацких «Хищные вещи века» Ефремов оценил как продолжение борьбы с пережитками капитализма, с буржуазной идеологией, обладающей свойством «разлагать души людей, воспитывать отупелых потребителей, ищущих во всем широком мире только сытости и наслаждения» (21, 6). И хотя эта повесть, вызвавшая много споров, «недоработана в художественном отношении, ... в ней авторы фантастически заостряют вполне реальную и важную проблему мещанского преклонения перед изобилием вещей и удовольствий, погони за их приобретением, за ежечасно меняющейся модой. Все это уже сделалось бичом капиталистического общества на Западе, а оттуда эти веяния доходят и до нас. Несомненно, власть вещей станет серьезной проблемой в деле воспитания новых поколений. Следует отметить очень своевременное обращение писателей к этой теме» (14).

«Братьев А. и Б. Стругацких уже с первых шагов на пути в научной фантастике,— отмечает Ефремов,— отличали попытки обрисовать столкновение капиталистического и коммунистического сознания. Вначале это были конфликты между отдельными людьми в «Стране багровых туч» и в «Пути на Амальтею», затем все более уверенные и сложные образы борьбы за коммунизм будущего в «Стажерах» и «Возвращении». Произведения Стругацких характерны четким противопоставлением людей коммунистического общества черному миру неустroенных социальных форм на Земле или других, придуманных, планетах. С духовными основами капитализма —

мещанством, фашизмом, оголтелым индивидуализмом — герои произведений Стругацких сражаются непримиримо. Таково столкновение земных исследователей с миром феодально-религиозного фашизма в повести Стругацких «Трудно быть богом», которую я считаю лучшим произведением советской научной фантастики за последние годы» (14).

В интервью с корреспондентом АПН Ефремов выделяет несколько направлений в советской фантастике. Самого себя он считает «наиболее чистым представителем утопизма, последователем Уэллса»; Беляева и Казанцева — преимущественно политическими фантастами, сосредоточившими усилия на изображении борьбы социализма с капитализмом. В творчестве тех же Стругацких доминируют проблемы социального предупреждения.

— Сейчас появилось много фантастов более молодого поколения, которые ставят определенные научные проблемы и прослеживают их влияние на человеческое общество, судьбы людей. К ним относятся Емцев и Парнов, Войскунский и Лукодянов, Гансовский. Другие, как Альтов, Журавлева, Ларионова, Снегов, занимаются художественным изображением будущего в более лиричных, мягких тонах. Долгушин и Лагин из старшего поколения, Варшавский — из молодых (не столько по возрасту, сколько по литературному стажу. — Евг. Б.). Певцы необычайного, чудесного — Росоховатский, Шалимов, Гор, писатель не молодой, но вступивший на тропу фантастики сравнительно недавно. Интересные и красочные произведения о будущем, но с уклоном в детскую литературу, создает Мартынов (13).

«У нас очень мало женщин-писателей, посвятивших себя полностью научной фантастике и создавших достаточное для суждения количество произведений. Пример серьезного успеха лирических вещей Валентины Журавлевой показывает, насколько нужно это направление в научной фантастике, и не случайно Ольга Ларионова перекликается с этой хорошей писательницей» (11, 7).

Во многом опираясь на собственный опыт создателя «Туманности Андромеды», Ефремов не устает утверждать необходимость конструктивных произведений о будущем.

«Строителям нового общества нужны реальные, крепко обоснованные ступени к прекрасному, к добру и красоте человека, его мужеству и твердой вере в себя. Без веры в себя, без панорамы всей многогранной прелести мира нельзя быть убежденными борцами за коммунизм на всей планете, за счастье конкретных людей в земной действительности.

Все помыслы и стремления человека в этом направлении драгоценны. Сохраненные и собранные в фокус научной фантастикой, соотносящей прошлое с будущим, наглядно убеждающей в смысле

добра и бережного отношения к человеку, жизни, природе, выходящей помыслы и суждения в широкий, лишенный мелких страхов мир,—таковы подлинно советские гуманистические произведения, помогающие искать каждому свой путь в строительстве нового общества» (11, 6).

В предисловиях к переводам книг писателей-фантастов Запада Ефремов, выделяя все ценное и лучшее в произведениях А. Азимова, А. Кларка, Ф. Пола, С. М. Корнблата и других, убедительно объясняет, почему у них сужен социологический кругозор, почему их произведения о будущем «отмечены резко пессимистической нотой». При том что фантастические построения Азимова «основаны на логических выводах из научных положений, развитых и продолженных в будущее», он все же «не смог увидеть впереди ничего, кроме разных форм всевластия капитала, тесной и обедненной жизни человечества» (23, 5). В повести «Операция «Венера» («Торговцы космосом») Ф. Пола и С. М. Корнблата люди будущего — современные нам американцы. «Они лишь живут и действуют в фантастическом, придуманном окружении. Эта черта характерна для большинства американских произведений о будущем» (24, 8).

Одним из антиподов замышлявшейся «Туманности Андромеды», рассказывал писатель А. Бритикову, был роман Эдмунда Гамильтона «Звездные короли»:

— Мне нравилось мастерство сюжета: Гамильтон держит вас в напряжении от первой до последней страницы. Я видел незаурядный роман воображения, создающего грандиозные картины звездных миров. И вместе с тем меня поражало, у меня вызывало протест бессилие этого литературно одаренного фантаста вообразить мир иной, нежели тот, в котором он живет... (25, 232).

«Лучшие художники Запада,— заключает Ефремов,— отчетливо видят и отражают недостатки и трагедии окружающего их общества, но вторая, конструктивная половина творческого созидания закрыта для большинства из них, особенно в научной фантастике, вследствие непонимания марксистско-диалектических закономерностей общественного развития» (21, 5). Их общая беда — «отсутствие представлений о социальном прогрессе, о тех необходимых изменениях в структуре общества, при которых единственно возможны высокие взлеты цивилизации» (1, 109).

Важнее, нежели выбор темы, вопрос, «куда ведет изображение будущего, каков тот компас, которым руководствуется писатель в своем видении грядущего мира? Ведет ли он к новому миру коммунизма — миру высшего общественного сознания, морали, человеческих отношений или же к перестановке старых декораций, придающей фальшивый «облик грядущего» все тем же древним ужасам человечества — угнетению, эксплуатации, войне и злобной

жадности — всему тому, что насыщало и насыщает человеческую историю от диких времен до капитализма и фашизма наших дней? Мне думается, что для нас — это критерий первостепенной важности, так как именно образы борьбы за установление высшей формы социального устройства — коммунистического общества должны составлять ведущую линию советской научной фантастики. Параллельно этому наша фантастика должна вскрывать возможности столкновения коммунистического мира, его общественного сознания с отживающими, но злобными и вредоносными идеологиями индивидуализма, империализма, мелочным соперничеством в богатстве и обладании вещами» (14).

Социальный оптимизм Ефремова основан, как он сам говорит, прежде всего на глубокой вере, что «никакое другое общество, кроме коммунистического, не может объединить всю планету и сбалаansirовать человеческие отношения».

— Поэтому для меня вопрос стоит так: либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо вообще не будет никакого, а будет пыль и песок на мертвой планете. Это первое.

А второе заключается в том, что человек по своей природе не плох, как считают иные зарубежные фантасты, а хорош. За свою историю он уже преодолел в себе многие недостатки, научился подавлять эгоистические инстинкты и выработал в себе чувство взаимопомощи, коллективного труда и еще — великое чувство любви...

Вот это и дает мне право считать, что хорошего в человеке много, и при соответствующем социальном воспитании он очень легко приобретает ту дисциплину и ту преданность общему делу, ту заботу о товарище, о другом человеке, которая необходима для устройства коммунистического общества (4, 335).

Отсюда вытекает, что изображение совершенного общества — не абстрактная мечта, а развитие реальных тенденций, выращивание тех добротных зерен, которые уже заложены в почву действительности.

Отсюда и требование:

— Больше, чем критика недостатков, больше, чем высочайшая стилистика или абстрактное выражение тонких чувств, нам нужны сейчас книги, так сказать, «конструктивные». Выше всего я ценю писателей, ищущих и находящих новые грани закономерностей счастья, справедливости и гуманности, действенные способы преодоления трудностей на пути к созданию общества высшего типа — коммунистического (26).

Ефремов не только изображает людей гармонического мира будущего такими, как он их себе представляет, но и теоретически обосновывает свои представления. Преимущественно этим проблемам посвящена статья «Наклонный горизонт», снабженная смелым подзаголовком: «Заметки о будущем литературы».

Главная цель искусства — формирование внутреннего мира человека в гармоническом соответствии с его собственными потребностями и потребностями общества (27, 50). Этика неотделима от эстетики. Примат обучения перед воспитанием нарушает их диалектическое взаимодействие. Этику вбирает в себя педагогика, отводя эстетике малое место. Сказочные темпы развития науки и техники затмили роль искусства в современной жизни. «В более древние времена оно занимало гораздо большее место в обиходе человека. Я считаю это крупнейшим недостатком современности, который уже повлек и еще повлечет за собой серьезные последствия» (27, 49).

В творчестве самого Ефремова эстетическое одновременно и этическая категория. Высшее счастье его героев — «не в личных удовольствиях, а в том, чтобы помогать другим, в совершенствовании и развитии красоты» (А. Горловский). Эта концепция эстетического, как одного из главных стимулов совершенствования человека, неизменно прослеживается во всех его книгах.

«В воспитании человека, в отличие от обучения, особая роль принадлежит искусству (в капиталистических и более ранних обществах — религии). Искусство, развивающее этическую и моральную сторону общественного сознания у человека, важно во всех его видах. Разумеется, искусство должно быть реалистическим, то есть выражающим действительные процессы жизни и отражение подлинного мира в психике человека» (27, 50). Научная фантастика из этого ряда вовсе не исключается. Ее реализм обусловлен научной логикой экстраполяции, закономерностей и противоречивой сложности исторического прогресса.

— Литература еще живет старыми понятиями и конфликтами: столкновение нормального человека с ненормальными общественными условиями либо обратное соотношение (19, 204). «Отсутствием подлинно диалектического понимания роли искусства и литературы в социалистическом обществе был вызван известный спор о конфликте и бесконфликтности» (27, 51). Литература будущего должна показать нормального человека в нормальных общественных условиях» (19, 204) — то, чем сейчас занимается утопия. Напрасно полагают, что позитивные произведения о настоящем и будущем исключают конфликтность. Они исследуют конфликты высшего порядка, возникающие у человека, научившегося сочетать свои интересы с интересами государства, отученного от собственнических инстинктов, от индивидуалистического (не путать с индивидуальным!) стремления к возвышению себя и привыкшего помогать каждому человеку (27, 52).

Конфликты литературы будущего мне мыслятся в основном в области творческих поисков в труде и познании, личного совершен-

ствования и усилий на общественную пользу, но в нормальной, дружной и заботливой общественной обстановке, а не среди ничего не понимающих тупиц и дураков (или вредителей). Несомненно, что путь литературы к нормальной личности в обстановке общих стремлений и взаимопомощи, с конфликтами высшего порядка — необычайно труден и нов, но неизбежно должен стать главной линией искусства вообще в социалистическом обществе. Это будет подъем литературы социалистического реализма на качественно новую ступень» (27, 52).

Мы находим у Ефремова глубокие рассуждения о взаимоотношениях новых людей в новом обществе, о нравственно-психологических конфликтах высшего порядка, о непреодоленном «пуризме» и ханжестве в изображении интимной жизни и красоты человеческого тела; о новом отношении к женщине, основанном на понимании реальной психофизиологической разности полов, давно установленной наукой, о дружеских связях между мужчиной и женщиной, не обязательно предполагающих половую любовь; о мещанстве как самой большой опасности «реликтового» сознания; о воссоздании художественными средствами поэзии труда; о невежестве и неинтеллигентности, которые должны рассматриваться как нравственные изъяны и не обязательно связаны с образовательным цензом, и т. д.

«Наука и техника дали человеку могущество. Современный человек технически шагнул далеко вперед, а морально, с точки зрения общественного воспитания, он еще не поднялся до уровня новых требований. В век сложной технической цивилизации задача нравственного воспитания юных стоит острее, чем когда бы то ни было раньше» (6, 4).

Научная фантастика в силу ее привлекательности оказывает формирующее воздействие на сознание, как некогда старые приключенческие романы.

— Ей ни в коем случае не следует уклоняться от сложных вопросов и постановки больших перспективных проблем — и научных, и социальных, и философских, и моральных, и эстетических, и педагогических — всех тех проблем, которые волнуют человечество... (19, 207).

В своих размышлениях об обществе, литературе, искусстве, культуре будущего Ефремов уточняет и научно мотивирует многие положения, воплощенные в его художественных произведениях, — проблемы воспитания чувств, семьи и брака, медицины и prolongation жизни, нравственных категорий свободы, долга, добра, справедливости, обучения на широкой гуманитарной основе, переработки и хранения информации, передачи от поколения к поколению общечеловеческого культурного наследия.

Если каждая отдельная цивилизация имеет свой исторический срок, то ноосфера (духовная жизнь человечества) не знает предела накоплениям.

— Но вот вопрос: не исчерпает ли человечество когда-нибудь свой генофонд? Сама природа неустанно заботится о воспроизводстве полноценных видов. Каким образом? Двуполом размножением, причем с постоянным притоком свежих генов откуда-то извне. И можно не сомневаться: отдаленное скрещивание всех рас, всех народностей обеспечит землянам довольно долгое существование (7, 269).

Таким образом, представления о будущем органически включают в себя сознание всеобщности, сопричастности к огромной всепланетной семье, сцементированной интернациональными чувствами, равнозначными в понимании Ефремова гуманизму.

Писатель и теоретик, прокладывающий в литературе новые пути, он намечает множество еще незатронутых тем, социальных коллизий, психологических и нравственных конфликтов будущего.

— Поэзия познания и переделки природы открывает для искусства неограниченные возможности (19, 205).

— Великая педагогическая задача научной фантастики — показать неисчерпаемость научного поиска, научить людей его великой радости. Литература в этом смысле еще не сказала своего слова.. (19, 204).

— Кому бы не хотелось выражаться из пределов земного, солнечного, галактического тяготения? Кого не будоражат идеи иных, неземных форм существования? Примем за истину (как оно, очевидно, и есть), что мы сейчас стоим на краю бесконечности — бесконечности в смысле множественности миров, огромного количества явлений и, значит, беспредельности познания. Следовательно, у нас, у разумных существ, обживающих Землю, неисчерпаемая возможность для удовлетворения наших духовных потребностей. И если, реализуя эту возможность, мы станем адобавок ко всему пропускать слова, звуки и краски сквозь свое сердце, превращать «затертые акты бытия» в явления искусства, тогда и само искусство будет многогранным, бесконечным, как вселенная (7, 258—259).

Ныне научная фантастика — получивший признание вид литературы. По привычке, как это делают многие, Ефремов иногда называет ее жанром. Но на вопрос: «Считаете ли вы научную фантастику самостоятельным и полнокровным жанром?» — ответил вполне определенно:

— Продолжительные споры о том, жанр научная фантастика или не жанр, мне кажется, изжили сами себя. В наш век наблюдается весьма характерное стирание границ жанров, не только в литературе, но и вообще в искусстве. Я объясняю это усложнением наших

представлений о мире, развитием диалектического мышления, для которого необходимо всестороннее рассмотрение каждой вещи, каждого явления. В этих условиях становится все труднее разграничивать и вырывать из действительности, из процесса жанровые отбраковки этой действительности (16, 70).

Каково же будущее научной фантастики? Каковы ее перспективы? Впервые Ефремов об этом заговорил в статье «Наука и научная фантастика» («Природа», 1961, № 12) и затем до конца жизни развивал и оттачивал свои заветные мысли.

«Не популяризация, а социально-психологическая действенность науки в жизни и психике людей — вот сущность научной фантастики настоящего времени. По мере все большего распространения знаний и вторжения науки в жизнь общества все сильнее будет становиться их роль в любом виде литературы. Тогда научная фантастика действительно умрет, возродясь в едином потоке большой литературы как одна из ее разновидностей (даже не слишком четко отграничиваемая), но не как особый жанр» (12, 480).

Позднее он так аргументировал эту важную мысль: «При дальнейшем развитии научной фантастики она все более будет приближаться к так называемой «литературе главного потока», в отношении глубины психологического исследования и отражения человека. С другой стороны, литература главного потока все более будет уделять внимания науке и закономерностям социальных и производственных явлений общества, приближаясь к научной фантастике подобно сближающимся линиям. Конечный этап — слияние этих видов литературы, ибо фантазия — общее свойство всякой литературы и всякого художественного произведения вообще» (18, 75—76).

И напоследок существенное высказывание, взятое из статьи, опубликованной за год до кончины писателя:

«Громадный успех научной фантастики в нашем веке не может быть случайным. Развитие этого вида литературы несомненно отвечает потребности настоящего этапа исторического развития человечества со всесторонним внедрением науки в жизнь, в повседневный быт и психологию современных людей. Мне представляется неизбежным дальнейшее расширение научной фантастики и ее совершенствование до тех пор, пока она не захватит вообще всю литературу, которая встанет тогда на соответствующую мыслящему человеку научную основу психологии, морали и закономерностей исторического развития общества в целом» (11, 5).

Речь идет, конечно, не о монополии фантастики. Понимать это нужно в том смысле, что вся литература проникнется научным мышлением, диалектикой исторического развития, определяющей движение мысли от настоящего к будущему. В какой-то мере прогноз Ефремова уже сейчас подтверждается: лучшие произведения науч-

ной фантастики вливаются в «литературу главного потока», которая тем временем начинает проникаться современными научными идеями, выверять жизненную практику, становление характеров и взаимоотношения людей объективными критериями из арсенала накопленных знаний.

Именно на этом пути — великое будущее научной фантастики и смерть ее как особого «жанра». Но должно еще миновать не одно десятилетие, прежде чем она возродится в новом качестве и утратит свою обособленность.

«Подробное изучение путей нашей научной фантастики — дело специальных исследований, которые, я уверен, — писал Ефремов, — не замедлят появиться, когда поймут силу этого вида литературы и его значения, как инструмента идеологической борьбы» (21, 3) и, добавим, как действенного фактора воспитания нового человека, о чем он также не устал говорить.

В истории научной фантастики Ефремов — не только писатель-классик, но и теоретик-исследователь. Настоящая публикация дает возможность оценить его деятельность и в этой области творчества.

Список источников

1. Пространством и временем полный (интервью). Записал Ю. Моисеев. — Лит. обозрение, 1977, № 4.
2. Собирающий красоту (интервью). Записал В. Бугров. — Уральский следопыт, 1972, № 12.
3. И. Ефремов. На пути к роману «Туманность Андромеды». — Вопросы литературы, 1961, № 4.
4. Хорошего в человеке много (интервью). Записал В. Гиткович. — В кн.: Фантастика-77. М., 1977.
5. М. Васильев. Штурман звездных морей. — В мире книг, 1972, № 7.
6. И. Ефремов. Дети — это мы за порогом будущего. — Детская литература, 1966, № 2.
7. Великое Кольцо будущего (интервью). Записал Ю. Медвед. — В кн.: Фантастика-69—70. М., 1970.
8. Пространством и временем полный (интервью). Записал Ю. Моисеев. — Юный техник, 1968, № 12.
9. И. Ефремов. Послесловие. — В кн.: А. Меркулов. За колым дождем. Повесть о тех, кто уходит в небо. М., 1968.
10. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: А. Казанцев. Пылающий остров. М., 1966.
11. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: О. Ларионова. Остров мужества. Л., 1971.
12. И. Ефремов. Наука и научная фантастика. — В кн.: Фантастика, 1962 год. М., 1962.

13. Вас увлекает гиперболизм фантастики? Интервью с автором «Туманности Андромеды». — Смена (Ленинград), 1968, 12 мая.
14. И. Ефремов. Миллиарды граней будущего. — Комс. правда, 1966, 28 января.
15. И. Ефремов. Сражение за будущее. — Лит. Россия, 1966, 4 февраля.
16. И. Ефремов. Ответы на вопросы редакции (анкета «Сибири»). — Сибирь (Иркутск), 1972, № 2.
17. И. Ефремов. О мечте далекой и близкой. — Техника — молодежи, 1961, № 10.
18. Писатели о фантастике. — В кн.: Б. Ляпунов. В мире мечты. Обзор научно-фантастической литературы. М., 1970.
19. Жизнь ученого и писателя (интервью). Записал Е. Брандис. — Вопросы литературы, 1978, № 2.
20. Д. Биленкин. Магия героя. — Лит. газета, 1967, 28 января.
21. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хищные вещи века. М., 1965.
22. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: А. Р. Палей. В простор планетный. М., 1968.
23. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: А. Азимов. Я, робот. М., 1964.
24. И. Ефремов. Предисловие. — В кн.: Ф. Пол, С. М. Корнблат. Операция «Венера». М., 1965.
25. А. Ф. Бритиков. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970.
26. Наследник Уэллса (интервью). Записал А. Лесс. — Московский комсомолец, 1968, 16 августа.
27. И. Ефремов. Наклонный горизонт (заметки о будущем литературы). — Вопросы литературы, 1962, № 8.

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

Галактическое кольцо

Озаренные невероятным небом Гималаев дикие горы и тень старца благословляющего — на дикой скале. «Тень Учителя» назвал свое полотно Николай Рерих.

Как многолика Индия! Страна «Махабхараты» и «Рамаяны», Упанишад и Вед, страна атомной энергии и спутника «Ариабата». Этот спутник, созданный руками индийских ученых, был назван в честь древнего математика и мудреца. Но на околоземную орбиту его вывела советская ракета, запущенная с космодрома, расположенного на нашей земле. Знаменательное совпадение и отнюдь не случайное! Вспомним хотя бы «Русь—Индия» Рериха:

«Если поискать да прислушаться непредубежденно, то многое значительное выступает из пыли и мглы. Нужно, неотложно нужно

исследовать эти связи. Ведь не об этнографии, не о филологии думается, но о чем-то глубочайшем и многозначительном. В языке русском столько санскритских корней... Пора русским ученым заглянуть в эти глубины и дать ответ на пытливые вопросы. Трогательно наблюдать интерес Индии ко всему русскому... Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские».

Читая эти строки, я думаю об индийском гении, который устремился в космическую дверь, распахнутую мощью и дружбой нашей страны. Не это ли смутно грезилось мудрецу и художнику среди вечных гималайских снегов?

И еще я вспоминаю моего учителя, завершившего великое творение — «Туманность Андромеды» в знаменательный год, с которого начался отсчет космической эры.

Однажды Иван Антонович Ефремов — это было уже незадолго до его смерти — подарил мне зеленый от древней патины обломок буддийской статуи. Изящная бронзовая рука, пальцы которой соединялись в фигуру, известную как «колесо учения». Он нашел руку неведомого бодхисаттвы в Гобийской пустыне у подножия холма, среди раскаленного бурого щебня. По этому щебню, вздымая клубы удушливой пыли, проносились когда-то крепкие низкорослые кони монгольских завоевателей, тянулись купеческие караваны с шелком, этот холм, возможно, видел нукеров Железного Хромца — Тимура. Но тонкие бронзовые пальцы с удлиненными изысканными ногтями так и не разомкнули свое символическое кольцо — чакру, колесо причин и следствий.

— В такой вот круг замыкаются наука и искусство, — сказал Ефремов.

Ему было свойственно глубочайшее проникновение в суть вещей, ясное осознание удивительной взаимосвязи всех проявлений стихийных сил и целенаправленных движений человеческой истории. Он мыслил точными законами науки и постигал сущность вещей интуитивным методом искусства. Столь цельное восприятие действительности доступно очень немногим.

Рерих навеки запечатлел в своих «мыслеобразах» космическое единство мира, проявляющее себя в прекрасном. Ефремов во многом похож именно на Рериха. Он был художником и ученым, бескорыстным мудрецом, по-детски влюбленным в жизнь, природу и во всех прекрасных женщин, которые только существовали на нашей земле. Он знал древнюю историю так, как не может знать ее узкий специалист, даже самый эрудированный, самый талантливый. Для Ефремова история никогда не была тем, чем она, собственно, и является — прошлым. Недаром в его книгах все еще продолжали жить люди, создавшие бессмертные храмы Элоры, Акрополь, пирамиды

в Гизе и на Юкатане. Более того, он населил свою, ефремовскую, Ойкумену саблезубыми тиграми, которые вымерли за многие тысячи лет до путешествия Баурджеда, и рассыпал в пустынях драгоценные пряжки, сработанные искусными мастерами Атлантиды, которой, возможно, никогда не было.

Для Ефремова выдумка не являлась самоцелью, а лишь гипотезой, восполняющей недостающее звено, допущением, способным привести в систему сумятицу противоречивых фактов, чтобы идти вперед, а не топтаться бесплодно на одном месте.

У него были три большие любви: языческая Русь, прекрасная Эллада и таинственная Древняя Индия. Всю свою жизнь он интуитивно стремился объединить неведомые истоки великих этих культур. Лемурия или Атлантида были для него лишь временными мостами через туманные пропасти, где стынет холодный дым тысячелетий. Но жажда увидеть была так велика, но стремление схватить и навсегда сохранить неуловимый и прекрасный облик так властно, что писатель даже в далеком космическом будущем различал отголоски игрищ с быком, Элевсинских мистерий, Геркулесовых испытаний. Он рвался к истокам, где рождаются люди и боги, ремесла и свободные искусства. Он часто употреблял слово «мастер» в древнем значении этого слова. И здесь вновь проявлялось присущее ему единство видения.

Все было для него одинаково важным — красота человеческого тела и блеск самоцветов, зеркальная упругость древних мечей и звон глиняного глазурованного горшка, пластика танца и тайный язык пальцев в древнеиндийском хатакали, монгольская Гоби и сверкающие ландшафты дальних миров. Такая же высокая жажда необъятного, такой же целеустремленный полет к невозможному были характерны для Рериха. Великий русский художник тоже уходил вглубь, чтобы лицезреть «Рождение мистерий», и поднимался в заоблачные дали, чтобы видеть, как золотые рыбы светил плывут сквозь туманности шлейфа «Матери мира», проникал в изначальную общность изукрашенных рунами ледниковых глыб Карелии и гималайских скал, на которых между золотистыми пятнами лишайника высечены знаки Гэсэра, героя грандиозного эпоса Азии.

На картине «Знаки Гэсэра» Рерих изобразил круторогих баранов, каких рисовали на стенах пещер первобытные люди, и меч героя, почитаемого как бог войны.

«Не карай нас карою строгой,
Ты нам кости и жилы оставь,
Наши злые души не трогай!»
И в пыли, у Гэсэровых ног,
Распростерлись они, как мох.

«Гэсэра»

Подвигом Гэсэра равно восхищались и Рерих и Ефремов. Рериху дано было свершить великий синтез, олицетворение в законченном храме того смутного лепета, который слышится ныне в разноязыких словах, проблескивает в старинных орнаментах, мерещится в очертаниях древней архитектуры. Для Рериха не были загадкой «совпадения» слов в индоевропейских языках и санскрите. За древним названием «веды» вставало славянское «ведун», русское слово ведение — знание. И знание это потом продиктовало Ефремову гордое имя Веды Конг — прекрасной жительницы Земли третьего тысячелетия новой эры. Архаичное и вечно новое имя. Почешски, кстати, академия наук называется академией вед. Для Рериха «путь из варяг в греки» был не столько историко-географическим понятием, сколько обобщенным свидетельством единства и взаимопроникновения культур. История не оставила нам столь же ясных следов существования встречной дороги «из арьев в славяне», но Рерих умел различать горящие в ночи вехи ее. Санскритское «набхаса» и русское «небеса», ведическое имя бога огня Агни и наше «огонь» — это не случайные совпадения, это плывут по реке времени светлы в кокосовых скорлупках («Огни на Ганге» Рериха). И даже имя Дар Ветер — другого героя «Туманности Андромеды» — потомка россиян закономерно влетает в огненный этот узор, ибо на санскрите слово «ветер» звучит как «аватар».

Не случайно стремился Ефремов даже в далеком будущем проследить блистательные вехи единой праосновы великих культур Земли. Поэтому и отправляет гордое и свободное человечество в первую внегалактическую экспедицию звездолет под названием «Тантра», ибо тантра — это тайная мудрость ведическая, которую, по преданию, принес на землю сам всемогущий Шива — владыка танца, движущее начало Вселенной.

Так замыкается колесо знания.

Или только кольцо памяти?

Конечно, книги Ефремова можно читать и любить, даже не подозревая о присущей им многозначной символике. Обширная эрудиция и писательское мастерство автора сделали бы их столь же популярными и без потаенной символической глубины. Миллионные тиражи переведенной на десятки языков «Туманности Андромеды» явно свидетельствуют о том, что успех романа меньше всего обусловлен императивными соответствиями типа «Тантра» — тантризм. Но для проникновения, как говорят, в «творческую лабораторию» писателя они необыкновенно важны и совершенно необходимы для характеристики его личности. Доктор биологических наук, профессор палеонтологии И. А. Ефремов отличался не только глубокими знаниями многих современных наук, но пристально интересовался

мудростью древних, в том числе и такими тупиковыми ветвями «веденья», как алхимия или астрология. И это было обоснованно и закономерно. Без полного знания прошлого во всей противоречивой его сложности и будущее останется тайной за семью печатями. Ефремов одинаково свободно ориентировался в древних системах хинаяны и махаяны, пифагорейских и гностических учениях, знал пять ступеней йоги, интересовался несторианством и манихейством, изучал обычаи народов Средней Азии, был знатоком парусного искусства и самозабвенно любил камни. Трудно даже перечислить все то, чем он увлекался, что предметно-осязуемо знал. И знание это никогда не было академически сухим, книжным. Его одухотворяло сердце большого доброго человека, который прожил разнообразную и яркую жизнь.

Штурманом он ходил в каботажные плавания вдоль берегов Дальнего Востока, палеонтологом вел раскопки в Карелии, в Архангельской и Вологодской областях. И все это на заре жизни, в восемнадцать—двадцать лет. Потом, став известным ученым, удостоенным высших квалификаций за одни лишь научные труды, без защиты диссертаций, Ефремов объездил чуть ли не всю Азию. Не как турист, разумеется, а как главный участник больших геологических и палеонтологических экспедиций. Он работал в Заполярье и Сибири, прошел от Урала до Якутии, пересек великие пески Кызыл и Кара Центральной и Средней Азии, побывал в Китае и Монголии. О монгольской своей экспедиции, в результате которой в пустыне Гоби было найдено знаменитое ныне кладбище динозавров, он написал захватывающе интересную, романтическую книгу «Дорога ветров». Ни перед чем он не остался в долгу. Алтайские «беяки» и «гольцы», хмурое северное небо и дремучие сибирские «урманы», сопки и лады Приморья, пески и черный, покрытый загаром пустыни щебень Средней Азии, суровая тоска закатов в шхерах Карелии и неповторимая красно-синяя гамма монгольской пустыни — все это так или иначе воплотилось в его удивительных рассказах о людях «бродячих» профессий: палеонтологах, геологах, археологах, летчиках и моряках.

Стоит только взять с полки книгу, и мы увидим все это глазами Ефремова, нам будет дано на мгновение почувствовать природу так, как воспринимал ее он. Мы поплывем на пароходе «Коминтерн» в пять тысяч регистровых тонн через Цугарский пролив из Петропавловска в Хакодате («Встреча над Тускаророй»), срывая пену с атлантической волны, понесемся на чайном клипере («Катти Сарк»), вместе с героическим «Котласом» погрузимся в холодные, серые, как свежеразрезанный лист свинца, воды Северного моря («Последний Марсель»). Мы поскачем по пустыням на лошадях, понесемся на вездеходах, затрусим на ослах или верблюдах. Вместе с «синими

людьми» — туарегами — устремимся к затерянным в сердце Сахары оазисам, над которыми дрожит в сухом и горячем воздухе странный мираж («Афанеор, дочь Ахархеллена»). Шестиосные «ЗИЛы» повезут нас мимо заросших иляком каракумских барханов, мимо звонких такыров, сверкающих на солнце кристаллами соли и гипса, к черной долине, заваленной костями некогда живших на земле исполинов («Тень Минувшего»). В полдневный жар, увязая по ступице в песке, потащимся мы на колхозной подводе по наезженной пыльной дороге, вдоль которой растет стальной голубоватый мордовник, чтобы увидеть в звездной кристалльной ночи «Свет Пустыни» — древнюю каменную обсерваторию «Нур-и-Дешт». И всегда впереди нас ждет Приключение. Чудо, которое таинственно возникает из обыденности, а не сваливается с неба. И тем сильнее и глубже будет наше удивление, чем привычнее окажутся жизненные реалии, чья внутренняя сущность предстанет вдруг сложной и противоречивой. Порой двойная эта сущность привычного поражает, как удар молнии, напоминая о том, что человек — лишь частичка необъятной природы, чью грозную суть никому не дано исчерпать до конца. Мы пройдем по темным галереям и штрехам забытых выработок («Путями Старых Горняков»), вдохнем пряный больной аромат горящего спиртовым жарким пламенем багульника под незаходящим полуночным солнцем якутской тундры («Алмазная Труба»), увидим туманные фантомы над каменной чашей Дены-Дерь («Озеро Горных Духов»).

В закопченных пещерах в долине, окаймленной кедрами сибирской реки Чары, нас ждут нарисованные углем и охрой фрески («Голец Подлунный»), алмазный глетчер недоступного Ак-Мюнгүза бережет для нас богатырский сказочный меч («Белый Рог»), и мы бредем среди пыльного чия по зеленой и горькой от полынного ветра степи, замороженные сверканьем льда, отуманенные светлой грустью легенды. Это для нас цветет во флоридской лагуне дерево жизни и змеятся многоцветные сверкающие блики, обещаая победу и радость, но медля с разгадкой («Бухта Радужных Струй»).

Мы закрываем последнюю страницу, и тайна улетает, как тот приводнившийся в таинственной бухте самолет, как «альбатрос», который покинул ее навсегда и «вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы».

Удостоенных судьбой! Как это верно и гордо сказано! Не о том ли писал поэт:

Блажен, кто посвятил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Прекрасное у Ефремова неотделимо от трагического. В этом диалектическом единстве — оно было характерно для мироощущения Гегеля — основа мудрого оптимизма, мужественной уверенности в конечном торжестве человеческого познания.

В страшных фиолетовых песках Джунгарской Гоби погибли те, кого судьба — вновь это слово — удостоила встречи с неведомым. Писатель находит единственно верные строки для финала, простые и мужественные: «Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить». Стоит обратить внимание на это: посчастливится! По Ефремову, встреча с неведомым — счастье для исследователя, даже если платить за го придется жизнью. Здесь нечто большее, чем просто вера во всемогущество науки. Это непоколебимое знание высокого и главного предназначения человека — познавать новое. Именно жажда познания влечет ефремовских героев в тайгу, пустыни, горы, моря, космические дали. Лик неизвестного может быть страшным. Как олгой-хорхой в монгольской пустыне. Как коричневые медузы на Планете Мрака («Туманность Андромеды»). И потому ефремовские геологи и космонавты уходят в поиск, как на бой. Разве не величие человеческого духа воспел Ефремов в «Юрте Ворона»? Не суровое упоение боем?

Единоборство с неведомым требует от человека не меньшего мужества, чем схватка с врагом. Разве не навстречу смерти ползет, напрягая последние силы, разбитый параличом геолог Александров по залитому водой плато Хюндустыйн Эг в раздираемой молниями ночи? Разве ядовитые испарения озера Горных Духов или обледенелые пропасти Белого Рога менее опасны, чем пулеметный огонь или штормовое холодное море, по которому рыщет неприятельский рейдер? Целое, как известно, неотрывно от единичного. Этому учит нас философия и простой жизненный опыт. Победа горстки моряков с «Котласа» — это крохотный вклад в грядущую большую победу над врагом, и потому в конечном счете от нее зависит успех всей войны.

Ефремовские геологи — не одинокочки. Они вступают в смертельное единоборство со слепыми силами природы, имея за спиной всю страну, которая остро нуждается и в новых месторождениях цветных металлов, и в ртутных озерах, и в трубках взрыва, хранящих алмазы. И тем весомее, тем символически обобщеннее предстает перед нами победа, добытая почти на грани смерти. Масштабы открытия при этом особого значения не имеют. Тайна эллинского секрета и свинцовые руды Хюндустыйн Эг, якутские алмазы и воскрешение картин далекого прошлого, золотой меч и светящиеся краски Нур-и-Дешт — все эти в принципе далеко не равнозначные вещи как бы уравниваются между собой величием человеческого подвига,

тяжестью усилий, беззаветностью творческого порыва. И потому даже гениальные провидения автора: якутские алмазы или принцип объемного видения, заложенный в современную голографию, мы воспринимаем лишь как щедрое добавление, которое принесло время. Сами по себе они лежат вне художественной ткани и лишь добавляют несколько новых мазков к портрету Ефремова — мыслителя и ученого, портрету, который еще только предстоит написать.

Лишь подход к научной фантастике как к уникальному явлению современной культуры позволяет понять, почему она оказалась столь притягательной для ученых вообще и для Ефремова в особенности. Спрашивается: чем могла она увлечь тех, кто трудится на переднем крае науки, или, как сейчас говорят, «на краю не постижимого»? Чего они ждут от нее? Очевидно, в первую очередь того, чего всегда ожидают от художественной литературы. Поэтому те черты, которые снискали ей успех у подростков и студенчества, могли оказаться привлекательными и для зрелых ученых. А ведь у ученых, как и у представителей других отраслей человеческой деятельности, есть свои особые требования.

Однако прежде чем говорить об этом, обратимся к одной общей черте в биографиях некоторых фантастов. Физик-ядерник Л. Сциллард, профессор биохимии А. Азимов, астрофизик Ф. Хойл, антрополог Ч. Оливер, астроном и крупный популяризатор науки А. Кларк, философ и врач С. Лем, сподвижник Эйнштейна польский академик Л. Инфельд, создатель кибернетики Н. Винер — вот достаточно убедительный перечень известных ученых и авторов научно-фантастических произведений.

Такая же картина наблюдается и в советской литературе. Академик В. Обручев был первым советским ученым, обратившимся к научной фантастике. Ныне успешно сочетают научную деятельность с литературной работой многие хорошо известные у нас и за рубежом фантасты-ученые.

Можно, конечно, спорить, насколько случаен или, напротив, закономерен такой синтез науки и искусства. Думается все же, что он не случаен. По крайней мере он точно отражает одну из главных особенностей современной науки: соединение отдельных, часто очень далеких друг от друга ветвей.

Иероглифы на базальтовой стене Абу-Симбела говорят: «Когда человек узнает, что движет звездами, Сфинкс засмеется и жизнь на земле иссякнет». Мы не знаем еще, что движет звездами. Может быть, никогда не узнаем. Может быть, узнаем завтра. Важен не столько смысл изречения, сколько удивительная научная поэзия. Или, может быть, удивительная опозитированная наука? Нашему

веку недоступно такое целостное восприятие мира. Наука давно уже разделилась на науки естественные и науки гуманитарные. Пропасть между ними растет день ото дня. У каждой не только свой особенный язык или специфика эволюции, но и свои эстетические каноны. Неудержимо растущее и непостижимо ветвящееся древо науки вырастило наконец собственные эстетические плоды, странные и ни на что не похожие. «Красивое уравнение», «изящный вывод», «ювелирный эксперимент». Слова, слова, слова! Здесь иное изящество, иная красота. Просто люди естествознания еще по привычке употребляют эстетические термины гуманитариев. Это всего лишь атавизм. Придет время — появятся и новые слова. Но попытаемся оглянуться назад, в туманную тьму, когда зарождавшаяся культура была настолько слаба и наивна, что существовала в некоем единении. Без всякого намека на дифференциацию — тысячеголовую гидру двадцатого века. Но вот беда, даже просто оглянуться назад мы не можем без точной науки. Древние манускрипты расшифровывают теперь кибернетики, физики и химики подвергают археологические находки спектральным и радиоуглеродным анализам. Даже в поэтике появились подозрительные естественнонаучные метастазы. Самые привычные и обыденные вещи обрели вдруг неких количественных двойников. У вещей обнаружились структуры. Вещи стали телами (для физиков), веществами (для химиков), моделями (для математиков).

Революционные идеи естествознания с их радикальной ломкой привычных представлений о времени и пространстве, строении вещества и сущности жизни не могли не затронуть сознания даже абсолютно далеких от науки людей. Наука вторгается во внутренний мир не только прямо, связывая, допустим, силу эмоций с величиной информации, но и опосредованно. В том числе и через искусство. Наука и искусство — могучие реки человеческого познания. Цели у них общие. Пути, как принято говорить, но это отнюдь не самоочевидно, различные.

Где-то на заре цивилизации эти реки были слиты в единый поток. Когда же они разделились? И почему мы, во второй половине двадцатого века, вдруг вновь начинаем искать объединяющие их черты? Случайность это или закономерность? Возвращение по эволюционной спирали к «якобы старому» качеству или бесплодные поиски эфемерных закономерностей и связей? Может быть, научная фантастика и есть тот проток, который соединит оба русла? Для Ефремова это было именно так. Колесо учения неразрывно, и мы не найдем место «стыка», где гуманитарное знание перетекает в естественное. Слишком много оборотов сделало колесо с той далекой поры, когда наука, по выражению профессора Генриха Волкова, находилась в колыбели. Не удивительно, что Ефремов пристально

интересовался прошлым, истоками мистерий и мудрости, наук и заблуждений.

Ранние Упанишады, «Рамаяна», «Бхагавад-Гита» Древней Индии объединяют космогонию и теологию, моралистику и оккультные пророчества, оставаясь поэмами в самом высоком смысле этого слова. Гексаметры Парменида и Эмпедокла и оды Манилия и Пруденция выливаются в итоге в законченную и изощренную поэму «О природе вещей» Лукреция, которая долгие столетия была самым полным сводом знаний по античной атомистике. По крайней мере в этом она близка насыщенному познавательным материалом творчеству Ефремова.

Но в древних памятниках трудно порой отличить естественнонаучные представления от мистики, философию от поэзии, космологию от мифологии. Древневавилонский эпос, древнееврейская книга «Зогар», индийская «Махабхарата» не просто путанно и темно отражали мир, они отражали его синкретически. Они рисуют нам метод познания, в котором научное мышление неотделимо от художественного. В учебниках географии показано, как Земля покоится на трех китах, плавающих в океане, или на трех слонах, стоящих на черепахе. Но это не значит, что древние именно так рисовали себе картину мира. Нам трудно судить об истинных их воззрениях, поскольку они зачастую представлены чисто символически. Нельзя прямо отождествлять миф с философией, но нельзя и совершенно отделить мифологию от первых наивных представлений человечества об окружающей действительности. Вот почему жизнеописания Рамы и Кришны, Мадрука и Озириса, Сатурна и Хроноса безусловно содержат затемненные и символически преобразованные представления о пространстве, времени и тех главных элементах, которые лежат в основе всего сущего. Древние не знали физики в нашем понимании этого слова. Но они создали зародыши описательной науки, которую можно назвать «фантастической физикой». И понять в принципе ее мог каждый, поскольку говорила она на общедоступном языке.

Недаром писатели, посвятившие свое творчество естествознанию, так любят цитировать древние поэмы и мифы. Роберт Юнг, в частности, предпослал своей книге об атомной бомбе «Ярче тысячи солнц» эпиграф из «Бхагавад-Гиты»:

Мощью безмерной и грозной
Небо над миром блистало б,
Если бы тысяча солнц
Разом на нем засверкала.

Нелепо, однако, было бы в этом поэтическом отрывке усматривать отголоски когда-то случившегося атомного взрыва. Взрыв был в Хиросиме много веков спустя.

Медленно, тернистым путем горьких разочарований, ошибок, неожиданных взлетов и падений шел человек к познанию. Это был упорный, не знающий отдыха путь к неведомым целям, который часто приводил к пропасти или терялся в темных лабиринтах. В начале этого пути люди зачастую пытались проникнуть в неведомое с помощью молитв и заклинаний. И лишь потом, когда были заложены основы цивилизации, появились ростки того могучего древа, которое мы зовем современной наукой. Но диалектика — великая вещь, современная наука все больше походит на колдовство! В храмах ее орудует каста жрецов, выработавшая для своих мистерий особый, никому не понятный язык.

Все современные науки развились в конечном счете из философских раздумий и технологии. Можно спорить до бесконечности о примате того или иного вклада, это не опровергнет банальную истину: истоком любой научной отрасли и всей науки в целом является язык простых смертных, одинаково понятный нищим и королям. И вот теперь, на наших глазах язык современных магов естествознания все дальше отходит от своей питательной среды. Причем он не погибает, как Антей без Земли, а, напротив, властно вторгается в общедоступный язык. Засоряет и обедняет его, по мнению одних, обогащает и возвышает — с точки зрения других. Но это, как говорится, только цветочки. Может быть, самое грозное явление века заключается в том, что интеллектуальный мир ученого-естественника все сильнее обособляется от мира людей, говорящих на обычном языке. Так не является ли научная фантастика и мостом между интеллектуальными мирами?

Дифференциация науки на все большее число отраслей, а следовательно, и дробление «языка науки» на все большее количество ее «диалектов», даже ученых отделяет друг от друга, затрудняет, а порой и делает невозможным их профессиональное общение. Право, библейская легенда о Вавилонской башне наполняется грустным смыслом. И если мы хотим продолжать возводить все новые и новые этажи башни познания, нам надо серьезно задуматься об угрозе «смещения» языков. И быстро что-то решать, радикально менять привычные взгляды и устоявшиеся взаимоотношения.

Непосвященным людям, как справедливо заметил Ричи Колдер, наука представляется в виде какой-то сокровищницы за семью печатями, доступной лишь избранным, где хранятся сундуки с драгоценностями, именуемые «физика», «химия», «биология», «геология», «астрономия» и др. Каждый сундук заперт на замок с секретом, открыть который может только тот, кто посвящен в тайну его механизма. А в сундуках — множество ящиков и ящичков с надписями: «адерная физика», «кристаллография», «твердое тело», «коллоидная

химия», «органическая химия», «генетика», «биофизика», «биохимия» и так до бесконечности.

Но это, так сказать, статичная картина. В динамике дело выглядит еще интереснее. Дифференциация науки порождает все большее число все меньших по размеру отдельных ящичков. Как бы в итоге не осталась у нас одна тара. А популяризировать науку становится все труднее. Некоторые статьи в таких журналах, как, скажем, «Химия и жизнь», все меньше напоминают популярные. Они напичканы графиками, формулами и даже математическими выкладками. На сегодняшний день они годятся лишь для ученых, которые хотят знать о достижениях коллег из смежных отраслей. Завтра и им они станут непонятны.

Языки науки чужды для неспециалистов. Влияние татарского ига на русский язык было весьма ощутимым, но современная наука за несколько десятилетий побила рекорды трех сотен лет ига. Достаточно посидеть несколько часов на симпозиуме по проблемам плазмы, элементарных частиц, многомерных пространств или фазовых равновесий в растворах, чтобы убедиться в непонимании родной речи.

Но разве фантастика не сумела органично встроить в себя научные диалекты? Это уже не обеднение литературного языка, а обогащение его! Нет и, вероятно, не может быть «словаря», с помощью которого можно было бы «перевести» науку на обычный язык. Нужен не словарь, а целый комплекс методов, которых пока нет. Современная система популяризации великолепна и в то же время беспомощна, поскольку порождает порой и дилетантизм. Внимательно прочтя хорошую популярную книжку по физике, читатель получает обманчивое ощущение, что он более или менее все знает, что он «на уровне». А вместе с тем он не приблизился к пониманию современной физики ни на шаг. И этого не надо скрывать, это, напротив, надо подчеркивать.

Как-то на севере Канады геологи привлекли одно индейское племя к поискам урановой руды. Когда индейцев спросили, как они представляют себе цель таких поисков, вождь невозмутимо ответил: «Искотчкотунт каочильик», что значит «молния, выходящая из скалы».

Это прекрасная иллюстрация и огромной пользы и весьма ограниченных возможностей нынешней системы популяризации.

Научная популяризация внесла колоссальный вклад в развенчание богов небесных и в создание богов земных. Наука стала ее богом, а ученые — пророком, деяния которого можно описать, но нельзя объяснить.

И только современная научная фантастика, даже не пытаясь объяснить науку, смело звала нас в лабораторию ученого, приобщила к миру его идей.

Мы уже пережили тот период, когда велись серьезные дискуссии на тему «Нужен ли инженеру Бетховен» и неистовые рыцари ломали полемические копья на ристалищах физики и лирики. Многим чуть поседевшим ветеранам таких битв уже немного смешно вспоминать их. Профессия космонавта тоже стала привычной. Мы привыкли видеть этих бесстрашных героев из плоти и крови и на небесах и в космосе. Поэтому и стыдно спорить нам теперь, возьмет или не возьмет с собой космонавт «ветку сирени».

Но не настал еще день, когда мы с неловкой усмешкой вспомним дискуссии и другого рода: «Можно ли быть сегодня культурным человеком, не зная науки».

Вот в какое время появилась современная научная фантастика — литература о науке, многое у науки заимствующая, но написанная на понятном для всех языке. И появление ее закономерно.

Наука безразлична к проблемам морали, тогда как ученый — сознательный член общества — не может и не должен быть безразличным. Нельзя языком математики, физики, биологии, химии излагать моральные аспекты тех или иных открытий. Фантастика дает такую возможность. И язык у нее, о какой бы науке ни шла речь, единый — общедоступный. В этом, мне кажется, основная притягательная сила фантастики для ученых.

«Если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, — писал Чарлз Дарвин, — я установил бы для себя за правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю; быть может, путем такого постоянного упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов... может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».

Великий эволюционист понимал, насколько важно искусство для научного творчества. Природа едина, но математика далеко не единственный ее язык. Как правило, наиболее блистательные открытия приносят нам аналогия, перебросившая свой невидимый мост между самыми отдаленными областями человеческой жизни.

Академик А. Е. Арбузов часто говорил: «Не могу представить себе химика, не знакомого с высотами поэзии, с картинами мастеров живописи, с хорошей музыкой. Вряд ли он создаст что-либо значительное в своей области». И это действительно так: у науки своя эстетика. Но заметить, почувствовать ее может лишь тот, от кого искусство не закрыто наглухо запортой дверью. Для Бутлерова путь в науку начался, по его собственному признанию, с увлечения «химическим колоритом». Его поразили сверкающие красные пла-

стинки азобензола, игольчатые желтые кристаллы азоксибензола, серебристые чешуйки бензидина.

Тяга к классическому совершенству, привычка к гармонии пропорций, скупость художника в деталях и элементах конструкции — вот что дает исследователю искусство. Недаром один из основоположников структурной теории Кекуле любил и хорошо знал архитектуру. Он искал красоту, упорядоченность и лаконичность форм и в построении молекул. И поиск этот был аналогией, переброшенной от искусства к естествознанию.

Таких примеров можно привести много. Но наш век отличается особой спецификой. Сейчас от ученых во многом зависит судьба всего человечества. Ученые передали людям власть над титаническими силами. И в зависимости от того, в какую сторону будут повернуты эти силы, наша Земля станет либо мертвым небесным телом, либо центром процветающей космической цивилизации.

Вот почему моральные проблемы науки достигли теперь невиданной остроты. И те «нравственные качества», о которых писал Дарвин, определяют сегодня лицо ученого: либо гражданина, ответственного перед своей совестью и миром, либо маньяка, хладнокровно вооружающего поджигателей войны «пятнистой лихорадкой скалистых гор», нейтронными и кобальтовыми бомбами.

Фантастика закономерно сделалась моральным зеркалом науки. Более того, ее нравственно-эстетическим полигоном, открытым для всех. Галактическая эпопея: «Звездные Корабли», «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи», которую представил на этом многомиллионном читательском полигоне Ефремов, стала подлинным литературным открытием. Повесть «Звездные Корабли» явилась, как писали биографы Ефремова Е. Брандис и В. Дмитриевский, только «прелюдией к покоряющей воображение гипотезе Великого Кольца Миров, а которой писатель предстает как убежденный сторонник антропоцентрического взгляда на развитие разумной жизни во Вселенной. Опираясь на цепь логических доказательств, он приходит к выводу, что в относительно сходных условиях законы биологической эволюции относительно единообразны и неизбежно приводят на различных планетах к созданию высшей формы мыслящей материи — человека».

Ефремов действительно был глубоко убежден, хотя с равным основанием можно стоять и на диаметрально противоположной позиции, что «форма человека, его облик как мыслящего живого существа не случаен», поскольку «наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом».

«Между враждебными жизни силами космоса,— писал он в «Звездных Кораблях»,— есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик. Поэтому

всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе».

Это кредо не только Ефремова-фантаста, но и Ефремова-биолога. Оно красной нитью проходит через все его творчество, в той или иной форме присутствует во всех произведениях, написанных после «Звездных Кораблей». Вполне закономерно поэтому, что во всех звездных мирах посланцы Земли встречают жизнь, подобную нашей. Даже если она построена на принципиально иной химической основе (фтор вместо кислорода в «Сердце Змеи»). Именно это и позволяет писателю сделать окончательный вывод: «У нас на Земле и там, в глубинах пространства, расцветает жизнь — могучий источник мысли и воли, который впоследствии превратится в поток, широко разлившийся по Вселенной. Поток, который соединит отдельные ручейки в могучий океан мысли».

«Звездные Корабли» — своего рода точка перегиба. Это небольшое произведение как бы завершает первый начальный период развития современной советской научной фантастики и вместе с тем открывает дорогу к «Туманности Андромеды» — роману, с которого начался ее подлинный расцвет. Взлет, целиком и полностью обусловленный научно-технической революцией, которая охватила все сферы нашей жизни.

Как известно, советская фантастика родилась вместе с Советским государством. Еще не отгремели бои гражданской войны, когда издательства стали выпускать научно-фантастическую литературу. Это были трудные годы для жизни людей, но какой простор давали они мечтам! «Мы наш, мы новый мир построим» — это стало делом каждого. Молодые красноармейцы, рабочие, рабфаковцы торопили время. Как хотелось хоть одним глазком заглянуть в тот прекрасный сверкающий мир, который они взялись строить. Понимали, что предстоит еще годы и годы борьбы, но сердцем чувствовали радостный и светлый тот мир, словно до него оставалось рукой подать. Эту молодую ненасытную жажду, горячее счастливое нетерпение, очевидно, ясно ощущали писатели. Они писали о яростной борьбе со старым миром и о том мире, который грядет за этой борьбой. Так определилось основное содержание научной фантастики тех лет.

Классические произведения того периода «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» полностью отвечают короткой формуле: борьба, полная напряжения и приключений, победа и вновь борьба за построение социализма.

Научная фантастика тех лет тесно связана с приключениями и детективом. Тот же «Гиперболоид инженера Гарина» с одинаковым на то основанием можно считать и фантастикой и остросюжетным захватывающим детективом. А цикл «Месс-менд» Мариэтты Шагинян — это уже почти целиком авантюрные романы с некоторыми

элементами фантастики: таинственный металл лоний, мутный шарик, навевающий сон, свисток, пронзительный звук которого заставляет человека душить самого себя.

Фактически с фантастики начинали тогда свой путь такие, например, писатели, как Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Всеволод Иванов, Валентин Катаев и Виктор Шкловский. Эти имена говорят сами за себя. Ефим Зозуля написал рассказ «Граммофон веков» о машине, возвращающей давным-давно умершие звуки, Илья Эренбург создал знаменитый «Трест Д. Е.» — роман о гибели Европы, где политическая сатира и фантастика вплетены в головокружительный авантурный сюжет. Крупнейший советский ученый академик Обручев выпустил свою «Плутонию» — роман, соединяющий в себе черты «Затерянного мира» Конан Дойля и «Путешествия к центру Земли» Жюль Верна, но тем не менее удивительно своеобразный и точный. За «Плутонией» последовала «Земля Санникова». Обе книги не устарели до наших дней. Их с удовольствием читают и перечитывают новые поколения школьников.

Конечно, далеко не все подобные произведения выдержали проверку временем. Было много подражательных, иногда и беспомощных в литературном отношении книг. Фантастика тогда только нащупывала путь. Рука об руку шла она с приключениями и детективами, считалось, что серьезная идея требует легкого, чуть ли не легкомысленного сюжета. «Приключения идеи» подменялись просто приключениями, течение мысли заслонялось течением событий.

И все же фантастика росла, крепла, совершенствовалась, была очень разнообразной. Александр Грин создал в этот период свои лучшие вещи, взволнованные, романтические. «Блещающий мир», «Дорога никуда», «Золотая цепь» — эти книги трудно уложить в прокрустово ложе узкого жанра.

Но вряд ли кто может сказать, что они не фантастичны. Конечно, левитация, свободное парение в эфире над цветущей землей у Грина и, положим, у Беляева имеют различное значение. В первом случае это скорее символ, потребность и способность души, во втором — фантастическое свойство, результат тех или иных вполне рациональных манипуляций. Просто Грин — фантаст, а Беляев — научный фантаст. Различные ветви одного литературного течения. Грин создаст глубоко символическую и таинственную «Бегущую по волнам», а Беляев — «Голову профессора Доуэля», о которой известный хирург и писатель-фантаст Амосов сказал, что описываемые в ней операции сегодня уже вопрос морали, а не науки и хирургической техники.

В настоящее время четко видны колоссальные сдвиги, происшедшие в фантастике за последние годы. Фантастика отошла от технологии и обратилась к точным наукам, философским и социаль-

ным проблемам. И можно считать знаменательным тот факт, что «Туманность Андромеды» «совпала» с запуском первого искусственного спутника Земли. С того дня современная советская фантастика идет в ногу с научно-технической революцией.

Запуск спутника стал своего рода кульминацией в бурном развитии науки и техники послевоенных лет. В научных журналах появились сообщения об антипротоне и мезозатомах, свойствах нуклеиновых кислот и закономерностях систематики странных частиц, поясах Ван Аллена и проблемах всепланетной связи.

Но лишь посвященные знали, что чьи-то умные, заботливые руки уже собирают в дорогу первенца космической эры, начиненного электроникой партнера одинокой Луны.

Появились серьезные статьи и о проблемах научной фантастики. Родилось крылатое выражение «время обгоняет фантастов», которое сразу превратилось в газетный штамп. Приземленная фантастика ближнего прицела копалась в радиосхемах, выдумывала хитроумные реле и пыталась конкурировать с квадратно-гнездовым посевом. И время действительно обгоняло ее.

Новое произведение прославленного советского фантаста обсуждала вся страна. Короткие романтические имена его героев звучали в заводских цехах, в залах библиотек, в институтских лабораториях. Академики спорили с горячностью и нетерпимостью детей. Пионеры блистали неожиданной эрудицией. Сугубо термодинамическое понятие «энтропия» вдруг стало почти общеупотребительным.

Уже впоследствии, на пресс-конференциях наших космонавтов, выяснилось, как прочно вошли в лексикон корреспондентов и научных обозревателей некоторые ефремовские слова и выражения. Едва ли можно назвать другую книгу, которая бы так полно и ясно выражала свое время, как «Туманность Андромеды».

Действие романа происходит в далеком будущем. Настолько далеком, что даже сам автор затруднялся в «размещении» своего повествования на шкале времени. Очевидно, это не случайно. Прогнозам фантастов суждено сбываться ранее намеченных сроков. Время не обгоняет фантастов. Но порой оно течет быстрее, чем это им кажется.

Время становится все более емким. Сначала «эпохами» были тысячелетия, потом столетия. Атомная эпоха потребовала уже десятки лет, космическая — годы. Будущее, наверно, станет листать эпохи, как листки календаря...

«Туманность Андромеды» — роман о бесклассовом, интернациональном обществе, о великом братстве разума. Разве это не воплощение мечты лучших людей прошлого? Разве это не цель нашего времени?

Он написан удивительно вовремя. Чуть раньше он выглядел бы как очередная утопия с весьма произвольной конструкцией социальных институтов будущего. Появись он в середине шестидесятых годов, капитан звездолета Эрг Ноор оценивался бы уже читателями, знающими Юрия Гагарина. Вероятно, в этом случае писатель сделал бы своего героя несколько иным, более соответствующим духу времени...

Вместе с тем книга Ефремова и сегодня глубоко современна! И будет современна завтра. Она не только дышит насущными идеями сегодняшнего дня, она живет вместе с нами.

«Еще не была окончена публикация этого романа, а искусственные спутники уже начали стремительный облет вокруг нашей планеты,— говорится в авторском предисловии к первому изданию книги.— Перед лицом этого неопровержимого факта с радостью сознаешь, что идеи, лежащие в основе романа,— правильны... Чудесное и быстрое исполнение одной мечты из «Туманности Андромеды» ставит передо мной вопрос: насколько верно развернуты в романе исторические перспективы будущего? Еще в процессе писания я изменял время действия в сторону его приближения к нашей эпохе... При доработке романа я сократил намеченный срок сначала на тысячелетие. Но запуск искусственных спутников Земли подсказывает мне, что события романа могли бы совершиться еще раньше».

«Туманность Андромеды» родилась на пороге штурма космического пространства, когда слово «космонавт» было полностью монополизировано фантастами. Теперь космонавт — профессия, звание; мы привыкли видеть это слово в газетах, слышать по радио. Даже проблема связи с братьями по разуму из фантастического ведомства перешла к ученым, которые ежедневно посылают в направлении то альфа Центавра, то тау Кита радиосигналы на волне излучения космического водорода. Все это как будто бы серьезные испытания для научно-фантастической книги. Так и подмывает сказать, что «время обгоняет фантастов».

Возьмем для примера главу «Симфония — Фа-минор цветовой тональности 4,750 мю», посвященную цветомузыке будущего. Сегодняшним читателем она воспринимается в сравнении с реальными цветомузыкальными концертами.

Но разве это что-нибудь значит? Разве теперь мы с меньшим удовольствием читаем о «вселенско-спиральном» творении Зига Зора, чем несколько лет назад? Или накопленные в последнее время сведения об эволюции звезд, о гиперонных сгустках или гравитационном коллапсе что-либо существенно меняют в нашем восприятии сцен борьбы экипажа «Тантры» с чудовищным притяжением Железной Звезды? Очевидно, дело не только, вернее, не столько во

внешнем фоне, сколько в достоверности описываемых ситуаций, динамике развития характеров, жизненных конфликтов.

Что меняется от того, что сегодня физики подбираются к таким тайнам пространства—времени и вещества—поля, какие, наверно, и не мерещились Мвену Масу или Рену Бозу? Очарование романа не ослабевает от времени.

«Туманность Андромеды» — это будущее, но не столько аналитически предвидимое, сколько желаемое, смутно угадываемое, тревожно и маняще мерцающее в глубинах сердца. Это будущее, каким его видит Ефремов и каким оно ассоциативно встает в мозгу читателя. Это схоже с поэзией. Но на первый план здесь выступают не изысканные метафоры или полутона символов, а весь комплекс приемов художественной прозы, помноженной на логику ученого. Вот где истинное место тех или иных ошеломляющих гипотез и фантастических неологизмов! Попробуйте их убрать, и вся повествовательная ткань увлекательного романа рассыплется. В чем же здесь дело? Нет ли какой-то потаенной обратной связи между поэзией человеческих отношений и величественным фоном, на котором разворачивается грандиозная эпопея эры Великого Кольца? Эта обратная связь и является одним из главных орудий творческой лаборатории Ефремова. Ее трудно определить, далеко не всегда она прослеживается достаточно явно... Но истоки ее более или менее ясны. Она рождается на стыках поэзии и науки, как зародыш новых путей познания мира синтетическим методом науки и искусства. Отсюда же происходит и удивительная реальность, неожиданное правдоподобие самых порой фантастических сцен.

На мой взгляд, глава романа, повествующая о Тибетском опыте, оставляет не менее сильное впечатление, чем рассказ «Олгой Хорхой»: просто нельзя верить, что это «только» выдуманно, а не взято из жизни. И опять-таки весь секрет в чудесном синтезе. Вековая и никогда не покидающая человеческое подсознание мечта о бессмертии, стихийное влечение к невозможному, жажда идеальной, самой совершенной любви — все эти могучие аккорды отзываются в душе читателя. Так создается настроение, тонкое и чуткое, как струна.

Но даже этого было бы мало, если бы писатель ошибся только в одном: в выборе пути, по которому должно идти познание. Там, где кончается власть художника и интуиция поэта, начинается ученый. И, улавливая идеи, которые носятся в грозовой атмосфере сегодняшней теоретической физики, доктор наук Ефремов дает в руки Рен Боза власть над временем и пространством. Чуть-чуть переиграть, сказать на одно слово больше, попытаться ярче обрисовать то, что вообще нельзя передать на человеческом языке, — и очарование тайны разлетится.

Вот он, приблизительный многоступенчатый механизм создания моста через невозможность, музыки дальних сфер и звездной тоски. Да было ли оно, это великое мгновение? Или все одна только иллюзия, прекрасная галлюцинация, остававшаяся в зале Тибетской обсерватории запахом далекого, как безвременье, океана? Мы так и не узнаем об этом, как не узнали и герои романа. Так создается эффект присутствия, так повелительно и незаметно читатель вовлекается в развитие действия как соучастник, а иногда и как творец. Элемент недосказанности позволяет конструировать возможные события в зависимости от индивидуальных особенностей того или иного читателя. Вот почему все еще не смолкают споры вокруг произведений Ефремова. Ведь очень редко можно сказать, кто прав на поле битвы, где схлестнулись не только интеллекты и вкусы, но и характеры.

Роман «Туманность Андромеды» породил целый поток эпигонской литературы. Мало кто из фантастов избежал в своем творчестве влияния этого замечательного произведения. Одно время казалось, что фантасты долго еще будут находиться в плену ефремовского местного колорита. Однако этого не произошло. Очень скоро выяснилось, что подражать Ефремову нельзя. Даже наиболее талантливые попытки выглядели в лучшем случае пародиями. Вероятно, это закономерно. «Туманность Андромеды» явилась не только той блистательной гранью, которая отделила зарождавшуюся тогда современную советскую фантастику от фантастики ближнего прицела, но и эпохой в развитии фантастики. Поэтому возврат к ней бесплоден и невозможен.

В творчестве Ефремова «Туманность Андромеды» по праву занимает ведущее место. Мы ясно видим превращение идей, все круче разворачивающих свои витки от «Звездных Кораблей» к «Туманности Андромеды» и от «Туманности Андромеды» к «Лезвию бритвы».

Воинствующий, часто даже декларативный антропоцентризм вызывал ожесточенную полемику и словесные битвы... Кипучий талант писателя не терпел равнодушия, и книги Ефремова никогда не оставляют равнодушными, вне зависимости от того, разделяют или нет читатели идеи писателя. В этом еще одна, может быть, самая сильная, черта его таланта.

И очень символично, что в день запуска первого искусственного спутника писатель получил телеграмму, в которой его поздравляли с началом эры Великого Кольца.

Первый сборник рассказов Ефремова «Пять румбов» был опубликован в 1945 году. Эти рассказы вошли в золотой фонд советской литературы. Затем появляется повесть «Звездные Корабли» — своего рода мостик от «Тени Минувшего» к «Туманности Андромеды».

Кроме романтических рассказов о разведчиках неизвестного — геологах, моряках, летчиках, Ефремов написал несколько превосходных, наполненных суровой экзотикой новелл о таинственных проявлениях природы, повести из жизни Древнего Египта «На краю Ойкумены» и «Путешествие Баурджеда», тесно примыкающую к «Туманности Андромеды» повесть «Сердце Змеи».

В 1964 году вышел в свет новый большой роман Ефремова «Лезвие бритвы», который автор определил как экспериментальный и где, за исключением трех фантастических допущений, нет ничего, что выходило бы за рамки сегодняшней науки.

«Цель романа,— писал Ефремов в авторском предисловии,— показать особое значение познания психологической сущности человека в настоящее время для подготовки научной базы воспитания людей коммунистического общества».

В известной мере все романы Ефремова были экспериментальными и прежде всего «Таис Афинская», где Иван Антонович вновь возвратился к своей любимой Древней Элладке, к истокам мифов, к рождению орфических мистерий.

Фантастика как искусство вносит в научную проблему недостающий ей человеческий элемент. Ефремов всегда считал, что в литературе ученые увидят то, что иногда трудно осмыслить им самим — действие их открытий и опыта в жизни и в человеке, причем не только положительное, но иногда и трагически вредное.

Все творчество большого советского писателя — это грандиозный эксперимент. Эксперимент, в котором далекое прошлое смыкается с отдаленным грядущим, культура Востока — с культурой Запада, наука — с искусством. Это Великое Кольцо обитаемых миров. Это колесо учения.

■ МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ

Хроника событий в мире научной фантастики, 1980 год

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

25—28 марта в Тбилиси проходило региональное совещание писателей Закавказья, работающих в жанрах детектива, приключений и научной фантастики. Оно было организовано Советом по приключенческой и НФ литературе СП СССР. Наряду с писателями-фантастами Грузии (Ш. Гагушадзе, Е. Закладный, М. Мишвеладзе, Р. Чачанидзе и другие), в совещании приняли участие гости, писатели-фантасты и критики: Е. Брандис (Ленинград), Е. Войскунский (Москва), А. Громов (Кишинев), Г. Гуревич (Москва), А. Шалимов (Ленинград), В. Шитик (Минск). Участники совещания встретились с рабочими промышленных предприятий Тбилиси и студентами тбилисских вузов.

11 августа исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного советского писателя Александра Степановича Грина (Гриневского) (1880—1932), чьи романтические фантазии «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Блестящий мир» и многие другие по праву вошли в «золотой фонд» советской литературы. Проза А. Грина неоднократно включалась в сборники фантастики, а выдуманный им мир («Гринландия») описан во всех «атласах» «Страны Фантазии».

5 августа исполнилось 70 лет известному советскому писателю Сергею Александровичу Снегову (Штейну), автору НФ трилогии о далеком будущем человечества («Люди как боги», «Вторжение в Персей», «Кольцо обратного времени»), сборника НФ рассказов «Посол без верительных грамот» и других произведений. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 70-летием С. А. Снегов награжден орденом «Знак Почета».

1—4 октября в подмосковном Доме творчества киноработников «Болшево» состоялась Всесоюзная творческая конференция драматургов на тему «Фантастика и приключения в театре, кино и на телевидении», организованная совместно Советом по приключенческой и НФ литературе и Советом по драматургии СП СССР. Сообщение о современном состоянии НФ кино в мире сделал критик Вл. Гаков (Москва). В работе конференции приняли участие писатели-фантасты и критики: Д. Биленкин (Москва), Е. Брандис (Ленинград), Е. Войскунский (Москва), С. Гансовский (Москва), А. Громов (Кишинев), Б. Кабур (Таллин), К. Симонян (Ереван), А. Стругацкий (Москва), А. Шалимов (Ленинград), а также сотрудники Министерства культуры СССР, Госкино СССР, работники кино и телевидения. Был обсужден широкий круг вопросов, в частности, выступавшие с удовлетворением отметили известное оживление в отечественном

НФ кинематографе. Конференция наметила ряд мер по дальнейшему улучшению положения с этими жанрами в кино, театре и на телевидении.

Осенью в Свердловске вышел в свет первый выпуск нового регионального ежегодника фантастики и приключений писателей Урала «Поиск-80» (составители Л. Румянцев и В. Бугров). В новом сборнике представлены НФ произведения С. Другалы, С. Слепынина, Ю. Ярового и других уральских писателей, статья В. Бугрова об истоках НФ на Урале, материалы к библиографии И. А. Ефремова, собранные свердловским исследователем А. Багаевым. Предполагается, что сборник «Поиск» будут по очереди выпускать три издательства — Средне-Уральское (Свердловск), Северо-Уральское (Пермь) и Южно-Уральское (Челябинск).

25—26 октября в Томске в рамках недели молодежной книги, организованной обкомом ВЛКСМ и местным отделением Союза писателей, прошел семинар молодых фантастов, собравший 11 начинающих авторов из Томска, Новосибирска, Абакана. Работой семинара руководил известный писатель-фантаст томич В. Колупаев. Ему помогали гости, писатели-фантасты и критики: В. Бугров (Свердловск), Вл. Гаков (Москва), С. Павлов (Москва), Г. Прашкевич (Новосибирск), сотрудница Всесоюзного агентства по авторским правам (ВВАП) Б. Ключева. Гости выступили перед читателями областной юношеской библиотеки, студентами Томского политехнического института, рабочими ГРЭС-2. Лучшие из рассмотренных на семинаре работ рекомендованы к публикации.

17 декабря в Ленинграде состоялась встреча учащихся морских училищ Ленинграда с писателями-фантастами и приключенцами. Во встрече принял участие Д. Биденкин (Москва).

ЗА РУБЕЖОМ

Болгария

24—27 апреля в Пловдиве по инициативе горкома ДКСМ, окружного Центра научно-технического творчества молодежи и местного клуба фантастики и прогностики «XXII век» был проведен I фестиваль научной фантастики, проходивший под девизом «Свет будущего». В фестивале участвовали 250 делегатов клубов фантастики и прогностики Болгарии, работников издательства, ученых и представителей творческих союзов. Фестиваль был приурочен к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. На открытии фестиваля присутствовал заместитель директора Института культуры Ст. Венединов, а среди гостей были известные болгарские писатели-фантасты Л. Дилов, С. Златаров, Д. Пеев, С. Славчев, а также гости из ГДР и Польши. В рамках фестиваля были проведены: семинар «Ленин и свет будущего», семинар по проблемам НФ литературы, конференция болгарских клубов, просмотр НФ кинофильмов, бал-карнавал, встречи участников фестиваля со студентами и школьниками Пловдива. Во время работы фестиваля была развернута выставка НФ живописи. Лучшие ее образцы были репродуцированы в красочном буклете, который вручили гостям и участникам фестиваля.

Великобритания

6 января исполнилось 75 лет со дня рождения известного писателя-фантаста Эрика Фрэнка Расселла (1905—1978), автора НФ книг «Зловещий барьер», «Стражи из Космоса», «Люди, марсиане и машины», «Страшное святилище», «Большой взрыв», «Оса» и др. Творчество Расселла хорошо известно в СССР (сборник рассказов «Ниточка к сердцу» и отдельные произведения в антологиях и периодике). Расселл принадлежал к «традиционному» крылу западной НФ литературы и по праву считается одним из корифеев британской научной фантастики.

24 июня исполнилось 65 лет крупнейшему современному ученому-астрофизику и известному писателю-фантасту Фреду Хойлу, автору НФ романов «Черное облако», «А — значит Андромеда» и «Бунт Андромеды» (все три переведены в СССР), «Первое октября — это слишком поздно», «Элемент 79», «В глубокий Космос», «Пятая планета», «Ракеты в Большой Медведице» и др. (некоторые написаны в соавторстве с Д. Эллиотом, ряд других — с сыном, Дж. Хойлом). Фантастику Ф. Хойла отличают строгость и убедительность НФ гипотез, сочетающиеся с эффектно закрученным сюжетом.

ГДР

В ноябре в берлинском издательстве «Дас нойе Берлин» вышел в свет первый выпуск нового альманаха-ежегодника «Световой год-1». В сборнике, превосходно иллюстрированном цветными и тоновыми репродукциями фантастической живописи, представлены авторы ГДР, Венгрии, Болгарии, Швеции, США и Советского Союза (произведения А. и Б. Стругацких, Д. Биленкина, К. Булычева и статья Вл. Гакова о творчестве американской писательницы Урсулы Ле Гюи).

Италия

1—4 мая в курортном городке Стреза состоялся очередной 6-й Европейский конгресс научных фантастов (Еврокон-6), на котором Советский Союз представляли А. Кешоков и Е. Парнов. Новыми сопрезидентами Еврокона выбраны известный английский писатель-фантаст Д. Браннер и председатель Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР А. Кешоков. Одновременно состоялось заседание исполкома Всемирной организации научных фантастов (ВОНФ), в которую входит и СССР. Новым вице-президентом ВОНФ избран Е. Парнов.

5—12 июля на традиционном фестивале НФ кино в Триесте специальная премия жюри — «Серебряный астероид» — присуждена советской ленте режиссера Г. Кроманова «Отец погибшего альпиниста», экранизация одноименной повести братьев Стругацких. Особо отмечен сценарий братьев Стругацких, а также музыкальное решение фильма эстонским композитором С. Грюнбергом.

Румыния

18 ноября в Бухаресте состоялся «круглый стол» румынских и советских писателей по проблемам развития НФ, организованный по инициативе Союза писателей Румынии. Советскую фантастику на встрече представляли Д. Биленкин, Е. Войскунский (Москва), Б. Кабур (Таллин). С румынской стороны присутствовали ответственные работники СП Румынии, известные писатели-фантасты В. Колин, А. Рогоз, И. Хобана и другие. 19—23 ноября члены советской делегации встречались с работниками издательства и редакций, выпускающих НФ литературу, а в г. Тимишоара — с членами местного кружка НФ.

США

«Год юбилеев» — так можно охарактеризовать 1980 год в американской фантастике.

2 января исполнилось 60 лет одному из известнейших и популярнейших писателей-фантастов мира Айзеку Азимову, автору теперь уже более двух сотен НФ и научно-популярных книг. Творчество А. Азимова хорошо известно советским любителям НФ. На русский язык переведены многие произведения писателя (цикл рассказов «Я, робот», романы «Конец Вечности», «Стальные пещеры», «Обнаженное Солнце», «Космические течения», «Сами боги») и более полусотни рассказов. А. Азимов является также автором НФ романов «Камешек в небе», «Звезды, как пыль», знаменитой НФ трилогии о галактической федерации далекого будущего («Основание», «Основание и Империя», «Второе Основание»), «Фантастическое путешествие», цикла «Остальное о роботах», более десятка сборников рассказов, серии НФ книг для детей. В последние годы после некоторого перерыва А. Азимов снова вернулся в фантастику, пишет сам, а также осуществляет общее руководство изданием специального «Журнала НФ Айзека Азимова», в котором печатаются как маститые авторы, так и дебютанты.

2 июня исполнилось 65 лет известному писателю-фантасту Лестеру Дель Рею, автору НФ романов «Нервы», «Одиннадцатая заповедь», «Небо падает», «Знак бесчестья» и других, а также сборников рассказов (некоторые из них переведены на русский язык). В последнее время Л. Дель Рей занимается в основном редакторской деятельностью.

8 июня исполнилось 70 лет со дня рождения Джона Кэмпбелла младшего (1910—1971), известного писателя-фантаста и редактора, с 1937 года и вплоть до своей смерти возглавлявшего один из самых популярных НФ журналов «Эстаундинг сайнс фикшн» (впоследствии «Аналог»). Только в 1939 году Д. Кэмпбелл «открыл» А. Азимова, Р. Хайнлайна, Л. Дель Рея, Т. Старджона, сделал постоянными авторами журнала А. Ван Вогта, А. Бестера, Л. Спраг де Кэмпна, К. Саймака (которого Д. Кэмпбелл фактически «вернул в лоно» НФ), Д. Уильямсона, Г. Каттиера и К. Мур, а позже, уже в 40-х годах, по словам критика, «и всех остальных». Еще при жизни Д. Кэмпбелл заслужил титул «соавтора всех авторов».

22 августа исполнилось 60 лет выдающемуся американскому писателю, крупнейшему представителю современной фантастической литературы Рэю Дугласу Брэдбери, автору фантастических книг «Темный карнавал», «Осенняя страна», «Марсианские хроники», «Человек в картинках», «Золотые яблоки Солнца», «451° по Фаренгейту», «Лекарство от меланхолии», «Вино из одуванчиков», «Р — значит ракета», «Чувствую, что Зло грядет», «Машины счастья», «К — значит Космос», «Я люблю тело электрическое», «Осеннее дерево», «Далеко полночь» и др., а также сборников поэзии и драматических произведений. Рассказы Р. Брэдбери включены в 800 с лишним антологий, его крупнейшие произведения («Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», сборник «Р — значит ракета»), а также более сотни рассказов переведены на русский язык и на языки народов СССР. В своем творчестве Р. Брэдбери органично соединяет высокую поэзию и страстный политический памфлет, а прогрессивная позиция писателя принесла ему титул «лупы совести честного американца». Осенью 1980 года на встрече советских и американских писателей в Лос-Анджелесе (такие встречи стали традиционными, но впервые на них присутствовал писатель-фантаст) голос Брэдбери снова был среди тех, кто отстаивал необходимость разрядки, сохранения мира на Земле.

Исполнилось 60 лет известному писателю-фантасту Фрэнку Херберту, славу которому принесла его трилогия о песчаной планете Дюна («Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны»). Ф. Херберт является также автором НФ романов «Под давлением», «Глаза Гейзенберга», «Создатели богов», «Барьер Сантарогии», «Улей Хелльмстрома» и др., а также нескольких сборников рассказов. Трилогия о Дюне, несмотря на спорность отдельных идей автора, считается одной из самых значительных НФ серий (в настоящее время Ф. Херберт работает над четвертой книгой).

Исполнилось 60 лет известному писателю-фантасту Уильяму Тенну (псевдоним Филиппа Класса). У. Тенн является автором романа «О людях и монстрах» и множества рассказов. На русском языке издан сборник «Звездная карусель», в который включены рассказы двух авторов — У. Тенна и Ф. Брауна. В последние годы Филипп Класс занят в основном преподавательской деятельностью.

24 декабря исполнилось 70 лет популярному писателю-фантасту Фрицу Лейберу, автору НФ романов «Собирайся, Тьма!», «Зеленое тысячелетие», «Большое Время», «Скиталец», «Серебряные яйцеглавы» (переведен в СССР), «Призрак бродит по Техасу», сборников рассказов и многочисленных произведений в жанре «фэнтези» (за свои заслуги в «фэнтези» Ф. Лейбер удостоен почетного титула «Великий Мастер»). Творчество Ф. Лейбера отличают высокое литературное мастерство, изобретательность фантазии в сочетании с явным сатирическим даром автора. Ф. Лейбер — один из самых популярных фантастов США, является своеобразным рекордсменом, девять раз (больше всех) завоевав высшую награду в мире англоязычной НФ — премию «Хьюго».

Финляндия

В середине апреля в городах Хельсинки, Тампере, Турку был проведен цикл лекций на тему «НФ и ее связь с проблемами научно-технической революции». Лекции были организованы Обществом финско-советской дружбы. Читать их был приглашен советский писатель-фантаст Д. Биленкин. Д. Биленкин встречался с работниками издательства, читателями, студентами университета в Тампере.

Франция

В июне на традиционном кинофестивале в Каннах специальным призом награжден советский фильм «Сталкер» (режиссера А. Тарковского по сценарию А. и Б. Стругацких).

В ноябре в Париже представители ВААП подписали с издательством «Флев нуар» Генеральное соглашение на издание во Франции первых девяти книг советских писателей-фантастов (в рамках новой издательской серии «НФ романы писателей социалистических стран»). По соглашению издательство «Флев нуар», начиная с 1981 года, будет издавать по одному советскому НФ роману (или повести) в месяц. Ранее аналогичные соглашения были заключены с американским издательством «Макмиллан» и шведским «Дельта».

Чехословакия

Декабрьский номер журнала «Советская литература», выходящего на чешском языке, полностью посвящен советской НФ литературе. В журнале напечатаны сокращенный вариант новой повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», рассказы Д. Биленкина, И. Варшавского, С. Гансовского, Г. Гора, А. Горбовского, В. Григорьева, В. Колупаева, М. Пухова, а также статья Вл. Гакова «Новые орбиты советской фантастики, или Двадцать лет спустя». Номер журнала богато иллюстрирован цветными и тоновыми репродукциями произведений НФ живописи.

9 января исполнилось 90 лет со дня рождения одного из признанных классиков НФ литературы, выдающегося чешского прозаика и драматурга Карела Чапека (1890—1938), автора всемирно известных пьес «Р. У. Р. Россумовские Универсальные Роботы» (Чапека с полным правом можно назвать «крестным отцом» этого слова, вошедшего в язык XX века), «Средство Макропулоса», «Белая болезнь», романов «Война с саламандрами», «Фабрика Абсолюта», «Кракатит». Произведения К. Чапека неоднократно издавались в СССР.

Материал подготовлен Вл. Гаковым

СОДЕРЖАНИЕ

Нравственный поиск фантастики	3
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Кир Булычев. Похищение чародея	7
Геннадий Прашкевич. Соавтор	89
Роман Подольный. Письмо	119
СЛОВО — МОЛОДЫМ	
Галина Панизовская. Моя Галатhea	126
Гавриил Угаров. Вернуть открытие. Авторизованный перевод с якутского Д. Биленкина	144
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА	
Пол Андерсон. Бесконечная игра. Перевод с английского Б. Антонова	154
Рэй Брэдбери. Ветер из Геттисберга. Перевод с английского А. Бурмистенко	164
Роберт Силверберг. Конец света. Перевод с английского В. Баканова	178
ПУБЛИЦИСТИКА	
Евгений Брандис. Миллиарды граней будущего	185
Ермей Парнов. Галактическое кольцо	212
Меридианы фантастики	233



СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 24

Составитель **Нина Матвеевна Беркова**

Оформление **В. И. Савелы**

Художник **И. П. Лемешев**

Главный отраслевой редактор

редакции научно-художественной литературы

В. П. Демьянов

Редактор **В. М. Климачева**

Мл. редактор **Н. И. Афанасьев**

Худож. редактор **М. А. Гусева**

Техн. редактор **Т. В. Луговская**

Корректор **Н. Д. Мелешкина**

ИБ № 3035

Сдано в набор 29.07.80. Подписано к печати 10.02.81. А 06064. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура журнально-рублиная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 15,71. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1955. Цена 1 р. 20 коп. Издательство «Знание», 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд, Серова, д. 4. Индекс заказа 817710. Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкинг» Госкомиздата УССР, 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

1 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

